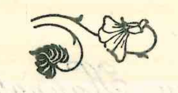
10-й ТОМЪ произведеній

В. А. Карповой-Монгирдъ

(пис. подъ псевд. СЕРГѢЙ РОМІАСЪ).

Моей Родинѣ.





МОСКВА.



Типографія Г. Лисснера и Д. Собко.

Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

1908.

Посвящаю эту книжку моему ненаглядному, обожаемому мужу Флорентію Казимировичу Мо́нгирду.

Вѣра Карпова-Мо́нгирдъ.

6 ноября, 1907 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ:

Стр.	*Строки:*	*Напеч.*	*Слѣд.*
92	24		въ
143	33	привительство	правительство
144	26	колько	только
248	12	благоухающаго	благоуханнаго

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Деревня нашего времени. Ц. 1 р.

Семья Никитиныхъ. Два тома. Ц. 4 р. 50 к.

Любовь-ли? (Разсказы.) Ц. 1 р. 25 к.

Женщины. (Разсказы.) Томъ I. Ц. 1 р. 25 к.

Женщины. Томъ II (съ двумя портретами автора). Ц. 2 р.

Поэмы безъ словъ и разсказы. Ц. 1 р. 25 к.

Ars longa, vita brevis. О, зачѣмъ дано жить только разъ! (Разсказы.) Ц. 1 р. 35 к.

Невеселая книга (книга жизни крестьянская) и приложенiе. Ц. 1 р. 35 к.

Складъ произведенiй у автора:

Москва, Газетный, д. Фальцфейна, кв. 35.

Еще из разсказанного крестьянами.

1.

— Не скроешь — о томъ земля скажет, слухи пойдут о том вовсюду — что деревня Муромки с дуриной с большой, пьянство одно, карты, воровство, нищета. У других крестьян на̀ руку идет. А у них из руки — все. Взалежку, в заклад и холсты отдают, и мужичье хозяйство туда же. А тут не посѣял, потому заложил. Закладывают. А то и проигрывают они и посѣв, и посѣвную ниву, не токмо корову. Ѣсть-то и нечего. Опосля которых от ко̀зны кормят, случается, берна̀ми дров им дают, как все одно в Божiй голодный год. Опричи карт, еще распились они, разлодырничались, куда ваше годится! Таперича и разбоем занялись. Что двор, то вор Муромки вся — того не скажешь. А только мало настоящих хрестьян, которые только на труды свои уповают.

Тоже никто в деревнѣ не любит чтобы у другого было хорошо. Соберет кто трудами деньжонок, построится, всего заведет — уж жди: либо обворуют, либо сожгут. А эти и того даже хуже. С сосѣдней окру̀ги хоронят своих — не связывайтесь мол с муромскими, заколотят, убьют, а то всему худому научат. Под дугу валяют и валяют. Это хо-

рошій крестьянин боится, боязнью утоляется... а лодыри ничего не боятся: „Мнѣ не тюрьма, а родной домъ“, говорят. Посидят в тюрьмѣ, опять их выпустят, они опять грозятся: „Мнѣ“, говорят, „нечего бояться; ты — бойся“.

И бабы у них такія же. И у них опущеніе стало во всем. Там конфетка, там жамочек, там лямочек. Вот и пятерка — из руки. И тоже распились, куда ваше годится! И на деревенских не похожи стали. В Божіем писаніи о косах сказано, в косах бабѣ учесаться да косы тѣ покрывать. А онѣ, муромскія бабы, простоволосыя шляются — по кабакам. Да всѣ сообча тож в карты играют.

Тож-то икону, Мать Пречистую, по другим деревням носят, так Она, Матушка, ясная, смѣется, довольна. А в Муромки понесут — потемнѣет, темный лик станет...

Потому и в домѣ у них — натопчат, натопчат, не видать лица, пола. Потому и на это лѣнтяи, хоша в праздник не желают судержать себя чисто. А водки уже привезено — бочка, ушатами меж собой дѣлят. Потому мужик у них раскошливый на водку, на карты, завсегда раскошелится на непутёвое. С того и выходит: нонѣ убавка, завтра убавка, а и с себя все спустит: и шубу с себя, и подшубок, и рукавицы лосовыя. А прибавка у них опосля с воровства.

И бабы и себя с платком рады пропить. Такая и Бычиха. Такая и Змѣиха. Такая же Фирсониха.

Мужик в трактирѣ сидит охмеляется, косушку выпил, а баба кисель дома разведет да в циновйк кисель сольет, да сама бѣжит скорѣй к кабаку. Да возьмется ругать мужа:

— Чорт, лѣший, сам вино лопаешь. А женѣ небось не поднесешь винца охмелиться.

— Не то винца, я тебѣ горѣлой корки не дам.

— Чорт! Лѣший!..

Поругаются, пострамятся, опосля мужик скажет:

— Ну, бери уж косушку, чорт с тобой.

— Чего — косушку! Бери уж всю бутылку, лѣший с тобой.

— Эх, дура ты непутевая, ты бы мужа укоротила на винѣ, а ты еще сама такая же, еще злѣе пьешь, — скажешь, не стерпишь.

А зимой в Москву идут жить, что̀ мужики, что̀ бабы. А в Москвѣ-то уж негдѣ стало жить, а в деревнях заколачивают избы. Потому в Москвѣ вольнѣе, ѣдят сладко в Москвѣ-то: бѣлый хлѣб, колачи да колбасу, да селедку... А то пойдут будто Богу молиться, в странствіе, цѣльный год ходят, и в рабочую пору нѣт их.

— Что у вас там в деревнѣ нѣт Бога?—от работы уходите, — говорят кои добра желают крестьянам.

А только муромскіе, что̀ в городѣ, что̀ в деревнѣ — одна у них жизнь. Они и нанимаются, и разсчитываются — все сбрызги у них. Бык — он снасть ломовскую пропил, таперича от хозяина овощу возит. Чабарку — чарку, еще с вечера готовит себѣ. Встанет, первое дѣло у него — выпить. Опосля ѣдет.

— Всѣ докуме́нты знаю как нажиться, — хвастается.

С того что навалено на возу плохо-плохо на десятку в свою пользу продаст.

— Мово жалованья только на вино хватает, — говорит.

А жалованья ему двадцать рублей от хозяина в мѣсяц.

И Бычиха не отстает от него в поведеніи.

Тож Змѣиха. Эта — дѣвка, хоша и зовем ее Змѣиха. У ней сын в деревнѣ растет. А нагульному сыну, дѣвичьему, земля все одно полагается, потому дѣвку общество кормит. А у ней только и разговору:

Казеночку, пойти распить.

Али скажет:

— А я жуличек припасла.

Али:

— А я косушечку распила.

Она так-то на мѣстах жила, сама сказывала. Да опричи водки, к непутевым дѣлам прилегала за деньги.

Однова при барынѣ своей дворнику выговаривать стала:

— Ты сказал мнѣ — тот телеграфист меня ждет, а там Митрошка ждал.

А барынѣ опосля говорит:

— Воля ваша, как если за это не хотите держать. Потому я могу быть рискованной пять лѣт, а потом и глядѣть не станут господа.

И с другого мѣста согнали за то же. Стеречь поставили квартиру, а сами господа уѣхали за границу. А она-то без них все мущинов пускала к себѣ, да все разных, а там еще стала пускать мущинов в карты играть на цѣльныя ночи. Они-то ей и за это платили. Деревенская дѣвка, а сколько хитростев объявилось в ней — чѣм деньги наживать! Согнали, потому другіе квартиранты помѣтили, жалобу хозяину дома дали: „Притон. Еще наведет шайку воров. Обокрадут квартиры“.

Уж такая для работы пропала. Не станет она притрудать. Да научить ее добру некому. Почитай всѣ ея землячки такія же. Крестная мать в Москвѣ проживала. Бывало, поругаются. А помириться — мать крестная говорит:

— Не мнѣ пред ней укоряться иттить. Она должна матерь хрёстную угостить. Пущай косушку несет.

— Бутылку уже понесу, а не косушку, — говорит Змѣиха.

Та просит косушку, а эта бутылку берет. Потому самой хочется пить. Аккурат как Бычиха.

И прочія муромскія дѣвки в грязѣ большой пожили онѣ. Тож с присыпкой много онѣ. Которыя на огороды тоже идут, работать на огородах, а все на деньги соглашаются. Земскій начальник попался один — беззаконник, жена ушла от него, потому с муромскими дѣвками компанію водил, путался, на судержаніи держал.

Потому онѣ и на деревнѣ не по себѣ гнут мущинов, а все за женатыми да за чужими мужьями бѣгут. Играть, жировать схватятся покуда никто не видит — истовые мужики поведеніем, не уступят самому что ни на есть завѣтрѣлому мужику. Всѣ размижжулены... как мыши за спиной бѣгают. А рачить, заботиться, притрудать — не их дѣло. И баб сколько угодно на деньги согласных.

Фирсониха так-то и на фабрикѣ соглашалась. В стряпухах жила. А тут один из нàбольших — десять давал. А она: „За десять итти не зачѣм. Себѣ дороже стоит“. — Двадцать, — говорит. „Тож нѣт. Не довольно“. — Ну, тридцать. „Деньги вперед подай“, говорит. Он дал. А она не пошла. „Никаких я денег не брала от тебя“, сказала.

„Давай еще пятьдесят, а то мужикам разскажу". А кругом него мужики — убьют. Поэтому дѣло-то завела без опаски. Потому тут забастовки все были. Забастовщики стало быть управятся с ним. „Облазнял", скажет. Много свиноватых-то нынче во всем кругом.

Фирсониха еще в дѣвках свиноватилась — пила. Почище мужиков пила. Отец, мать у ней все по трактирам гуляли, да все по пивным. И она тоже пить научилась. Для работы дюковата, с простинкой умом-то, да во-всем неукорная, не спросит как сдѣлать; а шьет — к глазам близко держит шитво. А пить научилась. Они себѣ пьют, она себѣ пьет. Однова бутыль вина домой принесли. Да схоронили, поставили в амбарѣ в закром, в муку. А она нашла. Вылила половину себѣ в посуду, да тоже схоронила, а бутыль к ручью понесла за амбарами, водой долить, чтоб не видно было что половина отлито. Да сама дюковата: бутыль боком в ручей положила, черпать в нее воды значит. Воду черпает, а водка-то в ручей боком еще выливается. Да мокрую бутыль в муку отнесла, гдѣ стояла. Мука и облѣпила бутыль. Что только и было, как пошли за бутылью! Она мяк, мяк... да и призналась. Тут и узнали, что пьет. А тут стала зариться на парнев, висѣлька стала. А тут стала поворовывать.

Петров день, Знаменіе, иногда и Рождество, случается, приходятся в один день. И Ильин день тогда приходится в тот же день. А Ильин день тоже праздник, сердитый праздник. Гдѣ по приходам празднуют, гуляют три дня, а то еще и подпразднуют, как Миколу-то. Женщина одна стало быть к обѣднѣ ушла. А Фирсониха к обѣднѣ не пошла, а пошла

к той женщинѣ. А у женщины той тихая горница, двери не скрипят, никто и не слыхал как входила Фирсониха. А как вышла — видали. Косынку схватила да зеркало сняла, да под полу зеркало схоронила, кіотка зеркала из под полы-то видна.

Народ боится сказать, уличить. „Дѣло мол не наше, пущай как хотят". А все-таки женщинѣ той указали: „Иди к Фирсонихѣ".

А Фирсониха не отдает.

— Моя душа-тѣло ничего не знает. Под меня подкоп сдѣлан, — говорит.

А в деревнѣ, извѣстно, нешь кому — обмануть — продать только. А больше — что украдут, для себя украдут. Фирсониха косынку-то размахрила, чтоб не признали значит, да и носит на людях словно бы свою. А зеркало в сундук заперла, невѣсткина дѣвчонка видала. А тут как подошла маленькая масленая — первая суббота поста значит, тоже блины пекут в деревнях — женщина, у коей Фирсониха украла, мылом умылась, побѣлѣе, да занавѣсочку надѣла сряднѣе, да и пошла в церковь свѣчку поставить Ивану Воину. Потому очень ей желалось зеркало назад получить. А ему, батюшкѣ, Ивану Воину, обрекают свѣчку как если кто обокрал. Только свѣчку надо ставить кверху торманом. Да надо сказать: „Батюшка, случилась покража, найдись наша пропажа". И пропажа найдется, и человѣку-лиходѣю наказаніе нашлет Иван-Воин. Лиходѣи очень даже боятся. И Фирсониха, услыхала, — той же ночи подкинула зеркало, постановила женщинѣ зеркало в сѣни, под порог избы прислонила.

И другіе в Муромках есть — тоже рачат только как чтобы гдѣ стянуть что. На станцію ходят,

стерегут. У одной бабы так-то узел с вещами взяли да махотку с творогом взяли, в Москву везла женщина, дочери. Сама отошла. А они сичас и уперли к себѣ в руки. Их и накрыли. Потому мужичок один видѣл как брали, да жандару на них показал. Повели в особую комнату, наверх, на станціи, там записали:

— К какому хромельству прилегаете, что дѣлаешь, значит, к чему природен, — спрашивают, — к сохѣ, боронѣ?

Опосля того поѣзжай стало быть в казенное.

Тож — и не пересудить их, муромских. И в волостном все одно — кто судится? — все муромскіе. Отпѣтый народ. Теперича у коих золотце завелося. Кто говорит — краденое купляют, потому по Москвѣ, сказывают, уж такой ли грабеж! А може кто сам украл. А в деревнѣ спрячешь что хошь. Подержат в деревнѣ покуда забудется кража, а там продавать повезут на Москву же. А коли это одежда какая, носить будут — сносят.

А то косника раз сгубили. Мужик косы продавал, да заночевал в Муромках. Гдѣ заночевал, там деньги ночью из под его вытащили. Косник опосля свою жизнь рѣшил, потому плакал, молил — „Отдайте деньги". А они и присягу съѣли в судѣ. Косника обобрали, а присягу съѣли — что денег не брали. И Бога не боятся.

Тоже обмануть кого, занять, да потом не отдать — любят. Другой любит — и тѣм же оборотом отдать. Потому как чужое получишь, займешь, за душу тянет - отдать поскорѣе. Заботишься, стараешься — отдать. Заложишь все, об одной юбкѣ останешься, а отдашь. А эти — лѣнь перекатная, опричи что пьянюги. А жоны у них растрепы. Так сообча

и растрепают хозяйство. А как котораго ксіоном продадут, они опосля христосничают, просят, выпрашивают, али на мір по дворам водят их.

Тож — два муромских мужика года через три уѣхали в Питер. Да стали на судержаніи жить, все одно что дѣвки которыя. Один у купчихи-вдовы, самоварницы: приглянулся ей. А мужик нешь станет даром любить! Три года осасывает ее покуда нельзя. А прогнать она боится. „Похичу́ тебя", говорит мужик, „убью".

И другой любовницей кормится, наживается. Жена к нему раз поѣхала, потому слухи́ дошли до нея. Да еще дѣло вышло такое: тут с войны которых раненых ставили по деревням. По шестьдесят копеек за человѣка, за койку, платили на мѣсяц. И его избу оглядѣло начальство. Жена и поѣхала — как сам скажет мол. Коек за тридцать мол получать.

— Очение с удовольствіем, — сказал, — хочу жертвовать избу на войну. А только не продешевить бы. Може дороже берут в прочіих мѣстах.

Она уж вот добра вывезла из Питера! „На, тебѣ". Всего надавала ей любовница. Она взяла. А другая женщина нипочем бы не стала брать.

А тут, как пошли города рѣзаться, одна муромская женщина ѣздила — на послѣднее свиданіе, на послѣднее разставаніе с сыном. Потому посадили в тюрьму — на каторгу гнать: трех человѣков убил. Потому медвѣдь, сказывают, пять раз по вѣсу сильнѣе человѣка, а этот два раза сильнѣе медвѣдя. Ужас взглянуть — какой мужчина! Много ограбил, сказывают, а только не сказывает куда деньги схоронил. И матери не сказал.

— Что ж, — говорит, — говорить. Ты в моих грѣхах не будешь — отвѣчать. Теперича послѣднее свиданіе, послѣднее разставаніе на вѣки вѣчные. Теперя ни ты мнѣ, ни я тебѣ ничего.

А другой хрестьянин так-то еще с каторги присылал семьѣ. Рукомесло имѣл, на каторгѣ из третьей копейки работал, в кôзну двѣ копейки, а потом себѣ копейку. А только ентот, хорошій мужик был, душелюбный, заботливый. А на каторгу, сказывают, за напраслину пошел, за чужіе грѣхи.

2.

— Вот у Бога всего много — вчерась весна, а нонче зима. Вчера дождь и снѣгу не было, а сегодня навалило. Так и человѣку Он посылает, а у других за грѣхи отнимает.

Гришка в пастухах сейчас, никуда болѣе не годится, свиней пасет, безкрылая ворона теперь. А все за кривду Бог сдѣлал. Поди-ка, у Бога возьми-ка силком богачество прежнее да удачу!

У крестьян даже в кажной семьѣ есть мучители. Рѣдко когда весь корень хорош. Али плох тоже — всѣ вообче чтобы как волки.

А у Гришки чтò он, чтò мать и сестра — вышли нехороши. А дѣвку за него отдали хорошую. Наталья с Живых была за него отдата. Двѣ сотняги у старика наличных денег было, у отца-то ея, покойника. Потому это теперича живут на всѣ, на весь дивиденд... доход стало быть. „Все одно, говорят, придут воры, отымут“. А прежде мужики прятали деньги, в землю закапывали. По сорока цѣлковых дали Живые двум дѣвкам, Натальѣ да другой дочери, да приданаго дали помногу, ко-

пили, копили всю жизнь, для них все, для дочерей. А еще дочери дома, а сыновей Бог не дал.

У нас, в деревнях, женщина должна мужчинѣ на первую встрѣчу дать — рубашки, палталоны. Иначе застрамят. Да еще замуж не возьмут.

Идешь замуж, — скажут дѣвкѣ, — и вдруг ничего мужу не приготовила.

Мужу все готовить. Жених вѣнчается в невѣстином во всем, а то брать не будут себѣ жон. Теща свяжет узел, весь узляк, все наложит в узляк: платок, чулки, рубаха, палталоны, шаровары, кушак, и скажет — на вечерушках, на вечеринках, которыя перед свадьбой бывают:

— Нареченному своему зятю дарю.

— Примите, сваточек, — скажет теща свёкру невѣсты.

Совѣсть перед совѣстью отдарит жених рупь, а у котораго совѣсти нѣт ничего не даст, а там в узлякѣ вокруг десятки добра, на десять рублей положено на первую встрѣчу, перевѣнчавшись, стало быть.

А Живые на двадцатку положили в узляк.

В деревнях и подножіе соблюдают. В деревнях, опричи того, как первый раз Царскія Врата откроют — глянь на него чтобы любить его и чтобы он любил, — нáучают и ее, и его.

Через пороги тоже переходя — когда родных обходят вдвоем — перекреститься надоть не забыть кажный раз.

А только мужики все любят только вино. Жон через вино и не любят. Да еще теперя все карты у них.

А Гришка и в парнях разноквѣтный был, да коряшный. Только морду наѣдал. Ему тоже —

чтобы пироги непереводные и в забудни были. А только чтобы не с его работы. Лѣнив был работать. Еще отца свово все обманывал. Отец у него счет деньгам не знал. Знал только сколько бумажек есть у него. А у этого у самого еще не было в руках денег, а уже выучился брать их. Бывало тройчатку возьмет у отца, а рубль на мѣсто положит — вот и штучка. А то урвет от хлѣба. Продаст, завѣсит двадцать четыре, а скажет двадцать два пуда. Вот и опять штучка. А у него вольная копейка на баловство.

Раз купил себѣ конфет, три фунта камбасы. Да мнет во рту, осасывает, от семейства прячется, А отец у него у смерти был в ту пору, болен. На печи лежал. Да с печи увидал — Гришка конфеты жрет.

— Сам ѣшь, а отцу рот посластить не дашь, — говорит.

Письмо тож дядѣ писал в Питер. На раннее Введеніе, на другой день, значит. А у них праздник храмовой был. Никакого почтенія даже — в письмѣ. Словно нà-смѣх написал. Потому — не старшій мол кланяется вам, дядюшка, а кланяются вам Аксютка, Марѳа и Сашка. Кого и не слѣд навел в письмѣ-то. Кого навел — а они вон какіе, от земли аршин. А по-деревенски, по хорошему, почтеніе посылать в письмѣ — должон всегда зачинать от старших, а пуплёнков хоша бы не упоминать. Да андрес дядюшкѣ записал без почтенія.

А вырос, тетку родную обыграл в карты-то.

Рубль она проиграла, а тут отыграться ей пожелалось.

— Ну, я замирила карту, — говорит, — давай опять играть.

У ей туз, у него три туза, у него рука значит. Она думала — козыри у ней, а тут, далѣ болѣ, у него рука и рука. Так и проиграла ему десять рублей. Денег-то нѣт чѣм отдать — он шубу у родной тетки взял.

Ну, прости, не бери шубу, — народ ему. — Отдай шубу.

Не отдам.

Да и стал носить ейную шубу.

У нас, в деревнях, жена мужа всю жизнь наряжает.

— Дай шаровары, — скажет мужик.

Ну, баба сейчас продаст холсты, с того шаровары мужу купляет. Только и есть одна женщина у которой сватов-деверьев из семьи наряжали. Потому они богатеи были. Дом кирпичный, двухъэтажный. А три брата. Им жиры — лёгко в рабочую пору. Им все домà класть, избы, до самыхъ бѣлых мух, до зимы класть, до снѣга, непогоды. Рублей тридцать за малую избу, а то сорок, в недѣлю втроем выгонят. А то кадушки сбивают кому, чаны, бочку, чтò кто надумал. Их всѣх из семьи наряжали, а жоны на себя рачили, пряли да ткали.

А Гришка не токмо — а еще хомолком тащил у жены. В два гòда ополовинѣли у ней сундуки. Онучи — трубу, тридцать аршин вытащил да еще рядник, да еще холста вытащил, да всѣ деньги перетаскал. А сам бабочку бил. И от свекрови тож доставалось, и от золовки. Плохое было житье. Затиранили вовсе бабочку они.

А тут застудилась она. Была значит осенняя стрижка. А перед стрижкой, перед Иваном постным, в рѣчкѣ бабы моют овец, мужики приводят,

а бабы моют, до пояса в водѣ стоят бабы одѣтыя, ноги в лапках, в онучах обуты. Потом домой бѣгут — стакан водки, и чай пьют. А извѣстно — послѣ Ильина дня лѣту конец: и дождь холодный пойдет, и вода холодная станет. А уж послѣ Успенія вода холодная-прехолодная. Она и застудилась. Пришла домой, легла, занедужила. Мѣсяца три умирала.

Чует бабочка — не жить ей, помрет. Да велѣла матери пріѣхать провѣдать. Матери и отдала коечто: шесть вьюшек пряжи дала да двѣ кольчужки отдала. Велѣла матери в сани снести.

— Как помирать буду, — матери сказала, — сундуки мои заберите. Ополовинѣли сундуки. А что осталось, берите.

Дѣвкам, мол, сестрам, годится.

Потому дѣтей у ей не было. А в деревнях как если без дѣтей померла — матери родной возвращают приданое.

А Гришка пряжу из саней вытащил, отнял у тещи.

— Что ко мнѣ попалось — нѣт тебѣ болѣ, — сказал.

— Григорій Улупыч! Григорій Улупычъ!..

Жена умоляла, умоляла отдать.

Нѣт, с тѣм дѣлом так и не отдал.

— Как если помирать будешь, отдам, — обѣщался. — Тоды мать пріѣдет, пущай все заберет.

А не ближнее дѣло — откуда бабочка взята-то.

Поплакала, поплакала, с тѣм и отъѣхала мать.

Недѣли двѣ послѣ того маялась Наталья. А как помирать ей пришло, просит мать извѣстить. А Гришка не хочет. И свекровь не желает. И сказывать не велѣли никому что дюже плоха.

А Наталья уж видит: золовка к обѣднѣ в ея нарядѣ ходила. И сундуки уже пусты до дна: в свои выложили добро свекровь и золовка.

А тут и помереть ей без матери, без родных.

— Свѣт ты мой бѣлый! — сказала, сама заплакала, дюже заплакала.

А потом ручки сложила да на икону глядючи и сказала:

— Ну... обратись этот дом кверху дном...

А сама еще дюжѣе заплакала...

Похоронили. А мать и не знает. А как похоронили, Гришка и шлет к тещѣ — сказать.

— Наталья с бѣла свѣта скатилась. Наталья отказала свою жисть.

Как вошли к матери в хату, да сказали:

— Наталья отказала нам жисть, царство Божіе ей и мѣсто покойное... — так и упала мать замертво. Спасибо — дьячок недалече — дал капель: пришла в себя.

Собралась, поѣхала к сватьѣ, к свекрови Натальи, да к мужу Натальи.

У крестьян хоть ножами рѣзались, а разговѣться, к примѣру, все вмѣстѣ сядут. На тот час — замирятся.

И выть по Натальѣ — мать родная и свекровь лихая выли вмѣстѣ, как это велит деревенскій обычай. Как вступила в избу мать Натальи, так и завыла с порога. И свекровь в ту же минуту завыла.

Мать воет:

Дитятко милое!
Что же ты со свѣта скатилась!
Аль налогно жить тебѣ было?..
. . . .

А свекровь тоже воет:

Дитятко милое!
Без тебя у нас стало
Пустым-пустёхонько,

Без тебя теперь вездѣ шатнешься,
Вездѣ промахнешься...
. . . .

А как повыли, стала мать в тот же час корить-укорять — зачѣм знать не дали, да стала требовать приданое дочери.

— Что ко мнѣ попалось — нѣт тебѣ болѣ, — отвѣчает Гришка.

Уж на перебой она не стала просить.

— Ну, провались ты совсѣм, — сказала, — деньгами отплачу тебѣ, только отдай Наташино доброе.

А он и суда не побоялся.

— На суд просудишь, только всего. Потому Наташинаго ничего не осталось, — сказал.

А доброе на концы, на концы послѣ да и видѣли. И холстина и наряд и шуба — все Наташино и на самом, и на свекрови, и на золовкѣ.

— Ну провалитесь вы провалом, — сказала мать то же что сказала дочь.

— Перевернись этот дом кверху дном...

Та́к оно и вышло. Весь дом у них рѣшился, провалился.

В тот же год краснаго пѣтуха перекинуло. Да пошло играть, играть, прямо под пелену. Загорѣлось. Доброе — ничего, хоть бы палец обернуть ничего не осталось. И скотина вся погорѣла. И свекровь со скотиной сгорѣла. Золовка побираться пошла. А Гришка с той поры в пастухах. И сейчас свиней пасет, ворона безкрылая. Когда и к тещѣ идет, того просит, другого просит.

Другая сказала бы:

— Ступай назад пятками.

И на пустом слѣдѣ не пустила бы, слѣд его выжгла бы.

А она принимает, накормит, когда и рубаху носить ему даст, а то и пятак ему подаст.

— Он меня не хитит, живу и живу, — скажет бывало. — Може и Бог простит его опосля. Може исправленіе пошлет ему Бог, проклятіе снимет с него...

3.

Мужик не дотошный — доить корову али печку топить. А топил, и корову доил. Мужик не дотошный — потому надо их в чувствіе воспроизвесть, махоточки, жарить их надо, горшки-то, а мужик нешь может! Хоть корову продай как если дом остался без бабы. А этот дѣлал. Семнадцати лѣт остался замѣст матери на семействѣ. Сам печку топит.

— Меня один пополам стыд перебьет, — печку топить, — говорит на деревнѣ мужик что̀ стар, что̀ млад, и смѣется над паренком.

А паренка Лаврушею звать.

— Нешь я природный! — отвѣчает Лавруша. — Баба, которая ловкая, и за мужика справится в работѣ, а мужик, пришлось, дураком себя объявит? Вот когда стыд пополам переѣст. Пущай тѣ которые природные, господа они — пущай они коли стыдятся работы, а мужику, в бѣду впал, иттить не к курку... Кто же мнѣ прокормит их, возрастит?

И то не найдить против его рѣчей. Умен Лавруша.

И мужики, как стал отговаривать им, правду им говорить, славу о Лаврушѣ пустили:

— Лавруша — он умный на разговорѣ, не токмо на дѣлѣ. Не найтить против его рѣчей. Умен паренек.

И кои льгодіи предоставили паренку. Ослобонили от пастуха. Уж нешь когда другой обход пойдет, а тож не дойдет — Лаврушѣ кормить пастуха. Уж какой-нибудь из сосѣдей накормит замѣсто Лавруши. И безродных, которых по дворам водят — по душам, стало быть, ночевать — тоже к Лаврушѣ не ставят. А пастуха кормим в деревнѣ — три души ежели в домѣ, три дня у того ѣст. Так он, черед идет от двора ко двору, обходом зовется. Окромя того — гдѣ парится, там и вымоют рубахи. А мужики Лаврушу ослобонили.

А дѣвки со всей даже деревни обѣгают Лаврушу.

— На этакую обузу — замуж за него итти: шестеро у него, три дѣвки, три мальчика. Да с отцом его что подѣялось: с печи не слѣзает. Нешь которая засидѣлася, никуда не годится, пойдет в такой дом. Али еще — вдовая, за холостого им лестно. А дѣвка нипочем не пойдет.

Потому его мать отцу его оставила еще шестерых: трех дѣвок по пяти да по семи годочков, трех мальчиков — по десяти, по двѣнадцати. А отец его разума лишился как овдовѣл. Семеро ребят — кто возрастит? Да задумываться стал. Да от дѣлов отходить. Однова спрашивает сына-то, Лаврушу:

— Что давать скотинѣ?

— Чай, батя, сам знаешь.

— Не помню. Ничего не могу вспомнить, — а сам за чело хватается, за голову.

Заплакал тогда горючими паренек. Одна горе-бѣда, а Бог посылает еще горе-бѣду.

— Что ты ахаешь без время! Авось пройдет, отойдет, — народ его потѣшает, жалѣют.

А старику с того дня все хуже да хуже. Не знает, не помнит, ничего не дѣет, с печи не слѣзает, сын на печь дает поѣсть; а не подать — и не спросит поѣсть, потому ничего не помнит как есть. Дѣвки, ни одна, и не идут за паренка.

Потому нонѣ народ воскоумный, хитер, маховый нонѣ народ, только на деньги и смотрит да чтоб поменѣ работать. Нонѣ за дуру сочтут, простецкая, скажут — как если пошла бы работать на шестерых. Нонѣ сын али дочь на отца скажет: „Старый дурак“, скажет, как ежели что денег к себѣ не тóщит али изъян какой сдѣлает. А то и убьет за малость. Один, раз, в полѣ работал. А отец стар, не работал. Да нес сыну в поле обѣд. А пекло, жарко было. Разморило старика. „Давай, говорит, лягу, полежу, а там донесу“. А сам, не моргнувши, под дубом уснул, да и проспал обѣд. Сын и разбудил; обѣда ждал, ждал да и полно ждать, домой пошел. Тут и нашел отца — под дубом спит, обѣд проспал. Он и давай его — журить да ругать, да срамить, словно и не отец он ему. Как есть каждый себя только жалѣет, окромѣ как себя никого не жалѣет, ни о ком не болит душа, сердце.

А паренек Лавруша не этой масти зародился. Печку топит, корову доит, в полѣ работает, весь комплет собой воспроизводит, всю работу, мученіе, шестерых возрастает, тож больного отца сподобляет. Задачи Бог ему не послал, богачества, а он и не ропщет. Знай, только заботится, дѣлает.

Год сравнялся — отец у него отошел, помер. Тоже гдѣ мать — похоронил его Лавруша — около церкви. Потому почет деревенскій считается — схоронить возлѣ церкви. А сам опять заботится, дѣлает.

Уж и сусѣдскіе, ближних деревень мужики толковать стали:

— Что за парень такой. Не парень — золото. Без отца, без матери, а домъ не к разоренью ведет. Совсѣм наоборот того даже. И деньжонки, гляди, заведет. Видать. Настоятельно в дому у него. А сам горячка он на работу.

Потому, другой мужик говорит:

— Полтинник снесешь, куда ни шел!

Сирѣчь — на вино, в кабак. А завтра — и рубль. А у него никогда не шел зря и пятак.

Сирѣчь, мужики норовят убить деньги, концы в концах ни копейки у них — которые пьют али гуляют. А Лавруша расчетливый был, умный, и смѣтливый был. Опричи земли рукомесло себѣ завел. Другіе мужики всю зиму на печи. Скотинѣ корму задаст, вот и вся работа его, да по воду съѣздит с бочкой к колодцу. Остатное время — на печи валяется али в карты играет. А нашего горячка никто еще не узнал. Землю стало быть сдѣлает — как соль земля, уж так-то-ли с ней труда не жалѣет. Она и родит ему. Кой народ тут и завиствовать стал. Потому собрал, свѣял хлѣб да рукомесло повел до самой весны, с того стал жить дальше — лучше, с того достаток даже стал в домѣ, стал домок слава Богу у них. А прочій народ — маховый он. Чтоб поплечно итти работать — охотников нѣт. Всяк норовит дать маху в работѣ, сработать спустя рукав да дождаться зимы чтоб в карты играть. А Лавруша по зимам не в карты — а по зимам пряхи стал рукомеслить.

Прясть у него некому: дѣвки малы. Доходишка от пряхи и нѣт в дому как у прочих гдѣ баба прядет. Наткешь, выбѣлишь холсты и продашь, с того купишь дѣвкам наряд. Да семейству рубах нашьешь, подштанников, полотенец нарѣжешь. А он — все

купи да купи. Он и придумал чтò замѣст пряжи. Два рубля пряха новая стоит, а то и три. Он ее произошел. А пряха каждой бабѣ нужна. На пряхѣ прядешь. С нови все хороша. А в два года скохряешь. А то и в зиму баба скохряет. Там хлопнет, расколет, там разлетится. А то полочка промелется, качалка погнется, или крюк; проножки когда вередятся, али круг расшатается, колтыхает, ремни раскачаются, рогульки тож разлетѣлись, зубья али пряшник в ключевкѣ... А Лавруша пряху произошел.

— Я всѣ недуги в ей знаю, — стал говорить.

И стали бабы давать ему ворожить свою пряху. Которая починка — в пятьдесят копеек она. А то и рубль отдашь. Оно и годится обряжать трех дѣвок, трех сестер... Подани тож оправдать годится, потому на подани у которых, тоже случается, все из сундука да из сундука — бабьи холсты отвѣчают.

А тут прохладнѣй ему стало, не так работно. Подсоблять стали, братья повыростали, и дѣвки вырастать стали. А стали подрастать, помогать стали. Потому порода хорошая. Одиннадцати лѣт заневолилась, печку топить взялась, а тринадцати уже и хлѣбы пекла. То, бывалоча, Лавруша печь прокурит, хлѣбы в печь посажает да и бѣгит в поле, потому дѣлов туча; а вынимать хлѣбы из печи — бѣгит с поля, потому не кажная сосѣдка согласна помогнуть, хотя бы хлѣбы из печи вынуть. В понятіе вовсе не берут тѣх кто бѣдный али трудно кому. В деревнях и родному ничего не помогнут так-то. Кажный друг друга в ногах топчут. Кто отстал — и отстал, как хочешь так и убирайся. Тучу каменную произошел Лавруша — страдную пору. Краюшкѣ даже, не чаяли, на столѣ быть у них, кабы зародился масти худой. Потому

шестерых прокорми. Потому на хлѣбцы никто чужих не возьмет. Бывает, которая баба жалостливая, как если коровы нѣт у кого, а ребят туча „Снеси, скажет, им молока, схлебают ребята". А только не много осталось — жалостливых-то.

Лаврушѣ так-то рубля никто не дал на деревнѣ. Просил Христом-Богом рубль одолжить.

— Середь поста, говорит, — отдам. Ей-Богу отдам. — Сам плачет.

Не дали.

А как стал поправляться, к нему же первому и пошли то тот, то другой.

— У меня же просите, а мнѣ не дали рубля, — вспомнит Лавруша да и заплачет опять.

Потому дѣло было к масленой, как первый год сиротами остались. У всѣх масленая, а у них не случилось. Всѣ покупают того да сего, а у него шестеро ребят на руках да отец без разума на печи.

— Сподобить их хочу, — говорит, — как у прочих чтоб было. Рыбки какой ни на есть куплю, хоть селедку какую. Да мучицы куплю, да блины поставлю.

А ему рубля никто не дал. Да еще смѣялись с него:

— Ты допреж напеки, покажи как печешь блины-то, а тоды и проси. Нешь мужик потрафит блины печь!

А Лавруша заплакал да и кинулся к сундуку, понес продавать что было остатнаго наткато у матери.

А мужики и опосля грохотали:

— Лаврушка блины печет, не токмо печь топит, гро-хо-хо-хо.

— Я теперь бабѣ не уступлю. Объѣдишься моих блинов, — отвѣчает Лавруша, потому тут и стал отговаривать мужикам.

Тож, случился недород у крестьян. Другой мужик, как если крутой он да тугой, так и ходит колесом круг семейских да начнет их отжваривать:

— На вас ѣдун напал. Жрете, словно лопнуть норовите...

Потому в деревнях, когда есть, здóрово ѣдят, много.

А Лавруша только скажет своим:

— Ну, теперь щей поболѣ хлебайте, а хлѣбушка поменѣ кусайте.

И то заплачет горючими, больно жалѣет всѣх. Да сам еще менѣ прочих хлѣбушка ѣст.

Али скажет еще:

— Дал бы Бог урожай. Вот был бы подвиг, народ потерял бы унынiе.

Тут и стали почитать Лаврушу, дальше — больше. Потому раньше-то отъѣхать не от кого было Лаврушѣ, всѣ ребята потопли бы. Как вороны таскают цыплят от насѣдки, так их сиротство растаскало бы в могилу. А тут, возрастил, и стал зимой ѣздить в город, деньгу большую стал наживать сестрам на наряд, старшая у него невѣста уже, время приспѣло замуж сряжать. А кто стал ненавидѣть его как змѣев. Особливо сват Антон. Потому дочь у него, сваха Машка, сидит непросватана. Потому теперь кажной лестно бы быть за Лаврушей.

Одни стало быть почитают Лаврушу, в судьи выбирают, потому народ о Лаврушѣ толкует:

— Он и присѣдателю хвост подвяжет. Умен, да праведной жизни. Другiе кривляют, стакан под-

несет и, виноват — а у них окажется прав. А Лавруша и родного не защитит, коли неправ.

Лѣтом какое было дѣло послѣ войны: мужики побѣсились, галдѣть стали зря. Вовсе от дѣла отбились, только галдят. Раз, это, галдят, в волость пришли, на сѣмена требуют, да на выдачку требуют. А хлѣб еще на корню. А мужики — галдливы они. Да здорово выпивши были. Старшина слушал, слушал да, взял, лошадь запрег, да поѣхал, к полю мужиков подъѣхал, да с кратким и говорит мужикам:

— Из поля в поле перейдет да еще останется на прокорм.

Мужики опять галдѣть:

— Ты богат, а мужика не понимаешь.

А старшина:

— Дурите зря.

А мужики:

— Мы не дурим, дураками не называем тебя. А на сѣмена ты подай, и на выдачку дай. Потому ты богат, а мужика не можешь понять.

Да наступать стали на старшину, да кулаками махать...

Совсѣм дѣло шло к дракѣ. Никто — один Лавруша их в чувствіе воспроизвел.

— Вы, — говорит, — дураками сами себя объявляете. Умы устарѣлые — у вас. Китайцы носят косу, а вы нѣт, только всего разницы. А окромѣ того пьете. Чтò больше пьете — то больше дурѣете. Сичас у вас из под полы — галдеж. А таперича — кулаки. Опосля с рогатинами попрете. А вы за дѣло примайтесь — хлѣб косить да в копны ставить. Тогда будет видно. Тогда значит разсудите дѣло. А вы не работать, а пить. А пропьете

остатный свой ум — под китайцами станете, ниже китайцев... — Да расходился Лавруша. Откуда рѣчи взялись!

Мужики — к нему, бросили старшину. Старшина и рад: ни мужикам бѣды, ни ему. Снял шапку, перекрестился, уѣхал. А Лавруша еще толковал мужикам.

С того разу стали Лаврушу слухаться мужики. Опричи свата Антона. Потому ненавидѣл его как змѣев.

— Не все будешь конем, може согнешься, — все грозит ему, угрожает.

А прочіе слухаться стали.

Тож-то и не было безобразіев в нашей деревнѣ. В прочих коих подымались убивать скопом — крестьяне. А к нашим пришли подбивать — ни один не соглашается убивать.

— А кого постращать можно. Коли не убивать, хоша постращать, порядочные люди сказали — по деревням вишь ходили, учили мужиков. — Тѣм время хлѣб к себѣ везть, воопче все добро. Потому теперь свободно и вольно, — говорят они нашим, мужиков улещают да подбивают.

А наши:

— Нѣт, не пойду. Трудами жил, трудами проживу, — Лавруша сказал.

Еще сказал:

— Бывает, ломоть, да пляшет, а у другого и краюха, да плачет. Чужим добром владать — своего никогда болѣе не видать. Да еще опосля чужой ширинкой утереться, да чужими слезами. Потому не вѣк разбойникам в разбоѣ ходить. Чужія слезы до Бога доходят. А Бог к покаянію призывает. Тут и восплачет душа, как грѣх весь

измѣрит. А поздно: не вернуть. Только и будет им — натасканными ширинками утираться, да чужими слезами.

Нѣт, не пойду.

— Нѣт, не пойду...

— От трудов не пойдем на лихое... — сказали за Лаврушей прочіе мужики.

Один только Антон изо всей деревни пошел.

Тѣ значит лихими дѣлами займуются, безобразят да грабят, да кажный день пьяны, а прочіе мужики толкуют о новом:

— По скорости, слышь, в союзѣ с Царем народы сядут: сидѣть с Ним в думáх будут, думать с Ним будут — тѣ которых стало быть народы отмѣтят, пошлют. И наши хрестьяне православные в думах сядут с Царем. Промеж себя выберут, котораго стало быть одобряют хрестьяне...

— Нашего Лаврушу послать бы, — говорили однодеревенцы Лавруши.

— Чего лучше!

— Пущай его вся Имперія узнает, каков у нас Лавруша есть.

Почитали его мужики. Потому умен, да праведной жизни мужик...

А только убили Лаврушу. Вдругорядь сиротами остались три дѣвки, три парня.

В Москвѣ жил Лавруша остатную зиму. В Москвѣ. Что̀ ужасти натерпѣлся! Потому забастовка пошла да бойкот пошел, бились да рѣзались... народ пошел словно на истребленіе себя... Хотѣл в деревню возворотиться, бросить Москву. Машина стояла, так пѣшáми кои мужики возворачались... А Лаврушу хозяин не отпустил.

— Пожалуйста, — просит, — побудь. Видишь,

время какое. А ты человѣк вѣрный. Я тебѣ довѣряю. И жильцы при тебѣ не боятся.

И жильцы кои просили. Потому в дворниках жил. На Пятнивской. А темень на улицах, а ворота позапирали да заградили досками, кои жильцы и днем выйти боятся. Что̀ купить — все Лаврушѣ препоручают. Его не боятся.

Опосля разсказывал дома Лавруша. Потому умер он дома, в деревнѣ. Три мѣсяца в больницѣ валялся, велѣл в деревню отписать браты чтоб пріѣхали — на родной чтоб землѣ помереть. Старшенькій и поѣхал в Москву, да привез Лаврушу домой. Мужики всей деревней встрѣчали. Жалѣют Лаврушу. А Лавруша и разсказал мужикам:

— В булочной кишмя кишит народ: хлѣб покупают. Черный народ тута, и господа кои стоят, дожидаются тоже хлѣба купить. А толпа на них звѣрем глядит. А господа, кои пришли, только — что образованные, а тоже бѣдные, а булочники и не глядят на них, все народу, народу отпускают, а господа — жди. Так вижу — куражутся, измываются, форсу показывают, наш-де верх теперя пошел. И барышня с нашего двора за хлѣбом пришла. С сестрицей живет. Сестрица — облаѣдка, чернокнижница... образованная да умная, и сестрица хороша, тож не особо молода, ребят обучает, а к сестрицѣ погоститься пріѣхала. А прислуги не держат. Оправдать ее нечѣм. „Возьмите, пожалуйста“, говорит, „нам чернаго хлѣба. Затолкают“. А я и то вижу — толкают. Нарочито толкают, от форсу. А чего кажись форсить. Только — что водку потребляют да срамно ругаются. Мол, не каждый потрафит. Оно и правда: другой и на деревнѣ нипочем так не станет как эти живалые

кои... которые всѣ почитай кабаки да пивныя измѣрили.

А хлѣб только черный пекли-то спервоначала-то.

— Только кислый хлѣб ѣст народ, только черный...

Только черный стало быть чтобы печь. Бѣлый мол господа ѣдят.

А сами по-скорости затребовали ситнаго, бѣлаго. И все несут бѣлый хлѣб — народ. Шел в булочную — видал. Даже очень в понраву, как увидал. Ну, думаю, куплю же и себѣ к чаю два фунта. Сколько дён не ѣдали бѣлаго-то!

Барышню спрашиваю:

— Чай, и бѣлаго хлѣбца купить?

— Нѣт, — говорит, — дорог навѣрное. И черный вон как ужасно дорог... Да и не любим мы бѣлаго хлѣба. Гадость, по-нашему, всѣ эти булки покупныя.

Вот и господа! А у деревенских живалых в Москвѣ нынче первая ѣда в городѣ стала бѣлый хлѣб обожают, кажный день покупают колачи, булки.

А только тут оно и случилось.

Я пока с барышней говорю, а народ возлѣ нас слушает, звѣрем глядит, да тѣснится. Барышню вовсе замяли. Вижу, лица на ней нѣт.

— Идите, — говорю, — барышня, домой. Я как из булочной — хлѣб прямо к вам принесу.

А на народ маленько я зыкнул:

— Дайте, — говорю, — дорогу, православные.

Затолкали и вовсе.

А кои осыкнулись тут на меня — ругаться стали.

— Ишь, ты, заступа господ...

А барышня только за дверь, а я в булочную, да хотѣл ближе к прилавку, а тут слышу:

— Он черносотельник, товарищи, я его знаю. Потому он в дворниках ходит. Бей, не смотри на него...

— Черносотельник...

— Бей...

— Чернодушники, — кричу, — душегубники...

Тут уж и не знаю что̀ было. Должно с дверью вышибли меня, головой прямо в стекло попал. Весь порѣзался, да на мостовую чебурах — упал, на камнѣ голову ушиб. А они за мной, да бить навалились. Еще голову прошибли, висок. Всего смертным боем убили.

Тут и не помню. Аж покуда в больницѣ очнулся. Ни рукой, ни ногой, голова обвязана — дюже болит...

— Два дня без чувствія ты лежал, — опосля нянька сказывала. — Барыня одна шириночку, платочек свой тебѣ повязала на голову. Присох был платок. В крови весь. Опосля в больницу доставили.

А только это Антон натравил на Лаврушу. Признал его Лавруша в булочной-то. Ненавидѣл Лаврушу как змѣев. Сам кажную зиму жил в Москвѣ, а тут послѣ безобразіев, как стали на деревнѣ уличать да искать — кто грабил в деревнѣ — и вовсе схоронился в Москвѣ, потому всѣ в ней притоны измѣрил, а в деревнѣ не скроешься. Гдѣ и есть теперича, никто и не знает. А только был слух — и не молодой, а тож в душегубники записался. Опосля быдто так-то-ли плакал у столба, тоска навалилась по жисти. Потому яма тут, а винтовки трещат... Народ сказывал. А вѣрно не знаем...

4.

— Уж это как Рождество — так и ждем Коледу. Только и слышишь, как стали прясть зимним дѣлом:

— Прядите, прядите, а то Коледа придет, она вас изобьет: клубки вѣшать придет, а у вас клубков нѣт.

Маленькія трясутся — боятся. А бабы тож ждут — не дождутся, потому за зиму прясть надоѣст. Онѣ и ждут Коледу: святки, не прясть.

Которая баба — бойкія, соберется, и нарядится: шубу выворотит, шерстью наружу одѣнет, овчина черная, да подпояшется ниткой, оно и вся станет лохматая, черная. А голову разлохмачит да на волосы лохматую шапку одѣнет али конопи обмотает круг головы, и ноги конопями ли обернет али овчинами, тоже лохматыми сдѣлает. Да придѣлает бороду из овчин с усами и возьмет дубинку, здаро-овую, сама на салазках ѣдет, бабы двѣ-три везут Коледу.

Коледа ѣдет, снѣг под салазками скрипит, а сама пѣсню уж так-то страшно ровным голосом... какой чтоб погрубше, значит, кричит:

Мороз, мороз,
Не бей наш овес,
А бабій лен и конопи
Хоть вовсе поколоти.

— Ой, Коледа, Коледа жалует к нам.

Дѣвчонки всѣ и схоронятся от Коледы, попрячутся на полати.

А Коледа тут и ввалилась в избу, и поводырь с ней, холоду с собой нанесла, черная вся да

лохматая, страшная, на рожѣ рожа надѣта, да и кричит на порогѣ:

— Ну-ка-ся... я пришла клубки ваши вѣшать. Много ль напряли?

А мы ей сейчас отговаривай:

— Много напряли.

А она наоборот сейчас скажет, да отбузует в придачу: врете, мол, мало напряли.

— А много ли фунтов?

— А кто е знае, косатка! Десятый фунт с Божьей помощью...

— На вѣсы, на вѣсы, — грит, — прикиньте.

Да схватит с гвоздя обмотанные верчью клубки...

— Ну, ладно, ладно, — скажет, — хорошо что напряли. Прядите, прядите, — скажет, — а то на будущій год изобью.

Да дубиной грозит Коледа.

Тут и дашь блина Коледѣ. Да поводырю дашь блина два...

Коледа и пойдет за порог:

— В вашем домѣ будь добро здоровье.

И сперва поклонится Коледа.

А как пошла Коледа за порог, запѣла Коледа еще слѣпой стих:

Варвара добра —
Милостыньку и этот год подала...

Так на салазках и объѣзжает. А только послѣ надоть искупаться на Іорданѣ...

Гаданье тож затѣют на святках. Соберутся в избу однѣ бабы и дѣвки. А только и на мужиков можно гадать. В чашку с водой серьги положат да кольца. Одна вынимает, а прочія пѣсню поют одну за другой.

Саночки-самокаточки
Сами ѣдут, сами котются.
Кому достанется пѣснь —
Над тѣм сбудется, не минуется.

* *
*

За рѣкой мужики — богатые,
Гребут деньги лопатою.
Кому достанется пѣснь —
Над тѣм сбудется, не минуется.

И это тож к богачеству:

Лежит кишка
Поперек горшка...

А коли к смерти кому — тоже пѣснь достанется:

Сивый боровок
Подкопал бережок.
Кому достанется пѣснь —
Над тѣм сбудется, не минуется.

*
* *

Валится, валится
Одонье ржи...

А то бабы на перекрестки бѣгут, воду на землю выльют и нѝчью лягут: что слышно, каков будет год? Коли звон или собаки гдѣ брешут — это к голодному году.

Али лапоть через двор дѣвушки кинут — в какой сторонѣ головяшкой он ляжет? А то сама ляжет на землю. А на утро отпечаток на снѣгу коли гладкій — это к жисти хорошей. А если отпечаток словно посѣчен кнутом — плохо жить будет...*)

А в лѣтошнем годѣ никакого веселья не было в нашей деревнѣ. У одних одно горе, у других

*) Еще о гаданьѣ великороссов см. мою книгу Любовь-ли? (Очерк: Паша Синицына).

другое горе завелось. С войны пришли, кто без руки, кто с одной ногой. У сосѣдей и вовсе не дождались. И письма не дождались, потому они письмо не пришлют мертвые, что их побили. Да наши парни опосля погибель нашли. Двое аж в Питер заѣхали. Там с народом погибель нашли. Еще особливо один — какая-то называется Рыга — там в солдатах служил. Все домашнее обстояніе не забудет и не забудет, о скотинкѣ мрет, дома все за скотиной ходил, привык, не чает возворотиться домой. А Бог не привел...

А Карасевых сын в Москвѣ затерялся. Мать его Степанидой зовут...

Через непочетников пошли у них в дому нелады. Потому теперь младшіе старшаго в ногах мнут. У Степаниды сноха заѣла свекровь. И сын через нее мать родную заѣл. То все ладно жили промежду собой спервоначала. А тут заненавистовали. За младенца, значит, пошло от снохи. И сын не по матери стал говорить — по женѣ.

Послѣ Миколы зимняго баба родит — это постовой у нас называется. За грѣх большой почитается на деревнѣ. Батюшка за это баб не похвалит; когда и отбузует в рѣчах. Только однова̀ женщина одна стало быть осмѣлилась: сама матушка родила филипповками, а женщина опосля говорит:

— Как же, матушка? — нас, баб, за это во-как щунят...

— Ну, это так пришлось, раз, — отвѣчает матушка. Сама тож краснѣет.

— Та́к и мы, бабы, муж ежели пришел из Москвы али из Питера на побывку... И не рада баба не соблюсти, а тоже пришлось.

А тут Степанида, и не молоденькія, сколько годов уже не рожала и вдруг в самый послѣ Миколы зимняго родила.

За двѣнадцать дён до Рождества кидают с маслом ѣсть, и селедку. Тут и день увеличивается, а ночь уменьшается. Потому тут Спиридоны-повороты приходятся, солнышко значит — на лѣто, а зима на мороз. И никаких примѣт тут нѣт о скотинѣ. На Новый год примѣта есть: если женщина первая к кому в избу вошла, то ярочки все будут родиться; а коли мужчина — все будут бараны... Про хавраль тож народ говорит: Хавраль коровій рог сорвал, а среди дня Бог бок ей пригрѣет... А на Спиридоны-повороты, в самый тот день ни прибавка дню, ни убавка, аккурат так, а завтра стало быть день на воробьиный шаг прибавится. На другой день и семейства Степаниды прибавилась. Родила дѣвочку.

Сноха так и залилась на свекровь. Да с тѣх пор все рычит словно скотина в первый выгон.

И сноха у Степаниды в ту же пору родила. Только что не в одной купели крестили. Бывает, в одной купели крестят двоих. Двѣ кумы стоят при купели, у кажной пуплёнок на руках.

А тут — открестили одного, снохинаго пупленка, через недѣлю крестили свекровьинаго пупленочка. Той крестинный обѣд тоже уже справили. Браги наварили, кисель ржаной развели, черепенники нарѣзали гречишные, вина припасли... А как пришлось справлять свекровьин обѣд — одни остатки на стол Степанидѣ поставили.

И хоша гостей позывали все то же, как слѣд:
— Милости просим к младенцу на хлѣб на соль — а уж проздравлять не будут свекровь. Так пить —

будут. А проздравлять с новорожденной не моги. Потому ненавистует сноха за младенца; за снохой — родной сын.

И свёкра младенцем стыдят. Сноха ему:

— Быть бы тебѣ уже пра́терга — из дѣдов вон, прадѣд, а ты рожаешь своих. Кому нужны!

А свёкор-то ей и свекры́ попались смирные, тишайшіе. А сноха — бойкія баба, на головѣ ходит.

Свекровь тужит, плачет. Стыдится пред снохой, сыном. Свекровь хоша не старая, а тоже дѣти скоренили. Замуж выходила — травочка была, и моложавенькія, а дѣти пошли каждый год почитай, скоренили, силу прибрали к себѣ. С того слабенькій пуплёночек родился послѣдній.

Да еще сноха сокрушала бабу как забрюхатѣла Степанида: поѣдом ѣла Степаниду сноха.

У крестьян как если свекровь родит еще — хоша бы и ладно друг с другом жили, а уж все камешек за сердцем лежит к свекрови от снох, жаланія нѣт николи к свекровьиному младенцу. От жадности все.

Одна так-то по этой причинѣ за вдовца не пошла, потому сыны женатые, снохи в дому, а она баба в соку, как ежели безпремѣнно родит — снохи да пасынки заѣдят.

— Осыпай золотом по колѣна и то не пошла бы,— она им.

А помер бы, и вовсе согнали бы, как если дѣвочку родила бы. „Чужая".

— Кто такая, чужая? Иди, игдѣ была, откуда пришла — мол.

Потому и есть в деревнях, которые под нее землю подписывают. Мужик вдовец под вторую

жену десятины четыре, а то и десять, подпишет когда. С землей сыновья не обидят. А только вперед надоть подписать землю-то.

А Степанида — и мать родная, а покуда брюхатая ходила тоже что̀ горя-то перетерпѣла от них, от родных!

Как забрюхатѣла Степанида, чует, душа лѣзет — хочется селедки поѣсть. А за двѣнадцать дён до Петрова дня. Грѣх-то какой! Почитай три мѣсяца перемогалась, брюхатая: то того, то другого хотца поѣсть, не в обыденную пишшію значит. А перемогалась. Потому прятала от снохи — что брюхата. А за двѣнадцать дён до Петрова дня снохѣ муж селедку привез. Потому тоже брюхата, душа лѣзет — хотца селедки поѣсть. А свекровь увидала. Душа лѣзет — тоже хотца селедки. Ажно плачет.

Сноха и помѣтила. Да с той поры — измываться давай над свекровью. Да сына супротив матери подбивать.

Свекровь-то пряталась, крылась-то с брюхом. Все ей сдавалось — подчеревиста, призѐмиста, брюха очень большая, сноха вовсе сгложет до время. Скажет: „Може их двое“.

А народ и стал говорить Степанидѣ:

— Что ты таишься, — скажет бывало женщина Степанидѣ. — Али ты от чужого! А на их взирать, и жисти рѣшиться.

Потому — старый, старый, а уж до гробовой доски от своей старухи не идет, сходятся. Друг другу никогда не напротивѣли. Это, бывает, какія святыя святуют. Ей надо мужа имѣть, а она так живет. Али кто смолоду плохо жил друг с дружкой, тѣ и смолоду не принимаются — муж жену имѣть, жена к мужу подвалиться. А кто смолоду в лю-

бови жили друг с дружкой — уж до гробовой доски от старухи своей не идет.

— Держися крѣпше камня. На их не взирай, — говорит Степанидѣ народ.

А сноха измываться взялась над свекровью. Кажись, другая продула бы мѣстечко да посадила бы. Потому душелюбная Степанида, на ней грубу́ не помнит. А только ента душегубная попалась — сноха. Охота ей чтобы гнулась свекровь, изводилась. Как есть ни в чем не возжелалась ей, не пожалѣла ее.

У крестьян с половины, с семнадцати недѣль, жалѣют бабу брюхатую. Первым дѣлом, отставят от хлѣба. Потому три пуда муки ставим в дижѣ. Потому брюхатая — мѣсить тяжело. А Степанида свою сноху и вовсе три года не пущала в хлѣбы. Пышки на сколотинѣ когда даст замѣсить. А хлѣбы мѣсить не давала. Душелюбная баба. Жалѣла. А сноха в понятіе вовсе не берет Степаниды. Душегубная баба. Хочет чтобы свекровь маялась с брюхом.

— Ты помоложе, — скажет народ, — тебѣ и мѣсить покуда таперича. А свекрови понѣжиться дай.

— А рожать — не нѣжится. А? Пущай не рожает, — ненавистует сноха.

А в рабочую пору нарочито посылает Степаниду снопы вязать али картошку копать. Потому хочет чтобы гнулась свекровь.

А как родила Степанида, да дочерь, сноха и залилась на свекровь:

— Ты дочери, а я буду сыну покупать. Во всем стану считаться. А коли что утаишь для дѣвчонки — изведу. Так и знай.

Так с тѣх пор свекровь в му́кѣ жила. С лица сступила. На отлетѣ в избѣ одна одинёшенька

сядет, подалѣ чтоб от снохи, и зальется слезьми. А дѣвочка у грудей плачет, ревет.

— Держися крѣпше камня, — говорит Степанидѣ народ.

А сами всѣ уже морят словами новорожденную:

— Померла б она, дал бы Бог.

Хоть помри она. Потому никому не нужна. Грѣх один через нее промежду семейством.

И сама Степанида дѣвку морит:

— Померла б, оглянулся бы Бог.

А сама плачет, слезы пазухой утирает.

— Зажгу свѣчку свѣтом вниз чтобы она околѣла, — грозит сноха, угрожает свекрови.

А топим по-черному. По-бѣлому топить — тепло в трубу все уходит. А тут весь дым в чело идет. Навалишь в печь дров, ужасти сколько, воз, да нагнешься к землѣ, и сидишь покуда топится. В дыму тепло, повадились сидѣть нагнувшись к землѣ. Так и у Степаниды в домѣ. Топится, дым кверху избы идет, а свекровь и сноха пригнувшись к землѣ. Та плачет, эта раскосматится да ругается. Обѣ младенцев качают. Двѣ колыски висят.

Дым сойдет, стѣны в избѣ черныя, черныя. И скобелем не отскоблить стѣны, когда к празднику, попестришь только, стѣны.

Пословица говорит: Который раскаялся, исправился. А сноха не раскаялась. С свекровью всё хуже да хуже. Чуть бывало на головѣ свекрови не ходит — бойкія, да злобистая. А Степанида, хоша и маленькій у нея, второй годочек пошел дѣвкѣ-то, опять во всю работу пошла. Заботится день и ночь о домѣ, семействѣ. Другіе, и бабы сколько хошь,

в пятачок сядут играть, в дурачки. От которой большая вереда через это бывает семьѣ. А Степанида заботится, ткет да прядет, никогда не сядет без дѣла. А сноха однова̀ похлебкой гляди глаза залила бы. Черпнула в ковш похлебки да в глаза свекрови плеснула. Отскочила Степанида, а то была бы без глаз.

Зимой дѣло было. Лѣтошній год. Опять стало быть святками. А уже Крещеніе подходило. На свѣчки надоть итти, сирѣчь в Сочельник. А примѣта есть на деревнѣ: если понависло, похмурно на небѣ, то к уродному урожаю Бог дѣло ведет. А замѣст того ярко свѣтило, да уж так-то морозно...

В обѣд на свѣчки ѣхать, ушатами таскать воду, потому это вода годовая. А с Крещенія только трехденная — вода, в теплынь поставишь — испортится; а та вода цѣльный год не испортится.

А сноха говорит свекрови:

— Давай мѣряться кому дома сидѣть, а кому на свѣчки ѣхать.

А свекровь говорит:

— Пошто мѣряться? Поѣзжай ты. А я с маленькой посижу. Потому зубки рѣжутся, плачет болѣзная.

А у снохи мальчик помер. Есть от кого отойти.

А она отговор свекрови дает:

— Ну, она стоит того дѣла, чтоб с ей сидѣть! Пущай, как хотит. Мнѣ не жалко. Пущай помирает. Что̀ цыплята, когда перья на головкѣ растут, что̀ дѣти, когда зубки рѣжутся — много не выносят, помирают с того.

А должно уже задумала грѣх. Потому во блиманіе ничего не берет, от припензии не отходит — свекровь чтоб услать, одной стало быть дома остаться с младенцем. Да корит свекровь, укоряет:

— Лѣтось не уродило. Може опять не родит. Свѣтит на небѣ, хмарой не заходит. А ты нарожала, растишь. А кому твои дѣти нужны. На ее пай нѣт ничего. А ты народила. Може и еще станешь рожать...

Да кричит, да руками все мечется, словно бить норовит.

— Уж ты возьмешься, да возьмешься — не укоротить тебя, — только и сказала ей Степанида.

А мужиков дома нѣт. И старик в Москвѣ нанялся, потому плохо хлѣб уродился.

Оставила Степанида младенца. На свѣчки поѣхала.

В деревнях всякій год разныя травы сбирают. Двадцать третьяго іюня Аграфена Купала. С этого дня начинают купаться. А на Ивана Купала сбирают траву — красные соски называется; от кашля — сбирают бѣлую высокую кашку; череда, желтая головочка — ею моют если осыпет; тож горлянку темную сушат да навѣсят пучками — оттапливают ее да пьют от глотки; подорожник — широкіе листья, тоже собирают; и мать-мачеху сушат, мачеха холодная, мать теплая, сверху таковая-ли ясная да зеленая, под испод бѣлая...

Покуда Степанида стояла на свѣчках, сноха ей опоила адом младенца.

Возворотилась Степанида — а младенец как котел синій лежит да чихает, чихает.

— У ей — чох.

Бабы в избу набрались, толкуют.

Потому, бывает, нападает чох на младенцев. Тоже чихает, чихает, никак не унять.

А сноха молчит, слова не прописнет. Только маненько поникла глазами, примѣтил народ. И ндравом поникла с той поры.

Потолковал народ опосля, как дѣвочку схоронили. Потому той же ночи померла дѣвочка Степаниды.

Поплакала Степанида по дѣвочкѣ, повыла, да сама же сноху пожалѣла. Так думается, ради родного сына пожалѣла. Чтоб семейства в развал не пошла.

— Твой грѣх, — сказала снохѣ. — Пущай нас разсудит Господь. А тут надо тебѣ в веселом видѣ быть как была. А то, пригорюнившись будешь ходить на народѣ, догадаются. „Али что какая несчастья через тебя?“ скажут. А ты мнѣ по сыну родному сноха. Для сына страму жалѣю. Никому не моги сказать, чужому. В себѣ носи грѣх. Убивайся. Покуда Бог простит...

А только все одно — развалилась семейства. Опосля стало вѣдомо. Видно, сноха Степаниды еще только на умѣ грѣх держала, а уж Бог ее разсудил...

Не от народа пошло. Каждый, и знал — а знатье держал про себя. Потому на деревнѣ никто не мѣшается. Боятся на деревнѣ, опасаются. „Пущай, как хотят. Дѣло не наше“.

А опричи того год был какой! — душегубный был год. Там убили, там зарѣзали... И по деревням много людей похитили, убили. На базар поѣдешь — об одном только толк: на истребленіе себя пошел народ. Словно корешков-заразих объѣлись.

А уж что дѣлалось по Москвѣ! Одни хитят, другіе, крадуны, ѣздіют, больших денег все ищут. Так и деревенских в Москвѣ много живут ради веселой и легкой жисти. Кто деньги наживает, на хозяйство шлет, в семью. А другой проживаться поѣхал. О семьѣ не рачит, пустяками в Москвѣ вередится. А Карасевы, и отец и сын, оба на должности были. Сын и кажный год жил в Москвѣ,

к зимѣ уѣзжал. Шесть годов у хозяина в шорниках жил. Сбрую чинил. Работал всегда пополам надвое. Сирѣчь, лёгко было ему. Бывало хозяйское бросит, свое шьет. Потому знакомство с ломовыми имѣл. Тот привезет — хомут починить, другой привезет. А хозяин не видит, не строг, не вникает. Его всѣ рабочіе любят: не взыскивает, вольно у него, хорошо.

— Нам ничего не нужно, мы всѣм довольны, — сказали рабочіе.

Потому кои другіе, гдѣ плоше живется да жалованья мала, приходили и к ентим, пытали стало быть: хорошо ли мол вам, нѣт ли обиды от хозяина.

А тут вдругорядь пришли.

— Довольны, не довольны, — мол, — а бросайте работу, а то устроим бойкот.

Рабочіе и стали толковать меж себя:

— Нам ничего не нужно, мы всѣм довольны, а они устроят бойкот, будут приходить — бить, так мы лучше уѣдем в деревню. Опосля чтò будет. А покуда — в деревню. Потому устроят бойкот — будут бить.

Тот — ѣду, тот говорит: „Ѣду". Всѣ, почитай.

А старик Степаниды тож говорит:

— Ты хорошій человѣк, а подумают — забастовщик, рѣзник. Еще смерть примешь. Потому ловить будут, кто душегубствует.

А старик Степаниды у того же хозяина в возницы нанялся. Пиво штоль развозил.

А тут испугался, зовет сына ѣхать домой.

А сын говорит:

— Ты о забастовщиках ничего не понимаешь. Нешь они, забастовщики, рѣжут! Рыба ищет гдѣ

глыбже, а забастовщики ищут чтобы жить стало рабочему человѣку легше да лучше, чтоб даром на хозяев не дѣлать, чтоб кровь нашу не пили хозяева, чтоб денег выручать поболѣ...

— Толкуй, — говорит старик. — А бойкот он зачѣм? Чай, нас — будут бить.

— Може и не будут, — говорит сын. — А о забастовщиках ты не понимаешь.

И другіе рабочіе стало быть не понимали о забастовщиках, потому побоялись — бить будут, всѣ побросали, уѣхали.

А допреж того шибко поругались с Карасевым — сыном.

Он им стало быть стал говрить. То да сё — закидывает, слова стало быть разныя говорит. Совсѣм запозорил:

Не надо Царя нам, — говорит.

— А нам без Царя развѣ можно! — отвѣчают рабочіе.

А он им опять стало быть стал слова говорить. То да сё — закидывает слова:

— Рай пойдет. Все будет наше. И почти не станем работать.

А они:

— Язык-то не овсом кормить: что хочет, то и смелет. Рѣчи льстят ушам, да только не нам.

— Вам, — говорит, не уѣзжать надоть, а сходить надоть к думщику. Думщик, направщик тут недалече живет. Кухарки к нему думать ходили как бастовали. И я к нему думать хожу.

— Ты и ходи. А нам не к чему. Потому человѣку без работы не жить.

Он им значит свое, а они тож свое. Так и поѣхали, поругались.

Одни Карасевы не уѣхали.

— Ты как хошь, а я домой не поѣду, — сказал сын отцу. — Я к товарищам пойду. А ты как хошь: хошь, домой поѣзжай, хошь, здѣсь оставайся. Потому хозяин за забастовку заплатит.

Да ушел. Потому он и допреж к товарищам хаживал. Шесть годов жил в Москвѣ. Знатью вел в Москвѣ. А може пошел к направщику, к думщику. А только с тѣх пор — только и видали его.

Старик опосля туда, сюда кинулся — сына искать.

А уж в Москвѣ-то что только и было! Страсти Господни! Настоящаго страженія нѣт. А валится народ, кто остановился либо мимо пошел. Одною женщину, большою шалью покрыта, к мужу ишла, тож зацѣпило, да Бог уберег...

Опосля пожары горѣли. А как сгорѣло, которые бѣдные — огарки к себѣ с пожара везли на салазках. А старик вовсюду сына искал: и средь живых, и в мертвецкой.

Думали, сам помрет с ударенія. Потому сын — как камень на дно. А и поминать за упокой невозможно. Потому грѣх великій — поминать, покуда вѣрно не знаешь: отдал ли Богу душу...

5.

— Кому Москва — мать. А кому и мачехой обернулась. Особливо лѣтошній год совсѣм зря пропадали кои наши — хрестьяне. Он, деревенскій, льстится на Москву, идет богачество наживать. Другой и нажил, а тут подошло — в один день и деньгам разор, и жисти конец.

А наш дядя Микифор Иваныч в эту же пору в Москвѣ от разума отошли. А лавочник были. Страсть богатые были.

Дядя Микифор Иваныч смолоду с земли жили да на весну из Москвы привозили... Слава тож о них была, что — колдун. Замѣст бабушки какой открикивать ходили по домам. И отчихивать случалось ходили. Как стало быть у маладенца проявится чох. Чох — он и на другого мужика нападет. А Крик только до семи годов нападает. Сверх семи лѣт не может нападать Крик. А только который кричит на крик, юзжит и юзжит, ни одна бабка не потрафит открикнуть. А позовут Микифора Иваныча — они безпремѣнно открикнут.

Тоже на рябинѣ зубы заговаривали Микифор Иваныч. Только потом никогда штоб не ѣсть больше рябинки.

Когда и святостью, иконой лѣчили.

Одна дѣвка на селѣ — самовар в избѣ ставила. А тут гроза подошла. Да вдарило, прямо в трубу самовара. Бог охранил, не занялось, ни что: в землю, сказывают, ушла, а только с перепугу дѣвка упала без чувствій. Да с тѣх пор стала бояться грому, всего. И никакого забаву не стало дѣвкѣ. Скучится, плачет. А пора отдавать замуж. А ее никто не берет: сумлѣваются. И к Преподобному водили ее, и на обѣщаніе шли... А только дядя Микифор Иваныч святостью, иконой излѣчили дѣвку...

А таперича сами забоялись Микифор Иваныч. Словно подшучѣно им кѣм.

Микифор Иваныч в Москвѣ капиталы большіе нажили. В номерах на должности жили, в швейцарах служили. Бывалоче хозяина и жильцов с каждым праздником проздравляли. Потому обходительны были. Бывалоче скажут:

— С широкой масленицей проздравляю вас, барин.

— С постом проздравляю вас, барин, — тож скажут.

Хозяин когда и цыкнет на Микифора Иваныча. Проздравлять мол полагацца только в Рождество и в Паску. А то, скажет, карман широк будет.

А квартиранты не обижались воопче. Тот даст, другой хоша не даст, а посмѣется с них, а третій опять значит даст, на чай стало быть. Микифор Иваныч стало быть сбирали да все в сундук убирали. С того апосля в свою лавочку сѣсть им пожелалось, в Москвѣ торговать.

Много им в ту пору всякаго добра нанесли. Потому всю Москву почитай знали Микифор Иваныч. Да земляков много у них. Несут на новое селеніе — кто курочку им, кто цыплака, кто хлѣба-соли несет...

Оно бы и сейчас сидѣли счастливо Микифор Иваныч. Лавка у них была — слава Богу. Бакалея, чай, сахар, баранки... опричи к красному товару приклад. И почет ото всѣх. Потому обходительны с покупателем, все одно как допреж с квартирантом. Торговаться кто станет, цѣною корить, Микифор Иваныч уважут, да скажут:

— Запрос не залѣзаніе в карман... Вот и поладили значит.

Али кто на вѣс обидится на Микифора Иваныча.

— Чугунная душа не берет барыша, — скажут Микифор Иваныч. — Я только насыпаю, а вѣс он провѣрен, стало быть, гири.

Тож дѣвушки с фабрики обожали Микифора Иваныча. Придут купить того да сего, покрасоваться стало быть, тесемочек, лент, Микифор Иваныч все покажут, все разберут.

— Я не благословляю обшить кружевами бурдовую басочку-с. Желтаго гарниру возьмите-с. Самая первая мода. Хорошо выйдет-с и граматики два ряда, бѣлые канты...

Кому и совѣт когда дадут:

— Он еще останется этим виноват, книжки расчетной нѣт. А ты человѣк слѣпой, темный. Так и скажи. А таперича на этот счет строго, — скажут жалѣючи, — потому хозяин одного уволил за вино, а без должности-то остался Антон, Микифор Иваныч с им земляки, да скумилися с им. — Подавай на хозяина к мировому, — научили. — На двадцать пять рубликов накажешь хозяина, потому расчетной книжки не имѣл.

А только Москва поднялась. Да со всѣх концов сразу. И что̀ только дѣется! Прямо конец свѣту пришел. Там некрута̀, слышь, лавку разбили, кате́лочки поѣли да колачи. В другом предмѣстіи стало быть кухарки да прочія женщины супротивничают. Требовают чтобы двух держать господам, которые стало быть одну только держат в прислугах. А которые ни одной держать не хотит — потому и господа бѣдные есть, жалованьишка мала у самих, а хлѣб дорог, никак и не возможно оправдать на прислугу по теперешним временам — тойм бойкот, стало быть — бить. Да ходили по Москвѣ-то, да из рук рвали корзины у прочих кухарок, которыя значит к ним не пристали, на мѣстах живут и живут. Из корзины все выберут, хлѣб раскидают на улицу, яйца побьют... А сами таково-ли галдят да кричат. Да ругани, да угрозам всѣх воопче отдают. Аж покудова с кишкой пожарных нагнали. Разлить, стало быть, чтоб бойкота не бы́ло.

А сто́ит того дѣла — сказать. И меж господ разные есть: у которых чижало, работно, особливо как ребят у кого много. Надоѣдят ребята-то. У других лёгко, почитай нечего дѣлать, сама себѣ живешь барыней, гдѣ барыня тож помогают. А только

и деревенскія набалованныя пошли, озорныя, все им не в честь; а работа — не в охоту. А как если сама разбогачилась, да сама прислугу принаняла — хуже и нѣт того мѣста. Одна, вишь, по горничным все живала да вышла замуж за мастера, да фатеру сняла, комнаты сдавать кому почище, да стала сама держать прислугу. Прислугѣ, извѣстно, дают. К празднику. А то и так собирает, от гостей. Кто гривенник в подарок даст, кто пятачок, кто и полтинник. Барыня, еще завсегда даже рады, как прислугѣ кто даст. „Ну что, дали тебѣ“? сама спросит бывалоче. А ента, деревенская, отнимала гостинец. „Подарки мнѣ надлежат, говорит, потому я тебя судержу и жалованье плачу“. Право-слово! Нешь барыня таким дѣлом пачкаться станет — отымать у прислуги гостинцы! А своя, которая сама такая же, крестьянка, ей нѣт стыда ни в чем. Одной барынѣ сказывала. Вѣрить не хотѣла. Да сказала:

— Вот это — гадость. И унижает самое. А вовсе не унижает то, когда прислуга в сточную яму помои должна выносить, или отхожее мѣсто вымыть. Она же и грязнит больше других, привычных к городу, аккуратных... Всякая работа нужна в жизни. И никакая работа не унижает человѣка. Прислуга, случается, и это дѣлает на мѣстах. А для прислуги другое, случается, дѣлают, тоже не гнушаются. Сколько их пьет, прислуги! — пьянствуют, потом от этого болѣют, рвет их, и прочее... Развѣ когда-нибудь доктора разбирают грязная над кѣм работа или чистая! Ничѣм не гнушаются около больных, всякую работу для больных дѣлают... Все что работа — это нужно, это не унижает никогда никого. Когда-нибудь, конечно, наемнаго труда больше не будет и очень бѣдных не будет, и всѣ

рѣшительно будут трудиться, а только и теперь никакой труд не унижает человѣка, унижают человѣка пороки да жадность...

А в Москвѣ пошло хуже да хуже. Около самого Микифора Иваныча уж такой ли скандал вышел! С того боку булочная, с другого тоже булочная. Они и пришли, забастовщики штоль. Как подошли к булочной, да ка-ак запустят каменьями! — так и посыпались стекла. Опосля в тою, с другого бока в булочную. Тож зуничтожили стекла. А сами побѣгли, кричат. Микифор Иваныч с того разу спужалися на-смерть.

А тут толк пошел в народѣ:

Идите под нашу вѣру, идите, — говорят народу.

Потому тут закидывать стали народ. На улицѣ прямо соберутся да и кричат в народ. Потому тут, говорят, слобода пошла. Студенцы, господа, тож барышни кои, барыни в шляпках.

— Идите под нашу вѣру, идите, — говорят, — под нашу руку идите.

Хаты, вишь, приспособили они для народа — бабья палата, женская и мущинская.

— Поим, кормим, — говорят, — под нашу вѣру идите...

Тут по-скорости деревенскіе потянулись за заставой на провинцію, сирѣчь в деревню. Да вдруг, вкручь, потому время на-коротке, разыгралась Москва. Потому тут на истребленіе пошел народ, на большой скандал. Машина не ходила, стояла. Пѣшаками пошли мужики. Артелями собрались, пошли. И наши мужики пошли вон из Москвы. Девять рублей проходили да сапоги сваляли в грязи, а машина стоит всего четыре с полтиной.

— У помѣщика нашего отнять землю, вот это хорошо, — говорят наши мужики значит. — У него земли много, а у нас недостача. А прочее что... убивать по Москвѣ... дѣло зрящее, никудышное, — говорят. — Пущай остаются, кто хочет. А мы в деревню уйдем. Эти уже для работы не годятся, пойдут в жулики, которые стало быть убивают. Уж который стрѣлял в человѣков али ножом полохнул, не встанет на работу, безработный он станет, исправленія от такого человѣка, бойся, не будет.

А Микифор Иваныч дожили, наглядѣлись в Москвѣ... Несли стало быть лаки, да все красные-красные, да широкіе, полотницами красные лаки несли, да высоко их несли, словно над мертвецом кровь рѣкой разлили... Потому тут мертвеца тож везли. А народ так и валит, так и валит. Народ по-низу валит, по улицѣ туча-тучей идет, а поверху народа красныя полотнища тянут, словно кровь над головами по над народом рѣкою несется, только ее и видать... Да мимо лавки Микифора Иваныча шли. Народ отовсюду бѣгит. Потому издаля еще идет шопот да топот. Кто бѣгит, и глядит. А другой убѣгает подалѣ, боится. И Микифор Иваныч выбѣгли на порог. Выбѣгли, да глянули... да как ахнут! Только вот сказываю должѣе. А тут же на порогѣ с разумом разстались: трясутся, ни вѣсть что кричат, с ума сшли.

Так без разума нынче в хатѣ, в деревнѣ живет. И сну ему нѣт. Лежит на печи, а на загнѣткѣ тѣсто доходит. Извѣстно, пшикает тѣсто. Когда, бывает, на всю избу пшикает тѣсто. Никто не боится. Малые ребята, и тѣ не боятся. А Микифор Иваныч боятся. Да закричат:

— Шапчи не шапчи — не боюся тебя.

Проснется кто из домашних. А они пуще кричат:

— Ишь, собрались пріѣзжимые. Тращают, гудят...

Вздуют в хатѣ огонь, да станут Микифору Иванычу говорить, станут крестить, станут под образа звать. А Микифор Иваныч боятся сойтить, с печи слѣзть боятся. А у самого рубаха трясется.

Аж до весны маялся. А тут средохрест, подошла стало быть средохрестная недѣля, пост пополам переломится значит, тут и Крест кладут на налой, на третьей недѣлѣ в воскресенье положат. Потом сымают его...

Домашніе всѣ ушли ко всенощной. А Микифор Иваныч одни на печи. А на загнѣткѣ дижа. В дижѣ значит — пшат, хлѣбушки всходят, свистят.

А Микифор Иваныч то все кричали:

— Что вы пшикаете?.. Тращай, не тращай не боюся я вас.

А самого уже отрух берет, боится, до смерти боится.

— Господи Іисусе Христе!..

Да сказать не сказал, только на умѣ подержал.

А сам — с печи. Через чело с задорги слѣз. Да как слѣз — на кочергу наступил. Да еще рубахой за крюк зацѣпил. А сам вот не своим уж голосом кричит:

— Караул! И бьют, и держат. Караул!

Сосѣди прибѣжали.

А на нем лица нѣт.

И кричит:

— Только не хитите. Скохряйте все — все зуничтожьте, только не хитите меня.

Думали — не доживет до утра. Потому биться стал, в корчах весь стал, как ослобонили рубаху...

6.

Нынче все кидают и кидают женòв своих и дѣтей. Вѣтрѣют мужики-то. А жоны спустя несчастіе с ноги нá ногу с малыми ребятами... майся без хлѣба с ними, стало быть.

Другія дѣвки только и держат в думáх: дай Бог замужку. А надоть молиться: Дай Бог долю-счастіе. А без доли-счастія замуж пойти — опосля кулаком утираться, потому кабалу на шею надѣть, под страсти пойти, под ужастью вѣк бабій жить.

А мнѣ на роду так написано — вѣк несчастливою быть. Судьба знать такая, от Бога. Потому я родилась с мертвецом. В избѣ мертвец на лавкѣ у нас под образами лежит, братец родной, а маменька моя в ту пору рожала меня. Судьба моя знать такая от Бога.

Да от себя може сталося. К старчику мать повела меня — спросить обо мнѣ. Жевлаков десяточек старчику понесла. А я почитай что невѣстой в ту пору была. Годов пятнадцать мнѣ было. И жених для меня на примѣтѣ имѣлся.

А старчик у нас в уѣздѣ в избушечкѣ жил. На краю лѣса жил. Молился, спасался, подаяніе принимал. Народ к нему за судьбою ходил.

— Путаешь ты ее, — сказал матери старчик. — Глаза, и тѣ на свѣт Божій прикрыла.

А потому сверхних одёж на мнѣ много одѣто. Да шалями мать укутала всю. Потому морозно. А до старчика не ближнее дѣло.

— Морозно, — мать старчику говорит.

— Мороз — он от Бога, а жисть завсегда от людей.

А маменька стало быть говорит:

— Мы из дворовых. Земли у нас нѣт. Опять же вдовáя я. Как если помру, одна одинёшенька на бѣлом свѣтѣ останется Орькя. Кто говорит: „Выдавай за жениха покуда жива. Жених — мастеровой, а ближній, она и свѣкует на знамом мѣстѣ, вблизѐ“. А кто совѣт дает погодить, пущай Орькя как прочія жить в люди уйдет, на свѣт Божій посмотрит, може вдалé ей судьба.

А старчик и говорит:

— Вблизе да в слезѣ. А то — вдале, да, бывает, в добрѣ.

Сирѣчь, не благословил старчик иттить за жениха.

Може и было бы как старчик приказывал. А только мать по-скорости померла, осталась я со своим дѣвичьим разумом. А жених стало быть пондравился мнѣ. Гармонист. Да на посулы хорошей жисти был ловок. Как года вышли мнѣ, в недѣлю его сродственники мою свадьбу свернули.

Родилась стало быть с мертвецом, и вѣнчалась я опять с мертвецом. Опять плохая примѣта. Мы к вѣнцу, а в церкви покойник стоит.

Слезьми отдуваюсь теперь. Чтò вблизѐ с им была, чтò вдалѐ стали жить — через его всегда я в слезѣ. Была дѣвка красивая да здоровая, лучину приставь — загорится... таков на щеках у меня румянец играл. Он предо мной цыплок был, жених, а меня извел, съѣл.

Потому нѣт хуже мастеровых. Вы думаете — он домой, как кончил работать. Он идет на гуляшки, пить с товарищами идет, как кончил работать. Теперь знать пять годов сравнялось постом как стал в Москвѣ жить. И я с ним в Москвѣ, потому податься мнѣ некуда, земли своей нѣт. Теперя пол-

времени работает на хозяина, двѣ цѣны получает, а жена не видит ни денег его, ни самого. Пьет с товарищами, да в карты играют, хлопчатныя карты покупают, двѣ колоды иногда на недѣлѣ истрепают карт-то. Вон куда деньги идут. А женѣ или дѣтям принес ли когда хоть колач! Не „На“, а „Дай“ все пристал, кажный из них пристал не с коротким к женѣ. Чтò и прибрала денег в укладку — все выманят от жены.

Пропьет рубля два, а женѣ двадцать копеек дает. А потом к женѣ идет:

— Дай мои деньги — выпить.

До тѣх ругает, покуда отдашь.

Потому не он один так-то дѣлают. Фабричный нонѣ по семидесяти рублей выгонит, а жена и дѣти все сидят без хлѣба. Аккурат поведеніе как у которых молодых ребят по фабрикам: только и знай такой — ходит гуляет, из пивной в пивную, потом баловаться идет, потом ходит порченный али безносый, когда и семейских всѣх перепортит. А денег на отца и матерь не подает, в деревню денег не шлет. А как если бѣда, работа перемежилась, нѣту работы и ступай — такой и в жулики-мазурики пойдет, грабить пойдет, еще отца с матерью ограбит, убьет, потому все стало слабо, все общеніе: прежде отцова взгляда боялся, а теперь, пріѣдет в деревню, в свой корень, горчайшіе пьяницы, и никого не стыдятся, и совѣсти своей не боится.

Один так-то женился обманом. В Москвѣ взял. Тоже деревенская, а дальняя. Бабочка хорошая вышла, двух мальчиков теперь в деревнѣ растит от него. В дѣвках на мѣстѣ жила, в Москвѣ, хорошо жила, тихо, благородно, нарядов себѣ много

пошила, деньжонки тож были, в кóзнѣ на процентѣ лежали. Жила б себѣ и жила, прожила бы и в дѣвках. А ему приглянулась, да и добра у ней много. Подбил ее за себя замуж итти. Такого ей насказал! — и дом-то кирпичный у них и единый он разъединый у родителев, и первые они богатеи в деревнѣ... Она, дура, повѣрила. „Я, говорит, в деревнѣ жить буду. Надоѣло служить“. А, повѣнчались, привез — избушечка, видит, только одна, да старенькая, а в той избушечкѣ отец с матерью старенькіе, да двѣ дѣвушки еще не выданы замуж. А добра только и есть: овца да корова; а лошадь продали, потому ничего отцу с матерью денег не слал. Потому в Москвѣ все в карты играл. Как увидала она избушечку да золовок, так и ударилась о землю... „Что же ты меня обманул! Говорил, дом кирпичный, сам — один-разъединый, да всякаго добра крестьянскаго много“. — А ты не пошла бы за меня, коли правду сказал бы. — Болѣ ничего не сказал ей.

Потом обошлось, потому перевѣнчаны. Как от пужала, не убѣжишь, потому — муж. Только не пожелала оставаться в деревнѣ. Опять в Москвѣ на мѣсто пошла. А тут дѣти пошли. Покуда одного мальчика родила держали на мѣстѣ. А тут еще ей родить. Он и отвез ее к отцу-матери. Гдѣ же ей теперь с двумя маленькими служить. А дѣло было святками. Жена у него значит на часах сходит, родить ей сейчас, а он ушел, в карты пошел играть с мужиками. Да живой рукой живую овцу и осьминник проиграл.

Так вот и скореняет он бабочку. Уж от него проку не жди. Бывалыча зальется слезьми, и скажет:

— На мужа надёжи нѣтъ. Хужѣет, теперя вовсе бросилъ в деревнѣ. Неужто ж и эти два сокола не прокормят!

Сирѣчь — двух сыновей растит. И меньшой зубастый уже. Баранку дадут — он матери сует в рот... А только тоже — как поведут себя опосля. Потому другіе и характером весь в отца, одна обротка: как на отцов глянуть, так на них. Гулять да в карты играть — первая забота теперь.

Один тоже, женатый, шибко пил. Да подписал — по охотѣ на Востокол идет; а потом жена и родители — в ноги начальству: так и так... ему галуны нà плечи ясные желательно имѣть, а к службѣ прилегать он не станет, в фляжкѣ у него водка, не вода, будет, сам убѣгнет, зашатается, пропадет, потому прилегает только к вину.

Одни тоже: на погорѣлое мѣсто пошли наживать. Потому пожар был на селѣ. Сруб сгорѣл дочиста. А он и нажил. На кабаки наживал. Она мýку принимала, дённо и нощно работала, а он зашатался, заигрался, свое проиграл да и женино все проиграл.

А лѣтошній год и сыны у хороших отцов пропадали. Один у матери и отца — четыре шутовки еще у них... дѣвочки, стало быть, а сыновей болѣ нѣт — да пошел не в нашу Рассею, под печать, вишь, пошел. Свѣт бѣлый надоѣл видно. Сам возгривец еще, четырнадцать лѣт парню, что же он еще на свѣтѣ есть? А сам костристый уже. „Не иди на забастовку, бунтовать“ говорят ему родители. — Нѣт, пойду. — Потому с этих пор отрошники они от Бога и отца, и матерь не почитают, не боятся. Другой отца, матерь схоронил, и никогда не помянет, поминанія нѣт у него. И добрых лю-

дей не стыдится. С этих пор не узнаешь что у них на рылѣ намазано, что содѣют они. А тѣ денег вишь дают им, кто у них под руками, кто их слухается стало быть.

Родители плачут:

— Кто это выдумывал, чорт-лѣшій — забастовку! Кто это затѣвает, какой это родимец ухитрился забастовку дѣлать, иттить на рѣзню!..

Потому хоша чтò и не так, а деревенскіе нешь понимают! Деревенскіе, к примѣру, кофе не пьют, а в пѣснѣ про кофе поют — что кофе пьют. Так и слухú у них, случается. В деревнѣ все говорили: забастовка — рѣзня.

Тож говорили: кто записался на забастовку, печать с ими бывает... печать тому каждому прикладывают, к грýди, с мясой. Помрет, все печать будет с им, на грýди. Сейчас стало быть узнаем: эти не нашескіе, печать с ими... А какіе крадучись опосля уѣдут в деревню, и тѣх похитя́т, убьют. Потому опосля лáвить их будут, а на их — печать, под печатью они...

А хозяин парнишки никакой ни страсти, ни ужасти не видал от рабочих. Сами себя вели, камбою не дѣлали, боялись как огня — забастовки-то. Никуда и не выходили из спален. Чужіе приходили остановить: „Не хочем, чтобы работали. Расколотим фабрику и с народом“. А они говорят: „Мы хочем работать“. Хозяин просто растет, доволен что не пошли к забастовщикам. Опосля награждал. По цѣлковому каждому дал. Да от работы ослобонил на весь день. „Ну, спасибо, ребята“, хозяин сказал, „теперя отдохните, повеселитесь, пляшите, сегодня работать не будем“. А парнишка ушел, нашел свою погибель.

То все — в кучу чего-то валили на улицах, стало быть, дерева валили, столбы, да напутают, напутают, чтоб ни пройти ни проѣхать. И его видѣли там. „Все одно работа“, кричит. „Плотют за это, деньги дают“. А тут бунт побросали, за грабеж взялись. Грабеж несусвѣтный пошел, особливо на станціи, гдѣ много товаров... Тут и желторотцы, тут и мужики, тута и из господ кои, слышим, тож кои — возгривцы еще... И парень опять же пошел, не отстал. Только от работы отстал. Да от родителев вовсе отстал. Опосля с которыми погибель нашел.

А родители, узнали, сказали:

— Что̀ искать пошел, то̀ и нашел.

А то еще один, женатый — в желторотцы попал. Думал слесарем быть. Ан, ума нужно поболѣ. Он тоды в кузнецы, потому только сила нужна. Да пить стал, не работать, да в желторотцы пошел. А от желторотцев выкупать надоть, слухи́ пришли на деревню. Жена остатное собрала — пошла выкупить мужика. Ужа́хнулась. Рубахи, и той не осталось на мужикѣ. Тут, и захоти получить себѣ исправленіе, — не в чем выходить на работу. Обрядила, домой привезла.

— Много их, таких-то, несчастненьких, в Москвѣ сбито в кучу. Оборваны, обхлёстаны. Чѣм только живы! Про́падом пропадать им. Потому от прочих вовсе отказались на деревнѣ родные. Да еще потому — что вином только живы... — сказывала, жалѣючи все одно.

Так и мой муж все одно. Завертѣлся.

Сколько же му́ки я с ним приняла, мать сыра земля! Сколько слез пролила! Сколько наглодилась с ребятенками!

А я тоже никакая расточиха, никакая развлачиха, цацы-бацы не разводила себѣ, николи не говорила: сошью себѣ да и буду тутай красоваться. Что̀ есть надѣну и в городѣ. А он и мое все туда же спеди́л, весь мой деревенскій наряд. Обмахренная косынка горевая была, больше шали — мать хоронила — и ту унес, за пятнадцать копеек пустил, и рубахи перетаскал. Что̀ сдѣлаешь с ним! Поплакала, поплакала, на том и съѣхала.

А тут, как пошли бастовки, и вовсе перестал прилегать к дому, к женѣ, к дѣтям. Цѣльныя ночи шляется незнамо гдѣ. А мы не ѣвши. А он отъявится домой да пьяный, никаких рѣчей не допытаешься от него. Да раз упился, ополоумѣл, кричит:

— Съѣм, съѣм, — кричит.

Душа трясется у нас. Тут присовѣтовали, пошли мы бабы, сами к не́хтору подходили:

— Так и так... Ваше благородіе, дойдем до комплета, всю бѣдность произойдем через их... Ваше высокоблагородіе! хоть бы деньжонки сколько-нибудь спасти от их, аспидов, иродов гундосых... Ваше превосходительство! на всѣх звѣрей стали похожи...

Не даром пословица говорит: гдѣ лад, тут и клад. Гдѣ сам не болтушечный — там нога на ногу полегоньку и к достатку рабочій идет. Потому кто не болтушечный — все вдоем думают, разговаривают муж и жена, тѣ и горя не мыкают, потому мужик прилегает к дому, к женѣ и к семьѣ, к работѣ тож прилегает. Так-то вообче и идет у них взаимно, любо глядѣть.

Квартира тож около нас. Тоже рабочій хоша, а масть не та. А она род как все одно жена ему, ввѣрился. Сколько годов с ней живет. Женщина

тоже хорошая. Да живут хорошо. Как все одно живут как на фабрикѣ на одной, слышим, американскій рабочій живет: придет с работы, помогает женѣ, перед крыльцом у себя подметает, наши сейчас прислугу наняли бы, барыней жить, а эти нѣт — деньгу берегут. Он тоже на митинги ходил. А только не как мой поведеніем.

Другіе хоть свое убережет. Стал получать болѣ прежняго рабочій — стал себя наряжать. Чисто стали ходить. Другой барин одѣт бѣднѣе. А этот — сейчас купил, сейчас снес в кабак, пропил. Опять голим-голёхонько круг него. Пальто купил. Да разыграл его на билеты — за пятнадцать рублей. Потому товарищи сѣли в карты играть, и ему значит надо в карты играть. А денег вольных не было у него, а в карты проиграть пальто ему жалко, потому еще дешевле пойдет, а заплочено пальто было двадцать. Один день пофорсил в новом пальтѣ. То же и с сапогами. Шагреневые сапоги сборчатые с набором, с калошами стоили двадцать, а продал за восемь.

А тот стало быть, знакомый рабочій, который с женой своей уж так-ли ладно живет, говорит завсегда:

— От работы, — говорит, — отбиваться рабочему человѣку не надоть. Как отобьешься, и не соберешь своих рук-то. Одна рука-то выучится в чужой карман залѣзать. Это хорошо тѣм у кого старинка, от прежних времен деньги остались какія — проживать без работы. И карты дѣло бы вовсе не наше — которые трудом, потом да кровью обливаясь, кормим себя и семью.

Потому словно господа — какіе пузатые — не оторвешь их от карт.

Он пострамил и мужа мово как увидал — бьет меня, пьяный.

— Бог знает, что такого! — тоже труженица, вмѣстѣ несет бремя труда и бѣдной жизни, и еще обижает жену.

Еще он сказал:

— Не по карману взлетаешь, гдѣ-то сядешь?

Потому кои и вовсе побросали работать: картами мол проживу.

А мой муж задурил еще горше:

— Не вѣк же работать, — стал говорить. — Господа не работают. А мы работай весь вѣк! Коли так, и я потрафлю прожить без работы.

А тот, умный, услыхал, да говорит дураку:

— Нонѣ и у господ дѣло к тому идет — чтобы работать. И сейчас есть господа, которые не поменѣ нашего работают. Учительки, грамотѣ учат, али дохтур... тож много на работѣ, не даром хлѣб ѣдят. А живут которые може бѣднѣй нашего. Потому теперя жалованьишка у них поменѣ нашего, у тѣх, которые много работают. А не пьют, в карты тож не играют. Наслышан я как живут господа, которые не хуже нас — работают. И дѣло к тому идет чтобы работали всѣ вообче... А ты хочешь прожить без работы! Высоко летишь, гдѣ-то спустишься?

И правду сказал. Мужик в городѣ, случается, по міру ходит покуда мѣсто найдет, с ручкой по городу ходит. И парень, случается, все одно. Сколько бы ни подал домой, а, ѣдет обратно на службу — ему на машину дадут да много-много рублевку, цѣлковый, на харч. Цѣлковый проѣст, а там у знакомых, у земляков ѣст, занимает, а занять негдѣ и мѣсто не вышло еще — идет с ручкой, за стыд

не каждый считает. А как бастовки да в моду вошли — стал который с ручкой стоять, которому словно не гоже оно. Пальто на ём хорошее, сапоги сборчатые, а то и штиблеты теперя стали носить, картуз хорошій, а на милостыньку вышел на улицу. А которые забаловались, и вообче стали с того жить. А нешь не слаще хлѣб он с работы, с трудов! И приравнять даже нельзя.

А ентот отработавшись — времени слободнаго стало много — тоже стал просить. Его товарищи и сказали мнѣ. Напросит, да с того в трактир на всю ночь. А баба сиди, источайся слезьми.

— Довольно с нас, говорю ему. — Жалованья почитай вдвое против прежняго. Довольно, кабы не пил. А ты словно бочка без дна. Кто в карты играет да пьет — тот и работай, и проси, и обманывай, никогда не хватит тебѣ. Подсчитай чего на одном винѣ продерживаешь кажный мѣсяц.

Потому вино ему что хлѣб. С угра хлѣб ѣст, с утра вино пьет. Уж его пустым чаем не пой, без вина.

А сам от работы стал убѣгать, далѣ — болѣ. Злой, когда надо работать, глаза вниз, вниз держит; а упьется — тогда опять гордый станет, да уж такой озорной станет. Да с товарищами опять либо в трактир пить идет, либо галдѣть он идет.

Платочки теперя баба дает мужику как срядился, уходит куда. Подашь платочек ему. А он в морду швырнет, если в норочках платочек, в дырочках. А гдѣ бабѣ взять хорошее что, коли пропивает да в карты играет. В морду даст, с тѣм и уйдет. И кажин раз рубля два выскочит зря. А я осталась, слезьми отдуваюсь с дѣтьми. Да гляну на всѣ четыре стороны — гдѣ мой муж? Нѣт мужа. Пужало, не муж...

7.

— Одичал народ: глядит на тебя как звѣрь — как, это, разыгралась Москва...

А лѣтось бывало идут улицей наши солдаты, много идет, может дивизія, и офицеры на лошадях впереди. Глядишь, сердце болит: таких красавцев бьют! И народ остановится, глядит на солдат, в глазах слезы видны. За вѣру стражались, а потеряли наш город; и морской флот наш теперь под водой... Как не плакать!..

Мой дядя, солдатом он был молодой, в ополченных ратниках служил. Станет разсказывать обо всѣх в старину, только слушаешь да рот разѣваешь. „Музыкальная команда вот их душа, поляков. И храбры, так и кидаются на огонь, чисто лев он — поляк... А евреи строя не любят. Евреи — портные. Потому ищут все которые из них, чтоб полегче им было“.

А тут дядя даже весь в разстройку вошел.

— Когда я был на войнѣ, мы били, — говорит. Сам ходит такой скучный, невеселый.

Так ждали теперича — из Москвы всѣх выгонят на войну. А тут слышим — в Петербургѣ уже богомольства была, что укротилась война. Виттих мол подписал приговор. Цари с собой разсуждают. Пока все телеграммы меж собой посылают. А народ не вѣрит этому слуху.

— Неправда, — говорят. — Врут все газеты. Онѣ раскрашенныя. Може и про Виттиха наврато.

На конкѣ ѣду раз, а рабочіе люди толкуют, земляники:

— Не будет мира. Чернь не позволяет мира.

— Мира не хочет народ. И Царь не хочет

мира. Это кто сорок тысяч измѣной нажил, тот хочет мира, чтоб концы в воду...

Так все и толкует народ.

Потому обидно народу через японцев. Уж так-то обидно! Обиду большую чувствует народ...

А только по-скорости видим — правда. Повсемѣстно богомольства пошла. Укротилась война...

Тут вот по-скорости одичал народ. Глядит на тебя как звѣрь.

У ворот стоишь — как дворник я — а которые мимо идут, звѣрь-звѣрем идут, гляди нож вколит в затылок, и не знамши кто какой человѣк.

А уж в Питерѣ забастовку дѣлали. Народу, народу что было! разсказывают. И пушкой не прошибить — сколько народу повалило на улицы.

— Жиды нас подкупили, — опять толкует народ.

А тут уж стало — ни работать, ни жить невозможно. Рѣчи пошли уж вон какія неправыя:

— Не надо Бога, Царя, священников...

— Кѣм же мы живы! — отвѣчает народ. — Без Царя никак нам нельзя. Всѣ в разнобой пойдут, разбредутся, не станет нашего народу...

А на улицах-то безчинство пошло. В гармонію играют да вовсюду горло дерут пьяными криками, да повсемѣстныя драки кругом. Вечером на улицу не кажись женщина или барышня какая. Не Москва стала, а словно деревня в загулящіе дни, когда перепьются на престольный праздник и почнется безобразіе. А унимать — не унимали спервоначала. Потому неприкосновенность была, нетрогиваемость, тревожить было нельзя. Опричи того — слобода дана.

А опосля и вовсе как есть одичали. Мимо идут, а сами звѣрь-звѣрем глядят на тебя. Ну, и глядишь за ним, за каждым. А только впору себя

углядѣть, а уж других не углядишь. Потому ты за ним смотришь, которые если лиходѣи они, жулиганы, а ён за тобой десять раз смотрит. Отлучился, двор пошли подметать, а они и сдѣлали что задумали.

Допреж так только набезобразит бывало который.

— Я хочу смести ентот дом — чтоб его не было, я и до Царя дойду... Телефон тутотка есть?

Пьяный мужик значит ломится в чужую дверь квартиры.

— Очумѣл ты? — скажешь ему. — Тут господа живут, а ты ломишься.

А он опять свое:

— Нынче — всѣ господа... Я хочу смести ентот дом — чтоб его не было.

Тож золоторотцы выползли из мурья на свѣт Божій, обрадовались.

— На водку давай.

— А теперь благодари.

Хитровец, значит, золоторотец деньги на водку получит, потом он же велит чтоб благодарили его, руку сует барышнѣ чтоб ему цѣловала барышня руку его. Право-слово! Ничего не стали бояться, никакого озорства своего.

Аж покудова усмирились маленько — и того хуже пошло. Одну квартиру обчистили, другую тож обокрали, да одѣл пальто квартиранта, очки его, да палку его в рукѣ несет, а в другой чемодан несет, всего наклал в чемодан, чисто обчистил квартиру, и идет как ни в чем не был, мимо меня и идет. А я его и видѣл как шел, а как вышел не признал, потому что все на нем другое, бариново, стало быть. А мнѣ опосля от хозяина покор: „Ты, может, с ними заодно“.

— Я не отвѣчальщик за всѣх,— говорю.— Шайками бѣгают, глядят на тебя как звѣри. Одичал народ. На свое истребленіе пошел.

А уж грабеж и разбой вездѣ. Не разберешь кто грабит, кто нѣт. Вся Москва поднялась. Взбѣсились люди. Так кучками и стоят эти самые шулиганы. Проходу никому не дадут. Ужасный разбой. Женщина одна за провизіем пошла в лавку, шаль стянули с головы. А жена рабочаго. Как есть никого не упустят. И с богатаго, и с бѣднаго тащат.

Наших ребят много тож завертѣлось, пропало.

Петрак, к примѣру. Он и когда-нибудь любил даром получить, а услужить в чем хоть и за деньги не его дѣло, квартиранту дров из сарая принести али ковры выбить. А тут вижу, как пошел скандал на Москву, да большой, гложет, вижу, и его лёгко нажиться, гложет — грабить, стало быть, хотца и ему грабить. Вижу. По глазам у коих видать это было, какая такая дума засѣла в них...

И прочій народ разбаловался.

Вышел я за ворота, извозчик стоит. А тут одна барыня нанимает его, везти на вокзал. И цѣну хорошую говорит. А извозчик...

— Жарко,— отвѣчает извозчик, сам скалит зубы.

Вот так так!

— Мать честнàя,— говорю,— хлѣб это твой,— говорю,— откажешь одному сѣдоку, откажешь другому, к вечеру что лопать станешь?

А он:

— Лопали мы с работы, и — будет. Таперича все это бросать.

— Да ты чай первый год выѣзжаешь. Не успѣл еще как слѣдует работать-то,— говорю.

Потому паренек лѣт тринадцати, не болѣе. Они только себѣ в паспортѣ года дают большіе, а то не позволят в извозчиках ѣздить. Кухарки года себѣ убавляют, а эти, как если малыш еще, годов себѣ надбавляют.

— Таперича...

Не дослушал, отозвали меня: кухарка одна на етем дворѣ, на нашем, уж так-то скандалит, буянит. Жисть хорошая ей. И жалованье большое, и лёгко в работѣ. Да тут же кормила мужа свово и сына, хозяйским кормила, потому оба без должности находились, а хозяева не вникают, слободно ей, утѣсненія никакого, а каждый день скандалит, буянит, на других глядючи.

А тут опять, вижу, идет по улицѣ мужичок. И другой с ним. Тому охота в пивную итти. А этот не пускает, удерживает — „Жена, говорит, дома ждет“.

— Жена, это маленькая вещь, подождет,— отвѣчает.

Истовый купец стал поведеніем, не мужик. Разбаловался народ.

А Петрак не дальше недѣли попался. Уж он не служил, ни что. Наладил с собою компанію, воровским рукомеслом занялся.

Он може уже не в первой, а только в других грѣхах не винился. Так — человѣк шел, в чуйкѣ. Выпивши. А во всем приличный, во всѣх отношеніях. Они на него — шасть! — Петрак и с компаніей.

— Стой! Руки вверх и ни с мѣста!

И давай его Петрак тарыкать, трясти. А компанія, да все мальчишки — парни — карманы его обшаривать.

— Да у меня, — говорит, — только табак, да и то — махорка. Вѣрьте живому человѣку. Берите, пожалуй.

Они в него — ножом.

А то раз, видал, барышня шла. А они напали, один кулаком в грудь барышню толкнул, да кричит:

— Теперича свобода, — кричит.

Лѣт двѣнадцать, не болѣе — шулигану-то.

Просто с младенческих лѣт никудышные стали. Да стали займоваться еще разбойничьим рукомеслом. Одного схватали, семь лѣт ему, прямо семи годов, а у него ножик...

— Ваше благородіе, и чѣм это все кончится? Неужто-ж наша Рассея на погибель пошла! — спросил я у одного квартиранта.

Потому мы и газеты читали. Кою газету читали — а там читать нечего; по цѣнѣ стало быть: двѣ копейки цѣна. Опосля опроверглась газетина. А квартиранты копейки за четыре покупали большую газету. Заохотился и я — почитать большую-то. А газетчик и говорит:

— Эту не бери. Вон ту бери, другую, есть что почитать.

Три копейки отдал. А только из газет ничего не поймешь.

Тут еще слышу — кричат:

— Юмористическій, сатиритическій листок.

Да уж не стал покупать.

Эх, кабы не нужда семейская, совсѣм бы домой собрался. Потому кругом озорничают. А у нас в Рязанской мужички тихо живут. Эта родная сторонка мнѣ мила-то. Теперь молоко кушаем. На дачах тут продают, бабы воды вливают, мукой под-

правляют, а в деревнях сами все молоко убираем. Хлѣба хоть мало уродилось, а пшена много зародило.

Хоть бѣдно живем, а деревня наша — хорошая: никаких у нас нѣт страсти-ужасти. Муж нешто с женой поругается, вот и страженіе, и забастовка. А кругом есть. Потому — чтобы забастовщикам не досталось, брать самим — вышло рѣшеніе мужиков. Потому слухи пускали — забастовщики мол придут, бойкот будут дѣлать, бить по фасону Москвы, да хлѣб у помѣщиков разберут, да у богатеев, а прочее пожгут, как если вы не желаете. Которые думают — это нарочно они, чтобы значит распалить жадность да алчность в крестьянах. А крестьянин говорит: „Все равно, не мы — так они возьмут. Так лучше пущай чтоб нам досталось“. А только это один разврат стало быть. Все одно что городской грабеж. Он може тоже сколько лѣт работал, грош по грошу копил, не доѣдал, не досыпал, все работал, все заботился, а они пришли, отобрали да на именинах той же ночи уперли — проѣли-пропили. Так нешто награбить сколько им нужно на разврат-то! И господа стали с ними займоваться грабежом. Право-слово. Кои студенцы образованные, може ума палаты им быть, а они тоже пошли в это дѣло. Тоже которые в газетах стало быть пишут. Трое попались с поличным. Другіе со школ прямо пошли, мальчишки, спутались, грабят. Всѣ пошли стало быть кто и вообче грабежом готов заниматься, не хотят работать. Тут и мальчишки, тут и парни восемнадцати лѣт, женихи уже. Тут и рабочіе попадались. Здоровое жалованье он имѣет теперя, в деревнѣ землю имѣет, а польстился, пошел. А только онѣ в прах

пройдут, деньги, не разживутся с воровских денег-то. Нѣт! Весну так кое-гдѣ переночуют они, а зимой в фатеру заберутся, их ловить будут. Тут коих поймали уже. Ночью ломятся: „Давай водки“. Потому один лавочник хомолком торговал водкой — кого знает, тому продавал. Они его всѣ сообча ограбили, а тут и душу похитили, человѣка стрѣляли, опосля и друг дружку надули: грабили сообча, а деньги друг от дружки утаили. Тож раз попались два слесаря. И тоже не по нуждѣ грабить ходили. Оба на мѣстах. А идучи на работу, а може с работы идучи — гдѣ высмотрѣли да разузнали, грабить пошли.

А то еще которые — одну богатую барышню пришли настращали. Она им деньги согласна отдать. Отдала. А они взяли, и говорят:

— Мы больших денег ищем. Пойдем дальше.

Значит, в сундуки ейные.

И там все забрали. Опосля полтора рубля еще у кухарки забрали. Больших денег ищут, а сами льстятся на голодническій грош...

А потом большой скандал произошел.

— Москва, как была болото, — так в болото ее обратим.

Они это грозятся. На истребленіе, стало быть, всѣх отдать — грозятся.

— Это митинги виноваты, — толкует народ, который сам от этого убѣгает, боится.

Бояться стали на улицу выходить.

— Я, напримѣр, мужчина. Так я итти боюсь, втроем, вчетвером иду, — говорили наши крестьяне.

Потому тут казаков нагнали, Мищѐнко сорок вагонов казаков привез. А они — колкіе, без разбору колят, казаки-то.

Да народ друг в дружку стрѣляет. Всѣ улицы заградили, не пущают народ, сами из под угла стрѣляют. Десять тысяч, вишь, записалось, которым охота стрѣлять, а вышло, надоть полагать, сотни три. А только и этих довольно, чтобы нагнать ужасти, страсти.

— В дома разсыпаться, в чужія квартиры, — велят ихніе нàбольшіе, начальники, стало быть.

Стало быть, им бойкот, пущай и всѣм будет бойкот. Потому тут уж не разбирали, кто стрѣляет, кто нѣт, по всему дому валили из пушки.

Аккурат как в деревнях это случается, когда мужики примутся убивать воров. Кто и не хочет, а принуждают друг дружку мужики — бить их.

— Я виноват, а ты станешь не виноват! Бей! А бить не станешь, тебя будем бить.

— Жестокости-то сколько! — говорит барышня, квартирантка...

А другая барышня одна бумажку проглотила, право-слово. Обыск был, искала полиція бонб нѣт ли у ей, я в понятых на обыскѣ был. А она взяла проглотила. Посинѣла с лица. Помрет, думаю, бумага-то не хлѣб. Пошел в кухню, воды принес в ковшѣ, дал ей воды, сам говорю:

— Выпейте воды, барышня, оно и пройдет.

Выпила.

Тож убійства тут страшныя вышли. Взбѣсились всѣ, разгулялись на крови, не разберешь кто убивает, кого убивают. Сейчас быдто чужого убил, а там, глядишь, уже своего же убили...

Тож чтò говорят — не разберешь. Один одно кричит, другой другое кричит, а народ кругом слухает. В одном мѣстѣ кричит, оратором зовут:

— Русскій человѣк без усилій работал. Ну, ему мало платили.

А другой кричит:

— Русскій и поляк берет пятнадцать, а еврей двадцать, потому он все кричит, ну, и дают.

Один кричит:

— Нам заграничные народы не устав.

Другой опять же кричит:

— Слободу нам не дали, слободу мы взяли.

А тут опять по-иному:

— Студенцы — такіе, сякіе... — орут.

Студёно на душѣ станет, хуже мороза — за душу дерет. Словно лѣс дремучій кругом. И никто не знает настоящей дороги... А тѣм время только истреблять себя знают...

А как с фабрик раз шли, туча-тучей шли, стѣна стѣной. Столько народу и на базарѣ не увидишь. Може тысяч десять. Ну, думаю, что только и будет! А я на почту ходил. Да бѣгу скорѣе домой. А на встрѣчу мнѣ идут барин с барыней. А тут, слышу, так человѣк, в кафтанѣ, може мѣщанин какой, и говорит барину:

— Вернитесь. Там неладно, не идите туда, десять тысяч идут.

— Спасибо, — говорит барин.

— За что „спасибо"! Потому я вижу — с дамой.

А тут и всѣ вообче, услыхали, как бросятся! — бѣжать, убѣгать...

Тут и не перечтешь всего что было в Москвѣ. Стрѣляли, рѣзали, душили, кололи, по-скорости бонбы бросали в людей. Кому руку, кому ноги оторвет, кого в куски, и — нѣт людей... Бонб этих так, как гороху всюду набросали, разсовали, попрятали. Двое рабочих без рук остались — потому

старый лом желѣза разбирали для хозяина, а там тоже попадись эта самая бомба. Всѣ четыре руки оторвало... Да рѣзать всѣх стали ровно ягнят. Заберутся в квартиру для грабежу да, скольких людей в квартирѣ найдут, разложат по комнатам каждаго особо да свяжут, да опосля рѣжут человѣков словно ягненков. И мущинов, и женщин, и малых дѣтей. Ужасти, страсти Господни! Тут уж и стали их таранить. „На разстрѣл — один минт", говорят, „а може другим устрашеніе даст, кто тоже готов есть как звѣрь прилегать к истребленію живых душ, — ..."

Таперича что народу в землѣ безо времени — только мать сыра земля вѣдает!..

— Сколько жестокости! — сказала барышня квартирантка.

Нѣт, нехорошо стало в Рассеи, дурно, нехорошо. Словно людей округ тебя не осталось, а одно звѣрье лютое...

Замѣтки русскаго свободнаго гражданина.

О несуразном и скучном.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Едва поѣзд подполз к лону природы, едва гражданин выпрыгнул из вагона, уже оглушила его экономическая агитація, кругом него крик поднялся — как лай собак: „Гау-гау...“ пока разберешь, что мечущіеся в ажитаціи мужики в армяках хотят того же чего извозчики в городѣ со своими пугливыми лошаденками, дѣлающіе предложеніе: „Съѣздили бы барин“. И как там — подороже содрать. Дачники лѣнивы, и они ѣздят как горожане. А я не дачник. Не промѣняю путешествіе на своих на двоих. Я прохожу не спѣша, посматриваю, присматриваюсь, наблюдаю, обдумываю, разныя мысли рождаются, даже образы.

Неумѣло живут на дачах. Начать с того, что дачницы не любят солнца. Поэтому онѣ лѣтом сыро-сентиментальны, а характером все так же безмѣрно претенціозны и мелочны. От солнца прятаться можно гдѣ его много и сильное оно, жгучее,

а не здѣсь, гдѣ только двѣ недѣли солнца и то иной год все время слабаго. А что̀ это за чудная дезинфекція — солнце — не только для жилищ, но и для самого человѣка, для бреннаго тѣла и для вѣчной души! Но дачники и на дачах только откармливаются и жирѣют. Жаль их.

Да, зачѣм они всѣ прячутся от солнца, даже жилища свои прячут от солнца? Нелѣпое подражаніе Югу. Но развѣ это то солнце? И долго ли приходится загорать от него дѣвицам и дамам!

Итак — ужасно, по-моему: каждая дача скрыта от солнца и свѣта. Затемнена тремя рядами дрянных кустов да еще плюгавенькими деревьями, и подобна сумрачной кротовинѣ. А кругом вороны горловым криком вопят: „Ма-а, ма-а...“ Мертвечина!

На террасах, даже на землѣ возлѣ разставлены растенія в горшках привезенныя с зимней городской квартиры. Но это какое-то обезьяничаніе, не болѣе. Не любовь это к цвѣтам. Все это тоже лишено возможности пользоваться лѣтом как слѣдует — тоже припрятано подальше от солнца, тоже в сырой мрак, именуемый тѣнью. И никто почти не разводит цвѣтов своими руками. Лѣнь. Не влечет к этому ни дам ни дѣвиц. Жаль. Насаждая цвѣты онѣ могли бы насадить вкус к этим цвѣтам, кто знает, облагородить ими и окружающих грубых людей и тѣ некрасивыя компаніи которыя пріѣзжают из города не для общенія с солнцем, природой, а чтобы продолжать городскія безобразія, и оставляют дачникам цвѣты по своему вкусу. В родѣ этих: историческая дача, любимое мѣсто прогулок дачников, а всѣ стѣны пустых помѣщеній этого полудворца осквернены снаружи порнографическими рисунками и порнографическими запи-

сями. Грязь мысли, грязь языка и грязь рук, несут с собой всюду грязь, и в храм понесли бы, если бы ничто не угрожало, и небо к ним наклони... они и на небѣ намазали бы все ту же грязь своей мысли, своего языка, своего чувства. И это никого не смущает и не возмущает. Даже не огорчает. Святое безразличіе одних ко всему, что не политика, не агитація за ту или другую внѣшнюю форму, в других ко всему что̀ не деньги или агитація для привлеченія денег в свой широкій карман. Та́к в городѣ, так и на дачѣ.

Кромѣ разведенной сырости — шаблонной дачной тѣни, на каждой дачѣ увидишь еще шаблон: дешевый сѣрый гамак, иногда с нѣмецкими украшеніями, т.-е. с нависшей длинной бахромой. Один конец гамака прикрѣплен к кусту тощей сирени, другой прикручен к хилой березѣ. А в гамакѣ либо он, либо она. Но чаще он. С котом на животѣ лежит челнообразно, и — непремѣнно с газетой в руках. Это не нѣга — в гамакѣ цѣлый день лежать и однообразно покачиваться. Это только лѣнь и скука, замѣна непосредственнаго наслажденія испытуемаго когда валяешься в травѣ сверху одѣтый голубым балдахином и облитый невидимым потоком лучей или на травѣ же в чащѣ лѣса, со всѣх сторон оберегаемый от зноя этой дивной несмѣтной зеленой ратью. А с гамака в одну сторону уперся глазами в забор; в другую — снова в забор уперся или в сосѣдей не многим болѣе интересных. Непосредственное и естественное замѣнилось и тут чѣм-то... резонерским. Жаль их — за это их неумѣніе пользоваться движеніем и природой, этим богом, который и тѣлу и духу, и чувству и мысли щедро дарит часть своей божественной силы.

Но не потому ли и это неумѣніе, что и вообще не умѣют они пользоваться жизнью. Начать с того, что много их женятся неумѣло, скучно. Резонерство и слова с золотой зари замѣняют у них все, и всѣ проявленія жизни, и уже в обращеніи друг с другом барышень и юных мужчин часто кроется залог ссор, дрязг, утомленія от слов, утомленія от холодной любви начиненной словами, окончательнаго охлажденія — до нуля, начала новаго резонерствованія, новой ткани фраз с другим и с другой.

И как лежа в гамакѣ меж двумя заборами истинной красоты природы не увидишь — и душа так и не узнает непосредственных чувств, и, увы, особи многих поколѣній теперь олицетворяют друг перед другом только эти заборы...

Барышни у нас груш не чистят, виноград не обмывают. Кусают в запыленной грушѣ взятой с лотка. И в театрѣ в цѣлом яблокѣ угрызают — пренепріятно смотрѣть; точно мужик или баба свои подсолнухи грубо шелушит зубами. Уж лучше бы ѣли одни апельсины. Апельсины ѣсть без чистки неловко. А иная дѣвица даже постарается элегантно снять с него корку, если увидала другую женщину за этой чисткой. Переимчивы, случается, но врожденное изящество рѣдко.

И любят онѣ как-то подражательно, случается, как облюбованная ими группа людей: отвлеченно, книжно, цѣлой теоріей. Эти ораторов-либералов, тѣ — лекторов или профессоров, а эти писателей. Как мужчины: тѣ цыганок, эти крестьянок, а эти еще публичных. И впослѣдствіи только увеличивается штат ненавидящих жизнь, потому что от истинной жизни прятались в гамак.

Мужики черезчур много говорят о деньгах. В го-

родѣ ли, в деревнѣ ли итти мимо бесѣдующих — неминуемо осаждаются в уши чаще всего употребляемыя мужиками слова: рублей, рубля, рублев, цалковый, цѣлковых.

Но и Зинам, и Олям, и Машам... матери по секрету говорят черезчур много о деньгах:

— Выходи за учителя. Теперь учителем быть выгодно, жоны у них буржуазки, а врачи напримѣр — пролетарій...

А Зины, Оли и Маши... практичны нынѣ еще болѣе матерей. Онѣ и сами судьбу свою переводят на деньги и стремленія матерей развивают дальше, мечтают о том что еще болѣе выгодно по нынѣшним временам, о бракѣ с профессором, с дѣятелем печати, политики.

Онѣ все переводят на деньги, даже уже свои будущія заботы в гнѣздѣ. На конгрессѣ женщин первая рѣчь зашла об этом. А такія дѣвушки всегда хватаются за готовыя фразы, провѣрять головой не умѣют. А в послѣднем случаѣ, о женском трудѣ на свою собственную семью, надо бы сердцем провѣрить да, пожалуй, женской гордостью. Но видно по натурам пришлось. Потому что — пошло. Одни расчеты с мужьями пошли. Как у крестьянок бывает в иных грубых случаях: если мужик ищет отдѣлаться от женщины, находятся такія которыя требуют чтобы за прожитые вмѣстѣ годы их разсчитали как работниц. А тут эти расчеты вводятся на зарѣ, в весну человѣка, когда они еще только сближаются, только еще освящают свое семейное гнѣздо... И что же в самом дѣлѣ — быть женщинам только паразитами, узаконенными содержанками, праздноручками, раз онѣ вышли замуж! В таком случаѣ, пожалуй, не надо, скажут, брать их

не станут. Мужчина кормит семью, а она и за уход за своими дѣтьми готова чтобы ей платил муж. Любовь безслѣдно изгоняется, убивается не нарожденная. И таким лучше всего оставаться одинокими. Или выучиться любить, выучиться не только всю свою жизнь брать — сперва онъ родителей, затѣм от мужа — а и давать что-нибудь, любящую заботу о мужѣ, о гнѣздѣ. Да, жаль что дѣвушки, и так уже головныя и казенныя, еще высушиваются теоріями, бездушным резонерством. В большинствѣ, это—требовательная, эгоистическая толпа. Свѣтлое счастіе потому так и рѣдко. Впрочем и мужчин таких предостаточно.

Бобров свою будущую жену встрѣтил вот как: двадцать шесть пакетов и одна носильщица этих пакетов — мамаша. А она в вагон ничего не несла. Ибо у ней великолѣпный туалет, великолѣпное здоровье и водянисто-голубенькие глаза, которыми она в это время как раз великолѣпно флиртовала с только что представленным ей кавалером. В сущности оба они и тогда были только самец и самка, противно здоровые, отвратительно сытые, он в студенческой формѣ, но уже обѣщал — всю жизнь будет много ѣсть, потому что будет богатый, и как богатые готовы жевать цѣлый день, будет и он готов жевать цѣлые дни да политическія фразы произносить как сейчас, и навѣрное только это и будет культивировать искренно: односторонняя политическія фразы для других, сытость для себя. Внѣшній драматизм, внутренній индиферентизм. Вѣдь всѣ этого типа — им лишь бы всплыть на поверхность, вот к чему стремятся они. Всплывут, будут плуты, будут удавы: все себѣ даст, народу же ничего не отдаст. Такой еще учится, а уже теплое мѣстечко для себя присмотрѣл.

— Кто на тебя обращеніе будет внимать, — тяжело острит он товарищу, тоже студенту, как только барышня зазѣвала от его односторонняго разговора. Это — студент закала, может казаться. В гуттаперчевой тальмѣ — накидкѣ, красный мѣшок для экскурсій, безобразный зонт, толстый, неуклюже сложенный как зонт у деревенскаго мужика. Но я подмѣтил: чтобы казаться выше, он стоял на носках, а когда шел — подпрыгивал, потому что шел опять же на носках, чтобы казаться выше. Тоже нехорош ни так, ни духовно, несмотря на свой наружный „закал", т.-е. просто на просто безобразный костюм. Красавец вѣдь никогда собой не занимается — ни портит, ни украшает себя. Дар Божій получил в лицѣ себя живого человѣка и этот дар лелѣет только тѣм что не извращает его внѣшними поправками. Но бывают и люди-декорація. Это навѣрное тоже бездарность как человѣк: поэтому тоже со стремленіем непремѣнно украсить себя или своих.

Бобровы мед ѣли не долго. Не потому что „не сошлись характером", а потому что слишком сошлись характером. Чистокровные эгоисты и он и она. И не смягчили взаимно дикія грубыя свойства, а удвоили и утроили их друг у друга. Единодушно любят только гамак и дачную тѣнь и лѣнь.

А Гущев попал на иное, тоже не лучшее. „Психопатка-куропатка", дразнили ее свои и чужіе братишки, маленькая орава маленьких гимназистов. Потому что она была и не добрая, и раздражительная, вся раздраженная долго безрезультатным вылавливаніем жениха, как угрей — сказал кто-то. Жалкія созданія! Иной, кажется, довольно было взгляд один подарить и сердце его уже пламенѣло

любовью — того, кого выбрало себѣ притягательное женское сердце. А эти, которыя слишком на многих глядят, прозрачными глазами смотрят на каждаго, на самаго обаятельнаго, или же не могут смотрѣть прямо в глаза мужчинѣ, ни одному. А и то, и другое ужасно противно.

Их и сейчас легіон. Эти вот, хотя бы. Сзади идет офицер. Со своей смѣшной дѣвической сантиментальностью держат друг друга за талію и финтят для него, даже скучно смотрѣть. Так и хочется пропѣть им: не трудись, не лови... его сердце не ждет твоей любви. Его сердце, в самом дѣлѣ, не ждало, уже занято сердце, на поворотѣ исчез в чьей-то дачѣ, барышни обернулись — „увы, нѣт его больше". Но есть другіе прохожіе. А пока они есть, онѣ не перестанут финтить.

„Посторонним лицам ходить по желѣзнодорожному пути воспрещается". А онѣ постоянно на путях. Для чего, казалось бы? Да все для того же: мозолить глаза, быть замѣченными.

Между ними не мало пошиба „гражданскаго". Кажется, смѣшно сочетаніе гражданки с кокеткой. А вот, подите же, природа сильнѣе. Она с братом, гимназистом с видными баками. Наставила некрасивые глазки, флертует неуклюже направо, налѣво. Флертуют и эти двѣ сестры: одна — кормилка сложеніем; другая всѣм своим видом — младая макбетовская вѣдьма. Флертуют уже и подростки, худощепыя дѣвочки с большими ногами. И все это никуда не годится. Мужчины плохи, и поэтому и женскій пол плох.

— Какая солидная! — точно дама, — шепчут подростки, оглядывая невѣсту с тѣлом мамки, тут же копируя ея манеру держаться. Впрочем, онѣ огля-

дывают и всѣх прочих невѣст, взрослых дѣвиц, и как уродливыя обезьянки копируют с каждой позу, ужимки и прочій дѣвическій матеріал.

И как онѣ надоѣдливы эти барышнятки, и крупныя, и мелочь, как онѣ наянливы иногда, и неприятно, и грустно смотрѣть на них; стрѣляют очесáми как завзятые стрѣлки. И будь поблизости один единый мужчина, онѣ все так же будь он и не молод и семейный разстрѣляют в него свой холостой заряд. Больныя онѣ. Больными растут, больными вырастают, еще назойливѣе и сознательнѣе флиртуют. Осы — тѣ этику знают: оса налетит, по рукѣ проползет... не трогай ее — кусать не станет. А онѣ вѣдь, такія, кусают. Так ли или быть может по причинѣ ликвидаціи какого-нибудь романа, лимфатическія „покинутыя Дидоны" наполняют своим лимфатическим воплем собранія мужчин себѣ на умѣ и равнодушных но расчетливых женщин и много фельетонных столбцов ежедневников и ежемѣсячников. Но я себѣ говорил читая: нищенствующія в любви впослѣдствіи нищенствуют в жалости, т.-е. в любви для себя опять же только клочковатой. „Согрѣшившим дѣвушкам" „не прощается". Слишком, по-моему, неумѣстно так выражаться. Либо говорить, что к ним „имѣют презрѣніе". И трагично и сентиментально. Мнѣ думается, просто обходят, минуют, так как предполагается — она случайно сошлась, быть может, легкомысліе играло главную роль или еще что чуждое страсти и любви; а быть может думается и так: дѣвушки-пройдохи, дѣвушки-фаты, поэтому не подорожилось ими как не дорожится и подобными мужчинами. Словом, мнѣ кажется, равнодушен кто равнодушен (как и в отношеніи

к какой-нибудь другой женщинѣ); а кто полюбил, как поступит — зависит всегда от того любит ли истинною любовью или только слегка любит.

В дачное время эта ерунда доходит до того, что и маленькія имѣют своих маленьких кавалеров, лимфатическія сопливицы ходят под ручку с соплями, или это мальчики ходят за ними слѣдом. И вот оно: у мужчин — разврат, у этих флирт. Даже семи-восьмилѣтнія дѣвочки чешутся в дамской комнатѣ станціи, лебезят перед зеркалом, оправляются, по дѣтскому возрасту своему забывая обыкновенно затворить дверь и этим обдуманно спрятаться от наблюденія.

С двух лѣт начинают их пріучать к вокзалу. Вот этим по два года всего, и матери, и няньки ведут их каждый день туда куда тянет их самих — на вокзал, в толпу, на показ. Ни в лѣс, ни в поле — на вокзал идут, сами тяжелыя па подъем женщины и дѣвушки, для которых природа не интересна, и прогулки привлекательны только тогда, когда носят характер пикников с гостями, с толпой, с обильной ѣдой. С книгой прочно усядется на платформѣ, а в книгѣ у каждой барышни расписаніе поѣздов. Тѣм и живут: встрѣчают и провожают поѣзда, т.-е. пассажиров. А там снимутся с мѣст и, ну, бродить по рельсам. По-моему это уже совсѣм из области неестественных выходок — это искательство сильных, но не жизненных ощущеній. Вѣдь безпрерывно поѣзда, и каждый день кого-нибудь давит. Но все, что ненормально, прививается ненормальным. На кровопролитныя драки глядѣть как чернь, на казнях присутствовать — как та сотрудница газет на Дальнем Востокѣ. И в сферѣ нравственности идет затменіе сознанія, одичаніе: „Бывшій студент

желает познакомиться с состоятельной дамой“ — газетная публикація. Фи, какое паденіе!

А зимой в городѣ — всѣ вечера внѣ дома проводят такія дѣвицы, потом жоны, матери. А народят дѣтей, опять их тянут за собой на вокзал. Неудивительно что нездорово воспитанные выходят нездоровыми людьми. И в свою очередь здоровых не воспитают. И так развинчиваются все больше, все больше. И накопляются в обществѣ выродженцы, так как остановить вырожденіе рѣшительно некому. Иные руководители общественных взглядов точно мо еще хлопочут о том, чтобы развинчивать молодежь, быть может, чтобы окончательно обезсилить страну, быть может, чтобы только дурно воспользоваться этой нездоровой „свободой“ дѣвиц, которыя сами же потом говорят по поводу экскурсій своих или подруг по зимам к знаменитостям всякаго рода: „По пяти их имѣет“ — платонически, понимай, только поклонниц, но все же, но все же. Одним словом, воробьи с ранней весны спѣшат: много раз им дѣтей выводить. А барышни спѣшат — много раз нелѣпо обжечься чтобы ряды психопаток, а то и вовсе несчастных, густѣли, густѣли. Одним словом, какая-то „свободолюбивая“ газета скорбѣла недавно, что будто учащіяся кѣм-то стѣснены на дачах, что их однѣх кто-то будто на вокзал не пускает. Оно бы, право, славу Богу. Да только этого нѣт. Как раз наоборот очень много. Эдукація дочек и внучек именно вокзал в лѣтній сезон. Постоянно видишь их на вокзалах. И однѣх видишь, и с юнцами, которые как онѣ взрослую дѣву либо даму — копируют взрослых мужчин, иногда мужчин жеманов, которыми и всѣ эти Мани, Оли... захлебываются.

В средѣ вокзальной публики все что угодно. Отвратительныя старушки, намазанныя бѣлым, в нарядах и кружевах с своими сыновьями и мужьями, все почтенными мужчинами глубокомысленнаго вида высших преподавателей или составителей статей и пр., пр. Много молодых субъектов, выряженных по-дачному. И множество дѣвиц всякаго возраста.

Вот эти, напримѣр, на которых я смотрю сейчас. Онѣ со студентом. „Хи-хи“. Секундой позже опять: „Хи-хи“. И так без конца. Их трое. Он один. Перекидываются послѣдним вздором, и молодой человѣк сам с ними превратился в глупенькую дѣвицу.

А вот одинокая дама, она пальцы сгибать от колец не может и тоже спѣшит на вокзал к каждому поѣзду. С ней дочерь — подросток. Это их единая прогулка на дачѣ. Изо дня в день, изо дня в день. Но и без матери эта дѣвица-подросток все тут же. А кругом дачницы невозможно тяжеловѣсныя точно мѣшки набитыя салом без надежды потерять жир хотя бы с этой цѣлью и катались на велосипедѣ, и невозможные туалеты на них — розовые и голубые. Ходят как гусыни, боками направо, налѣво. Есть, впрочем, и одѣтыя в сѣрое, барышни. Не каждый сѣрый цвѣт тяжелый цвѣт, но то что надѣто на этих — сѣраго цвѣта, который тяжел для глаз. А подросток, дочь дамы со множеством колец, уже с подругами. Глаза их устремлены на юнца, а мои на них. Висит хвост от юбки, неаккуратно юбка надѣта, безпорядочно как гнѣздо воробья висит юбка на подросткѣ. Но и она впилась в юнца. Он на лампадку похож, т.-е., глядя на его длинную-длинную фигуру, встает почему-то пред глазами лампадка

с длинной, длинной цѣпочкой. А овал знаменитой знаменитости — его же нос картофелиной.

— Вы видите эту? Вы думаете, это барышня? Это не барышня, а дама; жена инженера. Своей фигурой она не стоит его, а уж про лицо и говорить нечего: он безподобный красавчик.

— Я знаю то мѣсто откуда вы.

— Его еще нѣт.

— А я кого захотѣла, того увидѣла. Его зовут Валя.

— И я его тонко, незамѣтно обругала.

— Ах!

— Ох!

— Хи, хи.

Это затараторили подростки. Для того длиннаго юнца, очевидно. Только обрывки доносятся да глупо искусственный тон с ужимками, заимствованный у взрослых и от них же заимствованные истерическіе возгласы, суетливые, крикливые, шумливые.

Вот такими пребудут и женами и матерями. Это ужасно!

И тут же клок воззрѣній одного из будущих мужей и отцов. Длинноволосый молодой человѣк, контролер, его только что по прибытіи поѣзда гадко обругал пьяный мужик и пригрозил кулаком. Но он очевидно философски относится к этому всеобщему зуду, прислушался на своей службѣ и к этим вѣчным грубостям, присмотрѣлся и к дракам. Теперь он как ни в чем не бывало прохаживался с барышней и в свою очередь громогласно ее развивал. Но, к счастію, кажется, безуспѣшно. Долетѣла его фраза шутливым тоном:

— Давайте, поведем un bout de разговор.

И затѣм:

— А жизнь знаете?

— Какая же вы передовая, если не читали „Бездну“!

И я вспомнил:

— Висѣльник! Розгой бы вас, разсказать мужу — с каким развратом, пакостями лѣзете к дѣвочкѣ, — сказала мать одной дѣвочки, услышавши, что юноша так точно, но с большими подробностями из „Бездны“ „просвѣщал“ ея маленькую дочь.

А юноша, котораго она выгнала вон из дома, ретируясь в злости закричал ей:

Вы сами развратные: вы родили одну, а через девять мѣсяцев другую родили.

— Преступленія и убійства кого возбуждают, а кого только удручают, и претят, омерзительны; а труд — один благословенен, — услышал я женскій голос.

И благословил женщину сказавшую это великое слово, нужное нам, русским, слово. Вот он чистый свѣт.

Но вот еще. Скучающая интеллигентная дѣвица, опершись на перила, приготовляется смотрѣть на новыя лица, на пассажиров поѣзда, который сейчас подойдет и сейчас же уйдет. И безстыдно двое мужчин на дѣвицу смотрят как удавы, а она будто не смотрит, но поворачивается под взляды. Нѣт того, чтобы изъять себя из поля зрѣнія этих дурных взглядов которые она видит, чувствует, очевидно, понимает, только спустит вниз очи, но лицо не уберет. А по путям спѣшит к прибытію поѣзда дѣвушка-фат, барышня-львица. Сахарный мопс контуром лица, а кожей как тающая во рту розовая конфета. Она неразлучно с маленькой сестрой. И, видно, выдрессировала — помогать ей во флиртѣ.

Восьми лѣт дѣвочка, а лицо старообразное, под глазами мѣшки, худощепая, быть может, с привычками. Ее цѣлуют кавалеры знакомые старшей. И онѣ обѣ позволяют это. А есть здоровыя семьи, в которых дѣтей пріучают не цѣловаться со всѣми, не то что разных „дядей" и „теть" — никого чужого не допустят цѣловать.

Есть тут же и в роли матерей:

Одна ѣхала на дачу, купила в вагонѣ яблок, сунула дѣтям, постоянно чтобы жевали, чтобы ее оставляли в покоѣ. Так вот и пріучаются вѣчно что-нибудь жевать. И грудному младенцу сунула яблоко: „Раз, два, три, четыре, пять, поѣзжай гулять", пропѣла она грудному. И было непріятно на нее смотрѣть.

А сейчас это молодая разодѣтая мать говорит своей дочери, прелестной крошечной дѣвочкѣ, со злостью втягивая ее на скамейку:

— Садись, и сиди. Дрянь!

И ей не стыдно что ее слышат кругом. Ей лѣнь подняться со скамейки не то что двигаться за ребенком, который, видно, живчик и порывается вскочить и побѣгать. А одѣта малютка как эскимос — окутана точно в какіе-то бѣлые пухи — в тюль.

И дѣвочку жалко. Напряженно слѣдит малютка за таким же крошечным мальчиком, котораго никто не тѣснит, не стѣсняет. У него лоб — поллица и выпуклый, а шагает по платформѣ как воробей. Сейчас его ротик разинут, глаза всѣм взглядом смотрят на молчаливый черно-надвигающійся локомотив, и он уже испуганно пятится, пятится... ищет защиты. А звуки привлекают его, вселяют довѣріе. Локомотив свистнул, и мальчик уже не боится паровоза, уже опять ротик разинул, но бла-

женно, и никого не нужно ему, опять сам себѣ довлѣет и в впечатлѣніях.

Вѣдь вот я посторонній ему, а с наслажденіем наблюдаю за переливами мысли и чувств в этой только начинающей формироваться дѣтской душѣ. А мать его не занята им. Должно быть, и никогда не занята им. Сейчас она занята — по-птичьи щебечет:

— Мы к мамашѣ заходим каждый вторник.

Это к матери-то — „заходим".

— Заходите.

— Зайду.

И вѣдь всѣ так выражаются. Это какой-то странный язык, формулка принятая русским человѣком, который в сущности страшно любит и гостей и ходить в гости и сидит в гостях радикально много часов под ряд. Неискренность языка, невинное лицемѣріе. Но так и в болѣе важном.

Еще — в большом ходу говорить: „Это ваше личное мнѣніе". Да и слава Богу что — личное. У нас так всѣ стадны, так всѣ безличны, обезличены быть может, что прямо удручает за родину, тѣм болѣе что этим отсутствіем *личнаго* мнѣнія у нас кажется еще и красуются. Оттого и нѣт теперь дарованій ни в печати, ни в литературѣ... хоть шаром покати.

А вот явились женщины и в роли жены. Тяжелыя супружескія пары, хотя молодыя. От мужчин несет скукой, той особой скукой распространеннаго типа русскаго интеллигента, который живет непосредственно только в кутежѣ, но живет тогда как четвероногій, а в остальное время все резонерствует, все оглядывается. Но и онѣ не умѣют ни любить вышедши замуж, ни быть ласковыми и нѣжными. Онѣ умѣют жантильничать с мужем

или дуться на мужа. Флиртовать пока дѣвушка, затѣм жантильничать либо дуться. И красивыя становятся нехороши, чувствуя в себѣ какое-то непреоборимое женское безсиліе.

— Юнкер! юнкер! Можно, кажется, отдать честь.

Но я прозѣвал сцену. Видѣл только конец — как юнкер, уже, должно быть, чтобы загладить разсѣянность, с какой-то воздушной барышней только проходившій вокзалом, — раза два нарочно теперь прошел по платформѣ с особым вниманіем пріостанавливаясь и отдавая старшему честь.

Я прозѣвал, потому что я размышлял о женщинах, дѣвушках: почему между ними и всегда было так мало блестящих и по дарованію. Но и работают онѣ как-то скучнѣе, мертвеннѣе чѣм мужчина. Даже желѣзнодорожные билеты, или расписки в абонаментѣ на газеты и т. п. выдают онѣ как-то канительно, медленно, медленнѣе мужчин.

Сумерки. Гдѣ-то чуются остатки солнечных лучей. Мы-то не видим их, но небо видит. Но и они спустились совсѣм далеко. Все кругом затянула ночь, полная тайн. На вышках огоньки заблистали. Это фонари должно быть зажгли. А вблизи сжатыя поля точно подернулись заморозом — побѣлѣли чего-то. А кругом плещутся своей верхушкой в ночном небѣ тѣ, которые вѣчно на воздухѣ, которые уюта не знают, у которых и в минуты ненастья, и в минуты смертельной опасности единая кровля все то же небо без защиты для них, над которыми и в этот час всеобщаго отдыха вѣтер производит свою безполезную работу, листьями вертит. Но сегодня деревья что-то пасмурны, опустившись что-то деревья, будто прибиты к землѣ. И на вокзалѣ не замѣтно веселья, шума.

Барышни опять на своих постах. Но кавалеры еще не в сборѣ. Быть может, и совсѣм их не будет весь вечер, не прибудут. По вечерам они порой исчезают с вокзальнаго горизонта. Потому что природой интересуясь не больше чѣм тѣ — они интересуются однако деревенскими сиренами, которыя и в дачных мѣстностях завелись. А кромѣ доморощенных встрѣтишь и пріѣзжих из города. Все больше на другой день, когда онѣ однѣ уже и спят по дачным оврагам, имѣя возлѣ себя слѣды ночного кутежа — вороха сальной бумаги и пустыя, из под водки и пива, бутылки. В эти ночи с вечерней зари барышни на вокзалѣ скучают однѣ. Вмѣсто кавалеров набѣгают собаки. И барышни от скуки наблюдают собак, слѣдят за расходившимися собаками.

А мнѣ вспоминаются — опять же житейскіе не желанные типы.

Туманова была бойкая дѣвица, уже не юная, здоровая как корова, спала так, что, кажется, вынесут ее — не услышит. Это она сама так разсказывала в свое вокзальное время, т.-е. пока по лѣтам жила на дачах и время свое барышнятское убивала как эти сейчас, встрѣчала и провожала желѣзнодорожные поѣзда.

— Не даром меня зовут Соня. Здорово сплю, цѣлый день могу спать, — громко говорила она кавалерам, и громко смѣялась.

А голос у нея был пронзительный, зычный, ей бы полководцем быть и спать мало и чутко.

— Адвокаты только в праздник спят до двѣнадцати и уж вот дрыхнут! Для них невидаль — дрыхнуть в свое удовольствіе. Я выйду замуж за такого, за которым и в будни можно спать à dis-

crétion, не считая сколько снов приснилось,— говорила она же и опять хохотала.

Бывало, всѣ мужчины умолкнут на вокзалѣ, любуются. Особенно желѣзнодорожные служащіе восхищаются. Умиляются и молоденькіе телеграфисты.

А одѣвалась как! Молодой замужней шли бы эти платья, а не барышнѣ. И волосы должны бы быть непринужденно причесаны. Но она была прямо ужасна. Под платьем шелковая бѣлая юбка, шлейф волочится со шлейфом платья по пыли, а под руками лиловыя пятна — ужасная потливость многих разодѣтых, на которую ни дамы, ни барышни не обращают достаточнаго вниманія, даже свободно обнаруживают, свободно поднимая руки вверх, к прическѣ. А мнѣ противно неряшество. Я — как врачи: у них необыкновенная чистоплотность, уже сама профессія обязывает, и вырабатывает. И весь вид у ней — qu'elle cherche richesse, что женщинѣ нужно все обезпеченіе — „я, мол, вон что̀, вон как богато одѣта еще будучи в дѣвицах. Не даром же я выйду замуж". И странно увидѣть замужней вот такую дѣвицу — которая долго ждала. И сколько радикальных перемѣн в них обыкновенно, так как обыкновенно онѣ ужасно практичны. Одна, например, ярый член кружка феминисток прибитая к берегу, т.-е. вышедши замуж уже отказывается защищать феминизм, измѣняет своей закадычной пріятельницѣ-феминисткѣ и... la plante là как синій чулок, который уже по цвѣту своему никогда не изящен и приличествует только тѣм кому покорять сердца нечѣм и покорять сердца остается только тяжелой артиллеріей свойств без спеціально женскаго обаянія, ученостью, например, множеством разсужде-

ній, особой самостоятельностью. Туманова же с этой самостоятельностью распростилась. Она только выражалась как-то комично: „Я под давленіем мужа нахожусь", говорила она.

— Умру, не испытав даже любви, — сказала о себѣ молодая богачка, блестящая дѣвушка — художница.

„Даже"! Или ей это представлялось таким крошечным благом, так легко жизнью даримым? Вѣдь это величайшее счастіе на землѣ. Кто получил это счастіе, тот богаче богатых. Без богатства счастіе есть, когда есть любовь. С богатством счастія нѣт, когда жизнь не дала любви. Она была несчастна, и по гордости бравировала. И таких как она тоже немало. И очень их жаль. Особенно жаль. Яркій цвѣток, полный красок и блеска, пока ослѣпительный только для глаз, от котораго глаза жмурятся, но на который из сердца не хлынули еще потоки того чувства, что̀ интимно, все вовнутрь человѣка, сразу не ослѣпляет, но сам цвѣток увлажняет, порой заставляет блекнуть и краски и блеск, чтобы вспыхнувши как весеннее полное солнце озарить собой преображенную новую красоту уже без холоднаго блеска, со смягченными красками и с чѣм-то таким что̀ наполнивши женщину неуловимо измѣнило ее всю от волоса на головѣ до ноготка на ногѣ, и взгляд, и поворот головы, и походку, и жест. Этот цвѣток ужасно жалѣешь. Жизнь не увидала преображенной ея красоты.

А этих вот, которыя тоже встрѣчаются, жалѣешь меньше и не удивляешься что прожили онѣ жизнь нелюбимыми. Эти всю жизнь тщетно добиваются любви. Даже не спрашиваешь себя — почему доби

ваются тщетно. Отвѣт в самом словѣ. Можно добиваться мѣста, ученой степени, знакомства с выгодными, стоящими на виду, людьми, богатаго брака, наконец, всего матеріальнаго, словом, но не любви. „Я могла бы подарить большим чѣм большинство женщин“. Боже, какая несчастная фраза! Такую фразу-сухарь может сказать только человѣк-сухарь, у котораго и ум высушен в достаточной мѣрѣ. Брак часто голая сдѣлка, с мотивами до безконечности разнообразными. Но любовь сдѣлкой никогда не бывает. Непосредственное обаятельное чувство. И когда этого чувства ни в ком не зарождается — и предполагаемые в себѣ дары не могут привлекать и чувство рождать. Женщины всѣх этих фраз-формул, сентенцій, обыкновенно и физически угловатыя и на какой-то особенный, жалкій лад некрасивыя должны бы менѣе всего поддаваться своей склонности к сантиментальничанію, ибо это только вносит небрежность в их почтенные браки и отношенія к семьѣ, дѣтям, любви же таким жизнь все равно никогда не дарит. Больные чахоткой иногда подтягиваются напоказ, стараются бодриться. Но им не жить. Жизнь не для них. Жизнь для тѣх кто всей грудью может дышать, кто на вершину может взбѣгать, кто может плакать, рыдать и горѣть, котораго слезы, рыданія и огонь не прерываются немощным припадком удушья, а полной гаммой и чудным аккордом прозвучавши в душѣ — перельются... в мір, во вселенную... Так и любовь...

Еще два слова о женском трудѣ в семьѣ. Лѣнивы у нас, нечего говорить. Есть иныя которыя шею моют, а в баню рѣдко ходят. Лѣнивы. Так и нравственно — лѣнивы, неряшливы, небрежно,

спустя рукава проживают свою семейную жизнь, и вообще жизнь.

У иной женщины, преданной, любящей, никогда нѣт в вопросѣ труда и забот для семьи — „Не могу“. Могу, все всегда готово как раз на ту минуту как надо.

А Толпова сбросила с себя всѣ заботы. Лѣнь перенесла из дѣвичества и в семейный очаг, и стремленіе барствовать. И вродѣ уже как абстрактное понятіе существовала для мужа, дѣтей. Паразит! И вот она лежит паразитом с утра до ночи и с ночи до утра, а если не лежит, то все же упорно отказывается приводить в какое ни на есть движеніе свои руки и ноги.

И все это у Толповых установилось вполнѣ и давно, так сказать, узаконилось ея паразитство. И вѣчно она сказывается больной.

— Что дѣлаете?

— Болѣю.

— Что у нея за болѣзнь, Иван Иванович?

— Да как вам сказать... такого воспитанія она: все ее утомляет.

— А с виду...

— Да, вот подите же. Я сам сколько раз думал. По-моему, он куда плоше.

— И по-моему. Совершенно замучен. По-моему, болен он в этой семьѣ. А холится вѣчно она. А он изнемогает в работѣ. И служба, и дома все он, за дѣтьми ходит, и все остальное лежит на нем же.

— Теперь не измѣнить. Привык он к тяжелой страдѣ. Ее же холит, точно и в самом дѣлѣ она больная. „Чтобы дѣти не остались без матери. Мать дѣтей она“

— Да вѣдь такая и для дѣтей безполезна, вредна.

Она их цѣлыми днями не видит, ничего в них не сѣет ни теплаго, ни хорошаго, только невидимо для глаз кладет какой-то отпечаток на них чего-то унылаго с дѣтства, унылаго, мертвеннаго, эгоистическаго, паразитнаго...

И вот былая разслабленная, былая якобы калѣка, так как никто никогда не видал чтобы она приводила в дѣйствіе свои руки, теперь, когда мужа ея свезли на кладбище, сама за гостями ухаживала, сама по дѣлам выходила, сама хлопотала, сама, словом, с жизнью соприкасалась, справлялась. Болѣзней и недугов ея как не бывало вовсе и никогда, точно муж ея, сложенный в гроб и под гробовой крышкой скрытый, под гробовую крышку забрал с собой и ея эту вольную неприспособленность к жизни и непригодность.

Но вот и эта еще — которая тоже жизнь дѣлает сухой и холодной. Языков учился в двух столѣтіях, а женился уже в этом вѣкѣ, в двадцатом. „Энциклопедія! — дарованіями“ — смѣшно, но гордо говорил он о ней будучи женихом. А в сущности эта барышня только перебрала всѣ профессіи. Очутилась же в писчиках в каком-то учрежденіи. И тоже без надобности, мѣсто другой заняла, какой-нибудь нуждающейся дѣвушки и болѣе способной. Она была из тѣх дѣвиц, которыя медленно но вѣрно выпирают мужчин отовсюду гдѣ заработок, что в концѣ концов сдѣлает то что тѣм болѣе будет холостых женщин. Но и он из категоріи мужчин которые тоже грибы — продукты земли без поэзіи ни красок, ни цвѣтут, ни листьями нѣжными убраны. Такова в своей сущности была и она. Немного пѣнія, немного музыки, но природнаго ничего что властно зовет остановиться на чем-

нибудь одном, поэтому никакого чутья или вкуса, плохой бульварный оркестр так же плѣнял в данную минуту как богатый оперный. И наклонность до всего доходить как экономка в хозяйствѣ. Как старушка, со своим лицом заостренным треугольником, сидѣла она бывало на уроках брата с бѣдняком студентом, сидѣла только для эксплоатаціи студента, только для того чтобы за родительскія деньги получилось как можно больше занятых дѣлом минут. Пустоцвѣт, но плотно начиненный хищничеством. Пустоцвѣт в ней чуялся не только когда она играла или пѣла, но и когда читала, и когда сама поучала, при этом страшно много жестикулировала, как жестикулируют вульгарныя женщины и женщины из простонародья, и страшно некрасиво. Это ей быть может помогало прослыть еще „ужасно передовой„ и „развитой“. Фигурой, особенно в зимнем одѣяніи, она напоминала Репетилова. Барышня-жила, барышня-кулак, опредѣлил я ее сразу. Сильно жадна. С женихом флиртовала, с этим самым студентом Языковым. Раз был у них в гостях, вечером. Поранил себѣ руку. Уже кто-то из гостей разорвал бѣлый платок. Она же не дала, не пожертвовала даже ветхой штукой бѣлья. Все-таки женился. И вышла стариковская пара. Нынѣ оба свирѣпо резонерствуют. „Разсудком живем“, говорят оба. Как вышла замуж все так же простыню подшивает под одѣяло и какую-то странную мебель завела, допотопную, некрасивую. Быстрёхонько узнал ее как женился, и жалованье свое стал ей совать под подушку чтобы задобрить ее. Вот уж тип истой мѣщанки! Все для себя: подруга пріѣзжала к ней гостить, к замужней. Цвѣтка жасмина не дала никогда. Все для себя рвала с куста,

в волосы втыкала, к корсажу пришпиливала, все к своему. И по-мѣщански обидчива. На блины пригласила гостей. Кто-то из товарищей Языкова не прiѣхал, не мог быть, и не успѣл предупредить. Она уже никогда больше не приглашает его на блины, до гроба будет помнить такую „обиду".

Но слово и о „нервах".

Я видѣл раз в концертѣ старушку в черном полу-купеческом, полу-старинном костюмѣ. С ней была внучка, в бѣлом. Какой-то желтый комок несмотря на свое бѣлое платье. Этот подросток-мѣщанка все присѣдала, чтобы ложился шлейф, и все это перед зеркалом во весь рост. И бранилась, что бабушка в антрактѣ курит, отнимает у нея удовольствiе прохаживаться в фойе, гдѣ много кавалеров.

— Пять лѣт собиралась в концерт, — все повторяла она плаксиво.

И сейчас же прибавляла, что Юша какой-то, „мучитель", не пускал.

И вдруг разразилась:

— Нервы мнѣ заболѣли, нервы! Я хочу в фойе.

Господи, куда пошли нервы! И непрiятно и смѣшно было слушать капризнаго, раздражительнаго подростка. С этих пор лепетать о своих нервах! А это потому, что глупая мода — говорить все о нервах. А какiе-то присяжные глупцы, т.-е. присяжные руководители общества, еще хвалят-расхваливают нервных (они впрочем превозносят нынѣ и порочность и порочных) и превозносят нервность. Совершенно не понимают того, что страстность, впечатлительность, отзывчивость и — нервность двѣ вещи совершенно различныя. То качества драгоцѣнныя, дѣлающiя душу живою. А это пато-

логiя, болѣзненность — нервность, отсюда раздражительность; а то и просто распущенность нрава сентиментально именуется „издерганностью нервов". И бѣда русских писателей, и теперешней молодежи, и даже большей части зрѣлаго общества именно в том, что они крайне нервны, но ничуть, ни единой капли не отзывчивы, только головой иногда.

О несуразном и скучном.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Солнце, когда уходит, зажигает в башнях всѣ стекла. И оттуда золотые глазки смотрят ко мнѣ в окна. И я каждый ясный вечер любуюсь. И все-таки башни Кремля и всѣ его куполы пахнут морозом, напоминают мороз, и с морозом сливаются, лишь только в пространствѣ холод зашагает волнами. Не в мороз ли куполы надѣвали, поднимали и кресты на них ставили.

Но я не об этом.

„Браунинг" — слово — это у граждан какой-то жупел стал, все равно что „руки вверх".

Это точно какой-то театральный пароль, и ради этого стремительнаго театральнаго жеста иной подросток, как дурачок, уже загодя, только завидя, готов вздернуть свои руки горѣ.

Но раньше другое развелось точно вши на грязном субъектѣ.

— Посочувствуйте ради вѣтра истребительнаго.

— Помогите ради сѣвернаго вѣтра губительнаго.

— Я в вас узнаю человѣка, будьте великодушны, дайте двугривенный.

— Я в вас чувствую человѣка, будьте чувствительны, дайте двугривенный.

Так цвѣтисто просят несчастные, которых жажда неугасима.

Вскорѣ пошло совсѣм откровенно:

— Дай двадцать копеек на водку.

Кто не дал — он кричит:

— Я вышвыриваю камни из мостовой на тѣх кто не дает мнѣ.

И это на каждом шагу. Потому что пить стали в десять раз больше. А вѣдь по улицѣ в это время ходили не богачи, а все больше только люди труда, рабочіе либо интеллигент, мужчины и женщины, которые с семьей еле хлѣб имѣют.

А то в минорном тонѣ пристанет:

— Меня ударили, а я сам двадцать раз ударю, — кричит на тротуарѣ красный как рак субъект и лѣзет шатаясь к проходящей тротуаром дамѣ:

— Двадцать раз ударю.

Или:

— Гапон мается на вѣсу, Гапон висит! Купите. С картинкой, — хулигански орет в самое ухо какой-то парень с газетами.

— Дурак, идіот! — вырвалось у прохожаго, возмущеннаго игривым тоном газетчика.

Потому что не всѣ, благодареніе Богу, оподлѣли со своей „политикой“.

А всѣ эти в квартиру звонки!

— Гонимый современными обстоятельствами. Дайте денег.

— У самих нѣт. Сами голодаем, уж не прогнѣвайтесь.

Грозно:

— Но четвертачек-то навѣрное есть?

А всѣ эти шантажныя письма и пр.!

Это была гнилая тягучая осень.

Но вот уже совсѣм зимнее: читать „опытныя в интригах“ газеты (такими словами онѣ сами себя рекламируют) т.-е. читать все тѣ же напѣвы, и тѣ же припѣвы — вспоминаются плоды, которым названіе: горе от плутоватых газет для слабых мозгов.

Стѣнные часы починил за пять рублей — испортил вконец, и на замѣчаніе по поводу плохой работы отвѣчает:

— Это правительство виновато.

А другой мастер (сто пятьдесят рублей в мѣсяц получает) получивши назначенное и еще требует — „На чаишко“. А у кого работал, тѣ втрое бѣднѣе его.

— Вѣдь вы же всѣ заявляли, что вас унижает получать на-чаи. Теперь, я думаю, тѣм болѣе, когда за все платится вдвое.

— Это правительство виновато...

— Я вѣдь едва гривенник дать в состояніи.

Заискивающе:

— На папиросы годится.

А один, свининой торгует, психологія его курьезна: „Украинцы симпатичны: много сала ѣдят“, опредѣляет человѣк... самоопредѣляется.

А дачный мужик, который почти что не сѣет, не косит, слышал, поучал бородачей как сам:

— Забастовку устроить, не продавать господам хлѣба. Пущай без хлѣба живут!

Все это невесело и нелѣпо.

И я с грустью задумался обо всем этом. О том — что время идет и идет, а нѣт и нѣт у народа истин-

ных руководителей, учителей труда, жизни и мысли, есть только из всѣх мутных волн повыползшіе политики-карьеристы, которые в годины смут гнут свою линію, пользуются всякой невзгодой этого для всѣх тяжкаго но для них благопріятнаго времени, чтобы окончательно сдѣлать негодными всѣ живущія поколѣнія и по сбитым с толку головам вползти туда гдѣ деньги и власть. И я задумался о судьбах народа сидя уже в потемках. От окна дома напротив за которым стоит пальма вырисовывались у меня на потолкѣ восемь пальцев. И я задумался глядя на эти своеобразныя листья. И вдруг пѣніе на улицѣ, горячее, почти вдохновенное, быть может, и обида сердцу выталкивает его из груди... Что же, кому не нравится... обманывайтесь, пожалуй, попрежнему. Но вот мои мысли и чувства. Смягчить должно всѣх кто злобу носит в груди. Если они думают, что при разыгравшихся свирѣпых инстинктах, именуемых ими политическими страстями, это вело к смягченію сердец — все что они хитро наболтали в газетах! Да, уязвили, и рады. Вот она зима душ ни на что хорошее не годных. Что за подлая ерунда! „Несознательные“, „черносотенные“ и пр. Назвали, и думают — так и есть. Что за никчемное кривлянье! Вѣдь это тот же народ. Вѣдь это тѣ же рабочіе, тѣ же крестьянскіе парни и юноши и обросшіе бородой зрѣлые люди. А этим хочется, чтобы непремѣнно кровь лилась от ненавистничества, от нетерпимости к чужим чувствам. А я знаю — которые плакали, глядя на процессію. Я и сам плакал. Ряды молодежи, ряды зрѣлых мужчин, которые Царя обожают и не побоялись вынести под небо кипящій в сердцах порыв. „Вы мол со своими словами идите. А мы

идем со своими — за Царя всѣ до единаго. Боже, Царя храни!“.. А газеты, лишь выйдут с портретами и иконой, выпускают весь свой заряд каких-то... каких-то в сущности даже не ругательных, а нелѣпых тут, без всякаго смысла слов на ч. х. и т. д. Это уже выходки недостойныя и не достойныя свободных граждан. Но я плакал потому — что в этой толпѣ не головной энтузіазм, а непосредственное и глубоко вкорененное чувство, а на них наступают лишь как удавы всего что встрѣтится на пути несогласнаго, как убійцы сердца, души, и оплевать их хотѣли бы своими словами на ч. и на х., и точно в самом дѣлѣ принизили их, пригнули им головы за то что за Царя пѣли и молитвы пѣли. Нѣт, не то дѣлали вы что нужно. Не льстить надо было, не заигрывать из-за страха за свои шкуры, не лебезить перед одними, из-за подлаго расчета вынырнуть из мути уже крупными щуками, а и этим и другим, всему народу словом, надо было дать знанія, свѣт, еще гораздо раньше надо было подготовить, разъяснить, направить на стезю труда, творчества и единенія во имя труда и любви и обновленія жизни, выучить соединенными силами всего народа дружно приступить к творчеству, к созиданію, к созданію братства, любви, человѣческих условій человѣческаго существованія ведущих ко всеобщему труду и ко всеобщему счастію. Но нѣт у нас пока истинных учителей труда и жизни. Каждый из них старается и хлопочет только для себя. И каждому из них всѣ средства хороши дабы облагодѣтельствовать лично себя и свой малый кружок. Поэтому и легко предсказать все как будет. Невесело и нелѣпо. И подло.

На дачѣ нѣт жизни природы — природа не живет. Деревья подавлены людьми, дачами. Все обезличено, любая дачная мѣстность как двѣ капли воды похожа на всякую другую дачную мѣстность. Но мнѣ все-таки, как французскій гражданин-солдат „дѣлает свои двадцать восемь дней“ — пришлось имѣть в первый и должно быть в послѣдній раз двадцать восемь дней дачной жизни. Но что это были за дни!..

Бѣжал я на лоно природы главным образом от этой ночной скачки на лихачах в моем переулкѣ дотолѣ тихом, пустынном. Грабители жарят на лихачах. Мнѣ стало противно оставаться в Москвѣ, видѣть как и люди труда переходят в грабители. Но не отраднѣе оказалась и дача. Начать с того что одна крайне нервная особа, сдававшая в городѣ комнаты и на дачу переѣхавшая для этого же гешефта наговорила мнѣ кучу „политических“ дерзостей. Сырость дачи, темныя желтыя и синія стеклышки вмѣсто окон в каморкѣ гдѣ-то под чердаком и все это в лѣсочкѣ гдѣ не переводится естественная грязь да еще свалочное мѣсто устроено и крапива произрастает вдоль дорог нанесенная с мусором. А цѣна за каморку необычайная, что я и имѣл дерзость откровенно сказать этой дамѣ. Но я не лучше попал и там гдѣ прибило меня так сказать к дачному берегу. Но об этом потом, так как прибило меня к дачному берегу потом, через нѣсколько дней. Теперь же я выбрался из гнуснаго лѣсочка и пошел блуждать в виднѣвшійся невдалекѣ парк. И мысли мои пошли сейчас же блуждать. Вот дерево лежит, воспоминаніе о жизни хранит и вызывает воспоминаніе: стояло, видѣло... Как в природѣ дуб-вѣточка лежит на этих корнях ко-

торые на землѣ переплелись и вызывает образ могучаго развѣсистаго дуба, так эта женщина, которая живет в моем сердцѣ, вызывает образ чуднаго нравственнаго зданія сотканнаго из искренних кипучих чувств — любви, нѣжности; и состраданія и милосердія; и страсти и гордости; и ненависти, презрѣнія ко всему подлому, пошлому... В этом паркѣ всѣ деревья рядами. Это надоѣдливо, потому что искусственно. Только холмики здѣсь естественны, сами дают для деревьев мѣстечки в безпорядкѣ, свободно, — заманивают сѣмена лечь туда-сюда. И вышли живописныя зеленыя купы... Липки — курсистки, ну, право же, что-то есть схожее. А длинненькая трясогузка неинтересна, она точно насѣкомое, а не птица... Но это ужасно, что и в этом паркѣ нѣт пташек. Единый звук — металлическій писк какой-то пернатой. Но он навѣвает уныніе... А вот статуя: ангел на лыжах. Что за ерунда!..

Для перваго знакомства дача угостила по-своему, quasi по-деревенски. Чѣм богата, тѣм и рада. Словом, ливень насквозь промочил.

На дачѣ всѣ мужчины ходят в блузах или в рубахах на-выпуск — не отличишь в этом (1906-м году) кого имѣешь сосѣдями. Иные — длинноволосые, и в очках, но это, быть может, для нѣкотораго измѣненія своей наружности. Маскарад в модѣ в это достопамятное с'аппропріаторское лѣто.

Да, подлое — это лѣто на дачѣ. Ни побродить по окрестностям, ни выйти погулять интеллигентной женщинѣ невозможно. На каждом шагу сцены в родѣ слѣдующей: мужчина и дама пришли с книгой посидѣть на одном из пригорков, на которых

здѣшніе дачники проводили обыкновенно цѣлые дни. Теперь же невдалекѣ землекопы великороссы рыли канаву и завидя „господ“ какія-то похабства стали кричать им, затѣм и угрозы, и уже двое из этих рабочих двинулись на них, должно быть, с цѣлью избить и ограбить. Пришлось убѣгать от озорников. А молодые люди с велосипедами, тоже два дачника, но из тѣх которых сразу опредѣлить невозможно учащіеся это или разбойники, подобострастно халуйски, точно нѣт у них и не будет ни матери, ни сестры, ни подруги, подхихикивали площадным словам разнуздавшихся мужиков. И лучшіе дачники перестали ходить к этим пригоркам.

А одна интеллигентка сказала:

— Прямо невозможно становится. На вокзалѣ и в вагонѣ публика такая теперь, что того и гляди кинется который нибудь за здорово живешь — душить начнет. Особенно боюсь я за мужа. Вѣдь мужчины прежде всего бѣшенная собака для мужчины. Ни с того ни с сего уставит в него разбойничье лицо, точно предлог ищет чтобы перервать горло или пырнуть ножом. А потом обижаются, что их сторонятся как зачумленных нравственно. Я эти их волчьи взгляды на мужа перехватываю на свое лицо, отвожу их глаза от лица мужа, пусть уж лучше на меня смотрят этими глазами... Да, еще такой год — другой, и сам не дай Бог станешь на волков глядѣть волком. Но есть и женщины — прямо бульдоги лицом.

„Пресвятая Богородице, спа-аси нас!“ несется лѣском пронзительная мольба.

Это поют крестьянскія дѣвицы и женщины. Онѣ благоговѣйно несут икону Тихвинской Божіей Матери. И мужики слѣдуют — непокрытыя головы — раку несут за иконой.

„Пресвятая Богородице, спа-аси нас!“ И они лѣском поспѣшают „Матушку Царицу Небесную принести в свою деревню и каждый сподобиться отслужить Ей молебен“ у своего дома, гдѣ уже выставлен столик и покрыт бѣлой салфеткой и уже толпится, ждет и старый и малый.

А в другой аллеѣ идет безстыдный грабеж.

— Руки вверх и карманы выворотить!

— Что раньше?

Этот насмѣшливый находчивый вопрос спас на сей раз одних бѣдняков-дачников, гулявших с двумя знакомыми дамами. Минута оторопи грабителей... но время для операціи прошло, и они бросились назад, в кусты.

Но в тот же вечер пятеро вооруженных молодых воров с криком:

— Руки вверх! Деньги и золото!

очищали повстрѣчавшуюся им у рѣки группу молодежи, срывали с пальцев кольца, из-за кушака часики, из ушей вырывали серьги. А у студента отняли три с полтиной рубля.

Вот-те и новоиспеченные граждане! вот тебѣ и обновленіе родины! Никто не хочет начать со своего, отказаться от богатств, капиталов, а этим не стыдно обирать тѣх у кого только крохи, да и тѣ — трудовыя.

И знаете мои чувства. Мнѣ это лѣто противно смотрѣть на молодых людей мужеска пола. И жалко, и противно. Поколѣніе отцов прямо теперь помоему чище, выше и симпатичнѣе. Самые плохіе

из них по крайности не циничные воры. И знаете что: не от одной женщины услыхал я это же самое. О чем же теперь станут писать пошляки и пошлячки, пристроившіеся к пошлой темѣ „любви“ зрѣлых женщин и старух к юнцам!

А барышни даже навезли из Москвы резиновых палочек.

А одна женщина вот еще что сказала:

— К счастію, из числа интеллигенціи все-таки ничтожное (сравнительно с массой волнующихся учащихся) — ничтожное количество окунулось в позор. Но вѣдь и раньше происходили волненія. Происходили и ужасы — юныя созданія становились убійцами, природная психика *человѣка* затуманивалась наносным, негодным, убивающим ясную, благородную душу, и человѣк, быть может, как загипнотизированный внутри автомат, быть может уже расшатавшись, полусознательно, как в полуснѣ шел и проливал человѣческую кровь, становился убійцей. Но *ни один* не унизился, не вышел разбойничать, грабить и обирать. Но... другіе учителя — другія и времена. „Учителя“ же нашего времени, всѣ эти хоть и вылинявшіе вконец, но все еще у многих модные „писатели“ не даром же в теченіе стольких лѣт собирали в свои мѣшки золото. Они дали то что требовалось для покровительствовавшей им блудницы — прессы: одни одрябляли души, характеры; другіе в общество вливали свой безграничный цинизм, волчье безстыдство; третьи же устремились окончательно стереть слѣды человѣческих чувств, даже достоинство, сами все это в себѣ замѣнившіе безграничным шарлатанством и безграничной развращенностью во всем и во всем.

А вот они, дѣти, на дачах.

— Костей, бутылок, старья, старых тряпок, — доносится с дачной улицы один из городских криков, отнимающих иллюзію что вы на лонѣ природы.

— Вот, — говорит дѣтскій голос.

И под забором дачи начинается торг.

— Да ты три кости принес, полфунта не будет.

— Ну, давай четыре копейки.

— Как же! получай три.

И эти три копейки мальчик идет проигрывать в карты с такими же как сам одиннадцати-двѣнадцатилѣтними дѣтьми. Тоже как и старшая молодежь не растут, не цвѣтут, а... картежничают втихомолку. И пѣсню напѣвают с одним все припѣвом, желѣзнодорожным:

Машина идет для чего?
Для людей, для всего.
Жулики, жулики —
Воровскіе, вы, жулики...

Я в пять часов встаю и иду в лѣс, роскошествую, как ребенок готовлюсь радоваться всему. Но мнѣ надо зайти напротив, к крестьянкѣ у которой я покупаю молоко. Молоко — ужасное. Хотѣл ѣсть по новому рецепту — каждый день простоквашу, но выходит дрянь, не простокваша. Пошел объясниться. Очевидно, и крестит молоко, и дряни подмѣшивает. А цѣны берет ужасныя за молоко.

Встрѣтила древняя сгорбленная старуха.

— Здравствуйте, матушка. Мнѣ бы увидѣть женщину которая носит нам молоко.

— Она в хлѣвѣ, коров доит.

— Так я пройду туда. И на коровок взгляну, хорошія ли у вас коровы...

Преобразилась в вѣдьму.

— Так ты пойдешь смотрѣть как она коров доит? Да нешто для такого дѣла кто с добром ходит! Ты стало быть хочешь порчу пущать на коров? Да нешто она тебѣ покажет как доит коров! Порчу пущать...

И орет, на всю деревню орет.

— Ах, дура, дура. Изогнулась як дуга, с клюкой ходишь, а все дура. Не видал я что-ли как доят коров! Брысь, старая дура, отвяжись. Пришли ее ко мнѣ.

Та́к ей надо было отвѣтить — грубо. Я ушам не вѣрил, что под носом у Москвы они, несчастные, так же темны как гдѣ-нибудь на сѣверном полюсѣ. Поучать столѣтнюю дуру, притом злющую, было бы безполезно, пожалуй, собрала бы криком деревню, а гдѣ черти не смогли, бабу пошли — пословица говорит — времена эти наши вѣдь были такія миленькія, что каждый предлог был бы хорош чтоб учинили кровавое озорство.

— Накатисты они тут, в провинціи, — говорят они сами друг о другѣ, называя уже у себя деревню не деревней, а провинціей.

Такова же там и часть публики это лѣто. Тоже все больше граждане с запятой. Куда дѣвались тѣ, которые десятки лѣт из году в год заселяли здѣшнія избы-дачи, учительницы, вообще небогатая трудовая интеллигенція! Многіе навѣрное сочли болѣе безопасным отказаться этот год от лѣта, провести лѣто в Москвѣ. Да, подлое лѣто было, как и весь год. Граждане этой „провинціи“ безгранично это лѣто заносчивы; безгранично лѣнивы

и гульливы — их же опять выраженіе; и кислы, какіе-то человѣконенавистники и жизиененавистники, а сами жадны — обмануть, урвать денег, денег, денег. Достаток в каждом домѣ, каждое яйцо продается еще дороже чѣм в Москвѣ, прямо на вѣс золота, а все грязь в каждом домѣ и с виду нищета (впрочем, у кого-то я видѣл в грязной избѣ большое зеркало и мягкія кресла).

— Борода — гнѣздо для вшей у мужчин, голова — у женщин. Потому от бани до бани не расчесывают волос, — разсказывал кто-то из них же.

Только и слышишь:

— Тут такой народ, не приведи Бог!

Отдаленныя деревеньки называют их еще тарелочниками. Крестьяне друг к другу вѣдь злы. Но это лѣто вряд ли много перепадало с дачных тарелок. А фамиліи: Иван Вольный, Спиридон Свободный, Григорій Проворный... К ним и поѣзд подходит с каким-то рычаніем. Локомотив сердится что должен на них работать, а эти люди сердятся что должны на себя работать. И не хотят работать даже для себя (на землю у них прямо жалко смотрѣть — так она запущена, плохо обрабатывается, плохо дает поэтому. У китайца соломинка не пропадет. А здѣсь — везет навоз, половину его растеряет по дорогѣ, другая же половина у него сохнет — высыхает кучками на полосѣ, совсѣм пропадает: когда еще соблаговолит он выѣхать вспахать свою землю. Самое небрежное и невѣжественное отношеніе к земледѣлію. Откуда же быть урожаю! А то, например, вѣря каким-то примѣтам, иной год уже к Успенію выкопает весь картофель и свалит его в ямы. Через мѣсяц полѣз в яму с картофелем, а нога провалилась

в гниль: от картофеля остался только смрад. Так вот — ни урожая хлѣба, ни картофеля). Дѣвушки, скучая, придумали для себя спеціальный праздник — спеціально обновки себѣ шить и показывать на себѣ эти обновки. Точно и без того не черезчур много праздников!

Свой свояка познает издалека. Должно быть, поэтому в этом году и перекочевала сюда такая странная, даже жуткая публика. Много мужчин-дачников, какіе-то гулящіе молодые люди, шляется без дѣла или на велосипедах таинственно куда-то скользят, и глаза у иных особенные (точь в точь такіе глаза, острые, острые, и напряженные, одно время часто встрѣчались много на Тверской, молодые люди с такими глазами и пѣшком, и на частной лошади, и производили на меня самое тягостное впечатлѣніе, потому что каждая профессія кладет свою печать на человѣка, в них же читалось выбранное для себя вмѣсто благословеннаго труда позорное, хищническое, ужасное. Потом стали исчезать такіе глаза)... — или в задних дачах молодые люди валяются на грязных голых тюфяках брошенных под убогое деревцо. И тут же труженицы женщины ѣдут и ѣдут на станцію, всякое утро ни свѣт ни заря, на службу в Москву, а также мужчины-труженики.

— Теперь нравственныя понятія по часам мѣняются. Что считалось мерзостью вчера, за то слава сегодня. Даже очень одобряют газеты, — говорит молодой субъект с испитым недобрым лицом.

Ах, вы, граждане печальнаго будущаго, говорю с отчаяніем я и ухожу отдохнуть душой в лѣс.

Нѣт, и в лѣсу не отдохнешь днем. Всѣ дачники из интеллигенціи как-то сбиваются в одно мѣсто, быть может боясь повторенія нападеній. И в этом мѣстѣ как-раз Божье кресло — три дерева, тѣсно полукругом прижались друг к другу, а внутрь полукруга вылѣз один из корней. Сядешь, и облокотишься, и вдвоем сидѣть очень удобно. И представляешь собой центр компаніи, потому что уж так расположилось в лѣсу Божье кресло. И смотришь кругом. Вон налѣво под маленьким бѣлым зонтиком дама небрежно бросилась на траву. Дама под зонтиком — точно в лѣсу бѣленькій гриб... Но тотчас отравляют отдых всѣ эти разговоры мимоидущих.

— Вам семьдесят лѣт, и вы не видѣли баррикад! Что же вы видѣли послѣ этого!

— Ты — глупый мальчишка!

Это, очевидно, сыночек, а быть может племянничек гордо дѣлает старшему реприманд. Господи, как мнѣ их жалко, что не туда идут куда надо!

— Она свое имя забыла. Это доказательство того что у ней истерія. При наличности нѣкоторых других симптомов. А истерики, знаете, напропалую лгут. И, к ужасу, много в извѣстном направленіи. Как иные психопаты писатели-эротоманы, а то и настоящія галлюцинаціи встают у нервно развинченных. Я вам говорю как женщина-врач. Конечно, есть еще и писатели шарлатаны, которые рисуются... выдумываемым салом и скабрезностями, и спекулируют, промысел себѣ новый нашли... теперь бозстыдно многіе писатели...

— Я с вами не желаю разговаривать. Если вы так возмутительно думаете, вы черносотенка.

— А вы, мой друг, хулиганка.

— А вы...

Вѣтер не донес остального, и молодыя особы утонули в глуби аллеи.

А справа неожиданно вынырнула пестрая группа крестьянских дѣвиц. Ах да, сегодня вѣдь воскресенье, отвратительнѣйшій день для такого дачника как я. Понаѣдут милліарды из Москвы, гвалт пойдет в лѣсу, пьянство, всякая гадость.

А дѣвицы идут и поют. Горловое пѣніе, и каждая поет для себя, не сливается в гармоничное, стройное. Но визгливая острая нота все же за душу хватает — настроеніе такое у меня, быть может.

За темной дубравы черныя кроны,
Зеленаго моря лиловыя горы,
За жаркаго неба алыя зори... —
Взовьюсь могучим крылом, —
Полечу...

Нѣт, пусть лучше поют подходящее к теперешним временам:

Прянут с земли на удавов удавы...
Но с земли не подняться удавам.
Размозжат взаимно жизни и души
И еще ниже упадут негодныя души.

Их политика, т.-е. пресловутых „руководителей общественных взглядов", это вот что: злостный банкрот тужится вытащить краеугольный камень на котором держится все зданіе. Зачѣм ему самому только обломков надѣлать и только пылью пустить в граждан? А чорт их душу знает. Может быть, только от хулиганства, озорства. А быть может от злости: счеты с кѣм нибудь сводят закулисно („мы надѣялись, что погибнут в кровавом пле-

бисцитѣ" читаю в одной из газет). Итак, банкрот, запрятавши деньги, тужится чтобы вытащить краеугольный камень.

— Этого трогать нельзя, — говорят ему.

— Нѣт, мы хотим.

— Да вѣдь все рушится.

— Я не рушусь. У меня напрятано денег, долгов не плачу. В случаѣ чего укачу.

А то еще бывает злое и капризное чадо. Двѣ вещи. Одна ему, пожалуй, подходяща. Ее ему дают.

— Нѣт, я ту хочу.

С той и обращаться не сумѣешь. Только перепакостишь.

— Нѣт, я хочу.

И брыкается, и кусается... А сам совсѣм и не хочет. Только плутоватое — чадо, хитрое...

А тут бабы идут, и кричат, дачников извѣщают:

— Только торговцев побѣдили у третьяго разъѣзда... Расхватали с лотков весь товар.

— Теперича, слышно, на дачи накинутся. Потому смести дачи хотят. Чтобы не было дач. Много их, в лѣсу-то. Как войско...

Еще какой-нибудь вздор. Всякій день — „сенсаціонные" слухи.

Лѣто почти на исходѣ, слабое оно было в этом году, все слезилось, слезилось. Благодареніе Богу, разгрома дач не случилось. Да и мужики воинственно говорили в пространство. Вѣдь они живут с дачников. А людей подозрительных, темных не убывает. В купальнях замки давным-давно сломаны, очевидно, для безплатнаго входа. И скандальчики вспыхивают из-за выѣденнаго яйца. Даже женщины

появились накатистыя, нахрапистыя. Одна дама-интеллигентка входя в купальню нечаянно смахнула со скамейки на пол что-то чужое. Сейчас подняла и сейчас извинилась. Так нѣт же, она все обиду свою выставляет, битый час — одна из тѣх, которых столько наѣзжает в воскресенье с двусмысленными компаніями. Вот онѣ тоже истинныя мѣщанки нравственно.

А то еще. Мужская купальня недалеко. И часто слышишь: „Ах, мужчины купаются, ах!“.. И тут же претензіи к одной дамѣ, зачѣм бросается в воду в рубашкѣ. — Так за границей привыкла. „А тут Россія“. — Я и вам совѣтую. Оно не так пріятно, но здѣсь лодки курсируют и всякая всячина. За границей даже запрещено купаться без костюма. — Опять с претензіей: „Нам заграничных уставов не надо“. — Да я и не навязываю вам. Вы — по-своему, и я по-своему. „В Россіи надо дѣлать по-русски“. Чорт знает что такое! Это как „свобода“ газет, которыя всѣх вгоняют в одну скобку, под свой вѣковой шаблон. И по части собственности уже стало строгонько по отношенію к... маленьким „собственникам“ (толстыя мошны муштровать труднѣе, да и нѣт между здѣшними дачниками даже достаточных). Мохнатая простыня оброненная в лѣсу поднята кѣм-то. Это не диво. Но объявленіе с просьбой о возвратѣ простыни остервенѣло срывалось неизвѣстно кѣм. Мол, что с возу упало, то и пропало. А почему моя купальная принадлежность должна перейти в другія руки! Я человѣк труда, а подобрал может быть паразит или пьяница, за гривенник пропьет необходимую мнѣ вещь, а я трехдневный заработок положил на нее. „Господская вещь“. Но я знаю трудящихся

интеллигенток, которыя, как крестьянка иная двадцать лѣт носит одно — тоже двадцать лѣт берегут и имѣют одно, потому что еще бѣднѣе крестьянок. И каждая вещица, каждый наряд пріобрѣтен на *трудовые* гроши. А их тоже с остервенѣніем, до чулок и рубашек, „экспропріируют“ — как галантно выражаются газеты (которым однако извѣстно что „экспропріаціи“ — с'аппропріаціи разоряют все больше людей малаго и крошечнаго достатка, ибо их-то мошну и вообще огромных богачей, за их тридевятью замками и сторожами, и не достать).

Нѣт, этим путем не возродиться ни им, ни странѣ.

Граммофон на здѣшних дачах в большом уваженіи. Иной раз такая пѣвучая трескотня заполоняет всю тѣсную близь, что спѣшишь изъять из этого оглушенія уши, бѣжишь в простор. Но, увы, простор уже тоже отравлен. В послѣднем домѣ граммофон взнесен прямо на почетное мѣсто — высоко, на вышку поставлен, особая бесѣдка выстроена для него, и оттуда хриплый рев крушит всю окрестность. Нѣт, уж я предпочитаю часы с разговором. Но вкусы этих вот барышень, которыя идут впереди и глаголят о знаменитых как онѣ выражаются либералах профессорах-депутатах, и тут не сошлись с моими. Онѣ так и кинулись к калиткѣ — внимать. И хотя из граммофона пѣл „сам Шаляпин“ все же я подумал: Господи, какое пониженіе во всем... Одно к одному все это: обожаніе граммофона, прославленіе бездарностей-писателей, воровство в беллетристикѣ, пресловутое „руки вверх“ и многое, многое прочее. А барышни стояли очарованныя, застыли, воспламенились внутри.

— На что ты безумных губишь! — шутливо запѣл из-за куста какой-то шутник-кавалер.

И барышни мгновенно вспыхнули, но потухли, разобидѣлись; и досадливо фыркнув шарахнулись от калитки.

Если бы маленьких размѣров птицѣ, воробью например, дать клюв и взгляд ястреба и его выкаченные глаза получилось бы это дѣвичье лицо под модной шляпкой нагнутой спереди, нагнутой сзади. Это одна из поклонниц граммофона. Ея подруга жолудь напоминает: лицо — жолудь; на жолуди шапка — лоб. На первой лента на шляпѣ из целлулоида, воротнички и манжеты — бумажные, ничего на ней настоящаго кромѣ золота: брошки, цѣпочки. И с пятачок на головѣ сзади закрученные волосы. Нехороши. Но дѣло не в этом. Онѣ остывши от Шаляпина опять заговорили о политикѣ, сводя ее как-то только на „имена“, „извѣстныя имена“. И жалко мнѣ этих барышень. К критическому возрасту онѣ и сами навѣрное попадут в „извѣстныя имена“ за какія-нибудь свои ученическія способности. Мнѣ кажется, это опять тот тип женщин, которыя карьеру дѣлают потому что офиціально-„либеральны“, но которыя — бѣдняжки, того что ищут всего больше — личной жизни не получают почти никогда, счастливой и никогда по причинѣ своей ни для кого не заманчивой натуры часто осложненной пренепріятным характером.

Истинныя мѣщанки нравственно — это еще вот эти, по положенію и по учености с противоположнаго полюса. Все и вся сосут, из всего извлекают выгоду для себя, а чванливы, а гонористы, фу ты,

ну ты, знай наших. И мужчины такіе есть. Еле читать умѣют, а уж пишут — точно дым выходит из каждой буквы. А считают, что мір принадлежит им, потому что они не дворянскаго происхожденія.

Такая дачная хозяйка попалась одной интеллигентной дамѣ, обращавшей на себя вниманіе прежде всего странной шелковой тканью, из которой имѣла платье, вдовѣ офицера, полегшаго в несчастной войнѣ. Впрочем и у меня такая же хозяйка. Я тоже нанимаю комнату у съемщиков дачи. И мужья у них как будто на одно и то же лицо. И странно, точно предчувствіе предостерегало офицершу. Задаток дала, и хотѣла его бросить, не переѣзжать, ночь провела, разсказывала, в необычайной тревогѣ: „Что я сдѣлала! Что я сдѣлала! Зачѣм я у них наняла!“ А потом разумѣется сказала себѣ: „Что за вздор!“ и забыла предчувствіе, и отдалась дачному „отдыху“.

Но я хочу вставить сюда клочёчек из разсказаннаго этой дамой, которая жила на Дальнем Востокѣ и немного в Читѣ.

— Чита — это какая-то деревня, не город, на площади растут сосны. А жизнь там прямо мучительская, ужасная. С шести часов уже выходить нельзя: убьют. И цѣлый день каждый дрожит — как-бы не убили. Двери забаррикадируешь и сидишь днем у окна. Впрочем, óкна нѣт ничего легче — высадить. Каждый день убивают, тут же под окном убивают. Жители Читы — это все бывшіе каторжники. Не каторжников там кажется и не встрѣтишь. Когда нѣкоторыя из офицерских жон остались в Читѣ — о них сначала думали что и онѣ с каторги. И меня кто-то спросил: „И вы тут по несчастію?“

О китайцах она сказала раз:

— Китайцев не особенно люблю. Придет куда-нибудь в гости, любит лежать на русской постели. Скажет: „Шангò, шангò“ — и точно получил разрѣшеніе. А прогнать не рѣшаешься. Может быть, даотай какой. Но рабочіе необыкновенно добродушны. Только ужасная бѣднота у них. Наши солдаты в карты на большую играли. Один тысячу рублей выиграл. Другой, вѣстовой, пятьсот, но боялся сказать начальнику: подумает — ограбил какого-нибудь китайца. А китайцы дѣлят копейку на двѣнадцать частей и играют на двѣнадцатую часть. Поэтому с ними наши солдаты не играли... И многіе-то там, наши, жили как крезы. Подрядчики — лакей какой-нибудь бывшій, а всѣ живут как богатые помѣщики. Потом к ним присоединился подрядчик-писатель, сотрудник одной московской „передовой“ газеты, в которую он „корреспондировал“ столько пошлости и лжи... И еще там были разные „моему ндраву не препятствуй“. У себя навѣрное не имѣли таких привычек, которыя в них объявились там. Напримѣр — „Обѣдаю в семь часов, но обѣдать на ходу поѣзда не могу“. И поѣзд стоит, иной раз до двѣнадцати ночи стоит... Тоже евреев все за японцев принимали в Маньчжуріи. Выходили иногда курьезы...

Японцами она прямо не нахвалится.

— Привѣтливые, мягкіе, застѣнчивые, симпатичные. Народ сосредоточенный в себѣ и думы носит в себѣ не пустячныя. Из европейскаго много выбросит за борт, я думаю, пороки, напримѣр... Я прямо очарована ими. Удивительный народ! — сказала она. И тут же прибавила:

— А тут какіе непривѣтливые всѣ, грубые!

О поѣздѣ спросила сторожа — отвѣтил грубо. И какіе слои ни взять. Точно парад грубости устраивают. Рѣдко встрѣтишь привѣтливых, даже только вѣжливых... А что до климата — в Москвѣ и 15° мороза хуже чѣм 45 в Маньчжуріи. Там небо всегда синее. Дождь пройдет и опять синее небо... А газеты все наврали о японцах. У них и тут какая-то досада и зависть — к талантливости и к человѣческим свойствам. А по-моему не завидовать надо, а честно признать все хорошее и стремиться на дѣлѣ соревновать во всем что̀ высокое и прекрасное.

Но я перехожу к дачным хозяевам офицерши.

Хозяин у нея распространился всюду. Куда ни повернет голову, все он тут или какое-нибудь приспособленіе для его удобств. Всѣ березы дворика — правда, точно из бумаги сдѣланныя, такія онѣ недошедшія, мертвыя — заняты им. Под этой гамак, под той кресло-качалка, под тѣми вон стол для чаепитія, а дальше для карт... Жильцам некуда с книгой приткнуться.

Это они, видите ли — хозяева — „вступили на линію господ“, „на линію буржуавов“, — сказали они.

— Мы не дворянскаго происхожденія, — сказали они, — поэтому нам и развертываться теперь. Нынче времячко для нас. Дворянчикам — капут. А мы шиковать станем. Дума за нас постоит.

И развертывались же они. И „шиковали“. Она самаго дорогого мяса накупит, телячьих котлет или птицы, свалит непокрытым в кухнѣ на стол, сама уйдет по сосѣдкам, а зеленыя мухи кругом вѣнком ей на котлеты насядут. Эти, разумѣется, только собакам ѣсть, новых накупит и опять то же самое.

— Мухи на мясѣ Божье дѣло, — скажет, утѣшит себя.

А на столѣ на террасѣ вѣчно закуски московскія. Да ежедневно подзывает торговца, который смѣшно, точно „Салат, конфеты" — выкрикивает: „Шоколад, конфеты, кондитерскій товар".

— Непріятно смотрѣть на вас как вы хозяйничаете. Мясо гноите. Уголь из самовара в лоханку с помоями бросаете. Только грязь разводите в кухнѣ. А старый уголь годится; надо самовар вытрясти на бумагу да выбрать старый уголь. Я — бумажкой, чтобы рук и ногтей не пачкать. Деньги, должно быть, легко достаются вам — сорите ими! Чѣм вы живете? — удивлялась своим хозяевам офицерша.

И дѣйствительно. Оказалось, что эта Петровна, как ее почему-то называл дачный дворник, была еще недавно фабричной работницей. Не из тѣх, оказалось, которых интересует то, напримѣр, что в Польшѣ одна работница на 5—6 станков, а тут на два станка, что слѣдовательно там работают продуктивнѣе и что можно совершенствоваться в каждой профессіи. Нѣт, она оказалась из тѣх, которым всякій труд отвратителен и противен, мечта которых ѣсть, спать, ничего не дѣлать и шиковать на вышеупомянутый манер. Вышла замуж за мастера и зажила как мечтала. Но муж ея тоже ничего лѣтом не дѣлал, только качался в гамакѣ или в качалкѣ да страшными своими глазами слѣдил за жильцами и гостями пріѣзжавшими к ним из Москвы. Оказалось, уже всего испробовали чтобы жить без труда: и тотализатор, и карты. Теперь может быть так жирно кормит их что-нибудь новѣйше-модное. Одним словом, нравственный запах исходил от них ужасный, и офицерша уже не на шутку боялась их.

А Петровна, незамѣтно выпытывая о средствах жилички, о ея квартирѣ в Москвѣ и т. д., нос свой совала в кастрюли и презирала ее за бѣдный стол, который офицерша сама стряпала в дачной кухнѣ для себя и своего ребенка.

— Вы салат приправляете постным маслом! — с презрѣніем восклицает Петровна.

— Прованское не по карману. А без салата невозможно.

— Фи, какая гадость! А мы и не ѣли бы. Особенно теперь как Дума. Потому что Дума для нас, не для вас. Мы и не ѣли бы не с прованским.

— А „буржуазочка", видите, ѣст... У вас для чего такой странный и страшный молоток?

— Это на заказ такой молоток.

— Да для чего он вам?

— Нужен...

— Им, не дай Бог, хватить, и костей не останется.

Покраснѣла.

— Сколько убійств произошло оттого что револьвер попал в руки кому не надо. Завелся револьвер — им его разрядить хочется — в людей разряжают. Так и ваш инструмент ни к чему тут.

— Вы, что же, подозрѣваете нас? С вас небось и взять нечего. Латки, кажется, на чулки подшивали, ха-ха-ха-ха. И заштопать нельзя, а вы все еще хотите носить. Я не стала бы носить. Теперь тѣм болѣе, потому что — Дума.

— И новое носим, и старое. Мы не богаты... А зачѣм ваш муж стал ѣздить в Москву? Я его там встрѣтила. Он вѣдь выдал себя за больного,

когда я смотрѣла дачу, будто еле ходит, только и сил будто чтобы за клумбой с цвѣтами ухаживать.

— Ха, ха... Того повидать, другого повидать... Разныя дѣла пошли. Теперь Дума.

Ну, ну, если результаты только такіе будут — если вот этакіе все расплодятся, если много станет таких...

Она это только подумала. Она все больше начинала бояться этих странных дачников и особенно хозяин, безконечно длинный человѣк, пугал ее своими жесткими глазами и всѣм своим темным видом, и даже уже этим — не к лицу такому человѣку — пристрастіем к клумбѣ с цвѣтами, и уже подумывала бѣжать с лона природы, хотя заплатила за все лѣто вперед.

— Вор у себя в домѣ не грабит, — сказал кто-то из знакомых.

— Да, но у них тоже организація, говорят. Одни громят, грабят, другіе скупают. А еще есть подводчики, высматривают, вынюхивают жертву, добычу, „дают направленіе“ шайкѣ.

А тут эти ежедневные грабежи повсюду. А тут еще зачѣм-то навез хозяин из Москвы больших горшков с землей и с цвѣтами и стал их вкапывать все в ту же клумбу.

— Своими руками подвезла им все.

Все цѣнное что было у ней, золотыя и серебряныя вещи, и все лучшее из одежды она отвезла в Москву на квартиру. Через два дня поѣхала опять, намѣреваясь на другой день перебраться совсѣм, и квартиру нашла уже обокраденной. „Экспропріировали“ все, начиная с риз на иконах, вплоть до шпилек и гребешков.

Но тут интересна психологія народа „провинціи“. Кого обокрали, так, кажется, кто мог бы, и совсѣм доконали бы. То-ли зависть к удачѣ воров, то-ли то, что извѣстная пословица лицемѣрит, т.-е. что обокраденнаго (который есть в нѣкотором родѣ лежачій, пока не примирился с постигшим его горем) бить теперь легче, — но дачные мужики-извозчики точно задавшись цѣлью добить превратились в разбойников. По дорогѣ на станцію пять раз набавляли цѣну за проѣзд. Иначе — слѣзайте среди поля. Один ужас. И все тот же припѣв: „Теперь Дума. Она — за нас. Что хотим, то и дѣлаем“. Думала, не доѣдут живые. Отлегло от сердца только тогда, когда увидала наконец станцію. Но и в Москвѣ чувствовалось какое-то злорадство со стороны, например, пришедшаго возстановить выломанные замки.

— Теперь уже не наживете того что украдено. Теперь другія времена. Дума. Господскіе заработки хуже наших теперь. Развѣ я стану работать за сорок рублей! А господа вон работают... даром что по их положенію расход у них по службѣ поболѣ нашего... И жоны наши нешь станут работать! А у господ и барин и барыня все одно — работают... Теперь, знаете, не одни господа ходят в золотых часах. И мы покупаем, если задешево продается, потому во время забастовки, например, заложить можно.

Злая сила.

1.

Я видѣла: жуткая тьма надвинулась среди яркаго свѣта... Море, когда злое, — это чорт знает что: злость холодная, злоба однообразная, неустанная, безцѣльная, дикій рев, сумасшедшій, и катят горы-волны, сокрушают с грохотом все на пути, без смысла, без разбора, без передышки. Туча, дающая крылья бревнам, кирпичам и доскам — тоже холодная, безсмысленная, дикая ярость природы. И это уже не дождь льет из тучи, а безобразно хлещет мокрым, но ненужным, и только придает густоты зловѣщей мглѣ эта нависшая отовсюду водяная стѣна. Какой-то хаос образовался из тьмы, воды и вѣтра, адскаго шума, крика и воя. Тьма густая, и молнія безсильна пробить дикую тьму, освѣтить. И вихрь, как стозѣвное чудовище, ревет, свистит, воет, кричит, все собой поглощает, и гром, и треск вѣтвей и деревьев, которыя валятся, их предсмертный треск — все превращается в ярый свист вѣтра. И угнетающе дѣйствует на душу все это, и элементов красоты в себѣ разрушеніе никаких не имѣет. Нѣт, никаких. Ни циклон. Ни изверженіе вулкана. Ни война. И не импонирует человѣку разрушеніе.

Безсознательно чувствует каждый, что это не цѣль, что в лучшем случаѣ это только непріятный и прямо отвратительный этап к созиданію, что истинное стремленіе природы — созидать, созидать, что таково и стремленіе души человѣческой. И говорит себѣ человѣк: быть может, и злая сила красива. Но только когда дремлет. Только пока не вредна дикая сила. Сила прекрасна — когда созидает. Сила, созидающая в природѣ — солнце, самая огромная созидающая сила, тихо, спокойно, увѣренно созидает, благосклонно и... всемогуще. И только результаты ея бросаются в глаза. А в жизни любовь — тоже сила созидающая. Но разврат — разрушеніе, и цѣльному, прекрасному человѣку — человѣку благородной души претит, ибо только нравственная чистота есть сила созидающая для добра, блага, красоты, крѣпости и счастія человѣка.

* *
*

Картину разрушенія налетѣвшим циклоном я видѣла и на слѣдующій день. Уже при возстановленном природою ярком солнечном свѣтѣ. И под блеском лучей созидающей силы еще ужаснѣе было смотрѣть на эти десятки десятин еще наканунѣ густо заставленныя полчищем живых зеленых деревьев. Точно конец свѣта, послѣднее разрушеніе міра, всего, посѣтило цвѣтущую рощу. Издали всѣ эти наполовину снесенныя деревья, могучіе стебли, стволы — точно солома послѣ града сбившаго колос. А вот великаны вывороченные с корнями, справа и слѣва и сзади валились, всѣ в одну кучу валились — ужасающій хаос мертвецов стольких пород! А вот несравненная по красотѣ сосна — один ствол, два могучія развѣтвленія, не расщепил их

циклон, не раздѣлил, оба вмѣстѣ свалились. Но как крутило их, выворачивало, выламывало, всю бѣлую сердцевину скрутило, точно канат растрепало, но... как люди нерасторжимые, и сильные духом в своей борьбѣ с подлой завистливой силой — и они выдерживали не земную борьбу, еще тѣснѣе сплелись и, побѣжденные дикой разрушающей силой, свалились, грохнули наземь, но вмѣстѣ, в нерасторжимом святом нѣжном объятіи. А вблизи парк все больше и больше подобен созрѣвшей нивѣ, по всходах которой прошло стадо скота, вытоптало высокую рожь, вытоптало и выворотило копытами самое мѣсто посѣвов. Точно и по этому парку прошло громадное стадо великанов четвероногих. И как свѣчки над кладбищем — выглядит парк. Кладбище — парк; похоронныя свѣчи — эти голыя жерди, которыя на пространствѣ десятины и больше недвижимо густо стоят. Как кресты на могилах стоят, как протест против злой силы ненужной — эти легіоны деревьев без крон, без вѣтвей, как висѣлицы стоят... и онѣ, эти жерди, еще сильнѣе потрясают чѣм полеглые, чѣм тѣ деревья что лежат внизу, по землѣ, хотя внизу лежало, быть может, десять тысяч, а погребально над парком торчало только быть может неполная тысяча. Нехорошо на душѣ, тяжело. Но и кругом в природѣ все как-бы остановилось и застыло на нѣкоторое время: и эта трава уже не сочная, не весенняя, а грубая, какая-то жирная, и эти березы по сторонам, что̀ стоят неинтересныя, как мокрыя курицы стоят послѣ грозы, и эти под ними скамейки, также уцѣлѣвшія на своих мѣстах, кладбищенскія скамейки, на которых теперь тоже только слезы лить и похоронныя слова говорить. Но и самое солнце как будто прекратило

сейчас созиданіе и полно в эту минуту только протеста, недоумѣнія. Да, не этим существует природа, не разрушеніем природа живет.

* * *

А народная легенда уже ходит из уст в уста по русской землѣ:

— И сдѣлалося темно на землѣ. И видит народ православный: люлька с младенцем до трех раз взлетѣла в небо. И пал народ ниц...

2.

Я видѣла дом. В нем было много жизни, и много жизней живых. Полный цвѣток, полный, созрѣвшій. Много влюбленных мужчин. Стройных, прекрасных, носящих в себѣ обѣщаніе женскаго счастія. И этого счастія гдѣ-то дожидались такія же стройныя, прекрасныя женщины. Но были и такія, которыя дождались этого счастія, были в этом домѣ и пары. Война вытребовала мужчин. И теперь в домѣ плач и тоска. Плачут всѣ, начиная с деревенской женщины — горничной.

— Я уже не толкую, — говорит молодая крестьянка и плачет. — Хоть бы одну ногу какую-нибудь оторвало ему, я бы не толковала, только бы принес его Бог.

И на лицѣ ея то тоскливое томленіе, замираніе сердца, та великая растерянная тоска, которую она видѣла в лицѣ иных мужчин послѣ их призыва туда.

— Божечка милостивый, Божечка драгоцѣнный, сжалься, верни мнѣ его когда кончится все. Верни мнѣ его. Хоть искалѣченнаго, изувѣченнаго, как будет воля Твоя, но верни мнѣ его живым, — и юная бѣлокурая головка припадает к ковру,

юная рука с брачным кольцом на тоненьком пальцѣ с мольбой осѣняет себя, осѣняет в пространство того, который, быть может, в эту минуту под ревом и грохотом смертоносных орудій, и в смертельной тоскѣ юная хрупкая женщина в изнеможеніи опускается на ковер, а прелестное интеллигентное личико уже залито слезами.

А в той еще комнатѣ тоже стоит на колѣнях и молится женщина, и в ужасѣ смотрит туда, за тысячи верст, и мучится великою мукой.

— Прости мнѣ, родная земля, что тѣх и других жалко мнѣ одинаково... Простите мнѣ, люди моей родины, что и в напряженіи безмѣрной скорби за родину хочу я только чуда, не побѣды, нѣт, а чуда братства хочу: чтобы обнялись оба народа, чтобы и тѣ и другіе переплелись в братском объятіи и чтобы тот чья рука в эту минуту готова поразить кого-нибудь из наших братьев, или если кто из наших братьев поражает врагов — братьев — прошу, Небо, чуда, чтобы ни тѣ ни другіе... Дай чудо! Любить друг друга народам так просто, легко. Побѣдить так жестоко, ненужно, побѣдить так больно, ужасно. Нѣт. Во мнѣ нѣт пыла к побѣдѣ. И ты не скажешь, о родина, что во мнѣ нѣт патріотизма, что во мнѣ нѣт великой любви к тебѣ, о родина. Ты скажешь обо мнѣ справедливо, о родина: будь как она: тоже не неради о сущей в твоем сердцѣ великой любви... Солдаты шли с музыкой. Много, много их шло. С музыкой шли. Каждый из них знает — война теперь, и предстоят холод, голод, невзгоды, раны, увѣчья и смерть. Музыка все это острѣе врѣзала в сердца. И они шли, готовые умереть. И я слушала, глядѣла на них, провожала глазами и сердце мое колыхалось, сжималось, и крупныя слезы подступали к глазам, а к устам мольба поднималась с кипучаго сердца: Боже, исцѣли народы от войн. От этого вѣчнаго безумія исцѣли... Но умирать я пошла бы и сама. Умирают, и я пошла бы на смерть. Жрецы благородных искусств, которые загораживаются от общей тяготы своим „нервным разстройством“, это то же, что мѣщанки, которыя упадают в дѣланный обморок чтобы выманить для себя тѣ матеріальныя выгоды, которых большинство женщин на землѣ не имѣют... Да, безуміе война. Буйное безуміе охватывает двоих, и в припадкѣ безумія эти мужчины бросаются друг на друга как лютые волки, готовы побѣдить — загрызть, растерзать, и вдруг луч благодатный пронизал буйно-безумныя головы, безумныя души и... чудо совершилось, они исцѣлились, они ужаснулись, они уже руку простирают не для убійства и ненависти... Исцѣли и народы, исцѣли, и направь на путь братских объятій.

Одиноко в своих больших покоях бродит старик, глава этого дома. Дом — полная чаша. И так недавно еще — полный цвѣток, полный жизни, полный жизный живых. Но мужчины ушли всѣ до единаго. Остались только женскія слезы, и старик убѣгает от слез, потому что его душа и мягкая и угрюмая и собственныя слезы, которыя не льются из глаз, задушили ему сон, задушили всѣ прочія безобидныя физическія блага, которыми держалась его догорающая жизнь. Теперь он быстро шагает к могилѣ. Так это нежданно разразилось над его сѣдой головой. Столько их было, прекрасных, любимых, теперь никого, только плач женщин кругом. И старик убѣгает, потому что плакать не хочет, и одиноко в своих больших покоях бродит со сво-

ими мыслями, к которым еще не привык, которыя ему кажутся странными. Ему кажется страннымъ, что очутившись без дѣтей, которых у него всѣх вытребовала война, он, изнывая от разлуки которую предчувствует вѣчной — не ненавидит врага, полон дум о врагѣ и все дум теплых, зажигающих в его груди теплыя чувства к врагу. Маленькій японец несет на себѣ рослаго русскаго солдатика, несет его заботливо, бережно, почти женскинѣжно, как нес бы его родной его брат. Врач японец щупает пульс у русскаго раненаго и таким чудным заботливым взором смотрит на него. Какой же это враг! Какой же это враг этот японскій солдат, который так внимательно и участливо помогает раскурить папиросу русскому окровавленному солдату. А письма японцев! Их письма прямо волнуют и грѣют, столько в них сердца, столько в них задушевности, деликатности и в то же время дѣловитости, не оторванности от жизни. Удивительное здоровое сочетаніе, удивительно многими сторонами здоровая нація. И, быть может, имѣй он дочь, он желал бы чтобы сердце свое она отдала японцу... чтобы навѣрное счастье найти — как тѣ двѣ-три соотечественницы замужем за японцами, о которых он слышал недавно.

И всѣ, и горничная-крестьянка, и юная новобрачная, и другая молящаяся женщина, и старик со своей нѣжно-угрюмой душой, в извѣстные дни когда приходит почта из далекаго облитаго кровью края — с ранняго утра каждый сам не свой, и возбужденный, то полный надежды, то снѣдаемый страхом, отчаяніем, с замирающим сердцем, трепетный весь, и старик еще больше избѣгает окружающих женщин, избѣгает встрѣчаться с ними глазами.

— Почтальоны — наши друзья, — говорят в этом домѣ. — Мученики они. Но для скольких же теперь почтальон — самый желанный гость!

И он, обвѣшан, обложен, шагает он быстро, вѣсти несет на себѣ, вѣсти радости или скорби, и он, чужой, не безразличен к этим радостям и скорбям, потому что и он не чужой, а один из милліардов на землѣ наших братьев.

* *
*

Я видѣла дом. В нем было много жизни, много жизней живых. Теперь он пустой. Пустой он как гроб пустой, который готов и ждет в себя покойника своего.

Молодая горничная-крестьянка плачет теперь у себя в одной из хат необъятной русской земли. Ей муж вернулся с оторванною ногой, но она всетаки плачет, оплакивает увѣчье, не может привыкнуть. Юную бѣлокурую голову новобрачной покрывает креп черный как чернила откинутый назад на спину — вуаль вдовій, густой. Прелестное интеллигентное личико придавлено безысходным отчаяніем. Еще болѣе тяжелым отчаяніем придавлен нѣжно-угрюмый старик, потерявшій всѣх своих сыновей.

— У меня нѣт больше семьи. У меня нѣт больше дѣтей.

И его по цѣлым часам мучило опять странное что-то, побочное.

— Я все вижу, — говорил он себѣ. — Так далеко это все, и кажется что так это близко. Сюда я переношу край тот, захлебнувшійся кровью, сам же перенестись туда мыслью я не могу. К себѣ этот край приближаю духовным взором, потому что над

Тихим океаном я не был. На Западѣ я был, разстояніе проѣзжал, знаю его и в любой западный центр перенестись мнѣ легко.

И опять его умиляет японец: Комура заплакал: „Сколько мук, сколько жертв!“.. Дѣтей лишили они, а он за их сердечность, за обнаруженное ими во время войны великое сердце... он почему-то вспоминал просьбу одной женщины, разглядывавшей раз у них альбом, просьбу — чтобы она очутилась не там гдѣ стоит, а рядом с другой женщиной в альбомѣ, с той которую она считает одною из лучших.

Другая молящаяся женщина тоже огромной печали полна. Невѣдомая рука прислала ей оттуда, быть может, с пространства по которому ручьями лилась человѣческая кровь, — прислала нѣсколько строк, и она их читает, порой, перечитывает и удвоенною печалью переполняется ея горячее сердце.

„Не неради о сущем в тебѣ
дарованіи“.

За этим стояло слѣдующее:

„Смерть под небом.

Могучее Солнце, бог жизни-земли
Меня обволакивает крылом...
Живительным горячим лучом...
Но я молю об одном:
Внемли..!
Меня хоть и праху отдай:
Прахом в могилу ввергай,
На разрушеніе обрекай,
На забвеніе...

Ее же — на жизнь согрѣвай,
На радость ее направляй,
На творчество благословляй,
На безсмертіе...

Разрушеніе, ужас и скорбь, а сверху эта ласка жгучаго солнца! Кровь, вопли и стоны, а наверху улыбка далекаго бога земли. Горе и радость, разрушеніе, творчество, смерть и жизнь...

Армія под водой.

Им головы давит водяная гора,
Над ликами морская лавина бѣжит,
А груди им давит их горя гора,
А в сердцѣ огонь скорби неугасимо горит“.

* * *

— Как странно! — пришлось слышать. — Перед войной много завязалось уз с военными, много браков благословила церковь, и много только еще обручились, третьи, встрѣтив отпор в семьѣ, втайнѣ обѣщались друг другу. Точно запросила и скорбей любовь нѣжная, глубокая, знойная.

— Мода пошла выходить за офицеров. И из аристократическаго рода много барышень выбрали себѣ в мужья офицера, — говорила мѣщански-прозаически одна старая дама.

А тѣ, кто вѣрит в судьбу — говорят еще такими словами:

— У любви тоже своя судьба... Нынѣ настало возрожденіе любви. Всѣ, кѣм тщеславные люди до сих пор тщеславились, занимались, всѣ кто был и есть на виду... обходились и обходятся без любви, жизнь прожили без любви, и умирают с пустыми сердцами, с насмѣшкой над тѣм что в сущности только и нужно человѣку для полнаго счастія.

И горѣла любовь только в сердцах легіона „маленьких“ людей, не всегда замѣтных в отдѣльности, никогда не выносимых рекламой на видное положеніе... В годину войны много любви проявилось под небом Россіи, много сердец всколыхнулось от нависшей над человѣком живой разлуки так мгновенно могущей перейти в разлуку вѣчную и даже в ком только тлѣла любовь легкомысленно примятая суетностью всякаго рода — любовь вырвалась наружу и поверх былого наноснаго мусора разгорѣлась чистым и жарким огнем. Ибо каждая боялась потерять друга единаго. Подруги офицеров, а также подруги многих врачей слезами отдали судьбѣ за любовь — поэтому любовь расцвѣла и созрѣла особенным неувядаемым цвѣтком. И нужды нѣт, что многіе полегли. Они любили, и были любимы. И так происходит и в послѣдующій кровавый період. Политическая борьба, эта самая подлая человѣческая борьба, ибо борьба за власть, за особыя выгоды для себя, борьба у которой средства всегда самыя подлыя — коварство, недобросовѣстность, шулерство, ложь, обман направо, налѣво, крокодильи слезы в глазах, а за пазухой камни и змѣи — свой яд, убивающій лучшія стороны человѣка, безсильна разлить на людей чувства, вытравить из них эти чувства. Потому что теперь и время возрожденія в людях любви.

* * *

Вот карета скорой медицинской помощи. Из меблированных комнат выносят носилки. Молодой мужчина на этих носилках. Лицо его страдальческое, прекрасное. Он в офицерском мундирѣ. Кругом — группки людей — толпа. И в противо-

положность всякой толпѣ, которая глазѣет и равнодушна, и только упражняется языком, теперь толпа стоит молча, благоговѣйно, почти торжественно и каждаго волнует не виданное проявленіе любви человѣческой. Над ним и той, которая обѣщалась ему сильному и гибкому и мощному, только что совершено таинство вѣнчанія и теперь „молодые“ уѣзжают на супружескую, нераздѣльную жизнь, уѣзжают в имѣніе новобрачной. Вот и она показалась в дверях. Юнія — блѣдный цвѣток... почему-то думается, что зовут ее именно Юнія. Ее в самом дѣлѣ зовут Юнія. Кортеж с родными, друзьями поѣдет в этой короткой вереницѣ экипажей, что выстроились налѣво. Она же... всѣ взоры ищут ее, но и от носилок оторваться не могут. Но носилки уже вдвинуты в карету, и скорбное видѣніе навѣки искалѣченнаго на зарѣ жизни мужчины исчезло. Осталась она на секунду под взором толпы, юная, прекрасная, блѣдная — блѣдная и от года слез и тоски, и от счастія, которое для нея на вдвинутых в эту карету носилках. Мелькнула на подножкѣ тонкая маленькая нога, мелькнул в дверцах гибкій тоненькій стан, пригнувшаяся головка скрылась в каретѣ, скрылась с подножки тонкая маленькая нога. Дверцы кареты закрылись, лошади тронулись, и лишь немногим из толпы удалось еще раз в боковое окно увидать это женское личико блѣдное от счастья, но всѣ уже чувствовали тот взгляд любви для которой вѣчность сотворена как и для смерти, любви которая начало имѣет, но конца не будет имѣть, взгляд который и она и он сейчас дали друг другу... и всѣ уже чувствовали и простертыя их друг к другу трепетныя руки и слышали тѣ слова божественныя, единыя, человѣческія, которыя они в эту

минуту прошептали друг другу. И всѣ одним порывом сердца ринулись к исчезавшей каретѣ и десятки рук осѣнили тѣх, которые там остались вдвоем. Кто хочет имѣть счастіе, будет имѣть его и параллельно с слезами и даже несмотря на царящіе кругом ужасы. И всѣ уже чувствуют одно: Нѣт, человѣк создан не для того чтобы разрушать. Безуміе, безуміе человѣков — война...

Любовь истинная, созидающая счастіе себѣ и другому. Такая любовь загорѣлась в сердцах Юніи и офицера ставшаго ей женихом не задолго до войны.

Война, нежданный удар поразившій страну не испугал его. Война — он готов. Быть может, убьют. Он готов. Потерять счастіе которое казалось таким близким и вѣрным, потерять Юнію, которую не успѣл назвать своею — он готов, потому что война, и долг его прежде всего. Но она! Вот когда дрогнуло сердце мужчины. Что будетъ с ней, если его убьютъ! Что будетъ с ней! Она не разлюбит. Она не забудет. Ее не утѣшит ничто. Она его и мертваго будет любить. И всегда, когда они вдвоем, она становилась какая-то особенная, размягченная, поблѣднѣвшая, точно дождь ее оросил, и разгоряченная вмѣстѣ, сжигаемая сдерживаемой страстью и нѣжностью. А когда узнала о близкой разлукѣ, лицо ея стало полно того смятенія и испуга, той рѣжущей муки какая была на его собственном лицѣ, он помнит, от неумѣлой руки дантиста рвавшаго ему зуб цѣлых двадцать минут. Нѣжная, и она не заплакала, но от ея муки опрокинулось сердце в груди.

Потом она как-то сказала:

— Женщины должны быть вѣрны что бы там ни было. Женщины должны послужить родинѣ

хотя бы только своими страданіями. Страданія, как у лучших людей неудачи... которыя вспашут и удобрят остальным людям сердце и душу, и можно сѣять всѣ хорошія сѣмена, всходы будут, и будут обильные.

И гамма тревожных за нее чувств росла, росла и выдвигались уже страшные скорбные призраки всего того что станется с Юніей, с этим цвѣтком как от солнца так дивно расцвѣтшим от этой их друг к другу любви. Не за каждую страшно. Но с ея натурой — ея отчаянію не будет предѣла, если будет убит. И ужас его охватывал не по поводу того что̀ ожидает его на полѣ брани, а ужас охватывал за тѣ внутреннія муки, какія загнѣздятся в груди этой любящей и любимой им женщины. И он мучился, и искал чѣм отвратить от нея муки отчаянія, если будет убит. И не находил ничего.

— Не поссориться-ли? Не довести ли до ея свѣдѣнія что-нибудь такое о себѣ, ложное конечно, но чему она повѣрила бы и что ее разсердило бы, обидѣло. Поссорились бы. И если убьют — легче будет ей перенести.

Но женщина, глубокій знаток сердца человѣческаго, сказала ему:

— Не поможет. С ней — не поможет. Она любит, она знает его, она увѣрена в нем. Главное, она ничему о нем дурному не повѣрит. Надо помнить ея натуру и душу. Легкомысленныя и поверхностныя — с тѣми это удалось бы легко. Впрочем с тѣми и муки этой не зародилось бы в сердцѣ, онѣ легко любят, весело, беззаботно, отчаянію предаться неспособны, часто легко переносят какую угодно утрату. А такія, например, с измѣной никогда не мирятся. Но таким никогда и не измѣняет избранник. Но и то... случившееся там —

за тысячи верст, в обстановкѣ ужасов, общенія со смертью больше чѣм с жизнью, что-нибудь что̀ дало бы ей сердечное страданіе — такая натура именно простила бы.

Эта женщина глубоко понимала Юнію. Крестьянка, которая не простила своему мужу увѣчія, крестьянка, которая изгнала его вернувшагося с войны несчастным обрубком без ног — принадлежит тоже разумѣется не к типу Юніи.

Да, различны люди. Глубоко, непримиримо различны сердца. Одни пьянствуют — празднуют мир, другіе празднуют мир запершись с другом в своем тихом гнѣздѣ и всѣ духовныя силы напрягая на то, чтобы помочь родинѣ подняться из хаоса... Так и во всем. Не одинаковы и мотивы, побужденіе. Три женщины, жоны участников в войнѣ, участіе принимали в бою. Это любовь бросила их туда. На мѣстѣ сидѣть невозможно, истерзаешься от невѣдѣнія что̀ там с любимым человѣком, каждая минута будет тянуться как вѣк, тут ни гранаты не страшны, ничто. А вот одна семью свою бросила, полетѣла туда. Любви ни к семьѣ, ни к тѣм не ищи, психопатія в организмѣ, минутное исканіе чего-нибудь из ряда вон выходящаго. Иныя же дѣвушки и потому туда шли, что жизнь для них красна на мужчинах...

* * *

Вот и еще. Офицер по улицѣ шел. Тоже вернулся оттуда. Грязный, в поношенном всем по улицѣ шел, с женой и с ребенком, рука на перевязи, одна нога неестественно прямо ступает, но обо всем этом забыто, безмѣрное счастье сіяет в глазах у жены: он жив, они свидѣлись, они

опять вмѣстѣ. И спѣшит она к той которая только что повѣнчалась.

— Он жив...

— Но и он жив. И благодарю тебя, Боже, — сказала Юнія.

Эти двѣ пары друг друга поймут.

3.

Я видѣла ужас. Как люди в злобѣ, в изступленіи, поражали и терзали людей. И это было ужасно и безобразно не меньше чѣм ярость циклона. Гул толпы, злой гул который поглащал бы собой и треск ружейной пальбы и пушечные выстрѣлы. Да, тоже все, сдавалось, придает силы ему, этому страшному злобному гулу, разъяренному раскату толпы, как стихія циклон не знающей сама чего ей нужно сейчас, выступающей для того чтобы разрушать, разрушать, разрушать. Еще хуже циклона. Стихійная сила в природѣ свирѣпствует коротко. Сама ли злая сила истощается быстро, быть может, природа, стремящаяся созидать, созидать, созидать, напрягается дабы быстро, быстро сломить злую силу, но все возстановляется быстро, разрушительная сила уходит, уступает мѣсто нужным созидающим силам. У людей же хуже стократ. Предоставленная самой себѣ, разрушающая сила может свирѣпствовать безконечно. И не созидающія силы, увы, выступают обыкновенно гасить, обезвреживать злую силу. У людей разрушеніе прекращается разрушеніем. Разрушеніе моральное — алкоголь, от котораго в концѣ концов толпа валится и становится жалка больше чѣм всякій скот на землѣ. Или ужасающее разрушеніе, уничтоженіе разрушающей силы по-

средством другой разрушающей силы. По подоконникам сухо щелкает точно крупный горох разсыпается. Это стрѣляют винтовки тут возлѣ дома. В рамы точно толчки. Это дали выстрѣл револьверы И с другой стороны то же самое: точно ударяют тараном по желѣзным воротам. Это уже залп — винтовок, порой, пулемет. А вот содрогнулись окна, сотрялся, сдавалось, весь дом, раскатисто прокатилась смерть по землѣ. Это пушка ухнула гдѣ-то невдалекѣ. Так днем. Так и ночью. И ухо уже отличает выстрѣл от выстрѣла. Тот, который пущен вверх, ни в кого (холостой), и тот, который несет с собой кровавую гибель. И в эти ночные часы когда с тревогой поднимала я голову с подушки, заслыша выстрѣл опять и опять, и в эти дни когда погрузившись в свои эти думы я забывала о грозившей опасности и подходила выглянуть в фортку — и раз едва не погибла увидавши вдруг на себѣ пристальный взгляд стоявшаго против окон часового и вдруг очнувшись что кажется он берет меня на прицѣл — и в эти вечерніе часы когда странно успокаивающе дѣйствовал на меня бѣлый снѣг озаренный ночным свѣтом и странно повелѣвал мнѣ все-таки надѣяться на лучшее будущее для родины... одна и та же дума являлась в отвѣт всему ужасному что творилось в странѣ. То лучшее что либо дастся, либо далось никогда и никогда не равно тому злу которое сдѣлано родинѣ, людям. Выучитесь доброе вводить без преступленій. Только тогда — введется все счастье на землѣ, вся правда, вся справедливость, все равенство, вся любовь. Правда, справедливость, любовь, добро, честность, нравственность, любовь к труду, свобода... только это и нужно для созиданія, поэтому всѣ эти идеалы почитаются как

идеалы даже тѣми людьми, у которых дурные инстинкты побѣдили человѣка, но не способны — ибо человѣк создан по подобію Божію — не способны все-таки вытравить из души, окончательно задушить в душѣ придавленное сѣмя, все-таки глухо-копошащійся в душѣ инстинкт, влеченіе человѣка к правдѣ, добру... т.-е. к созиданію. И горе всѣм тѣм, кто бросает толпу на улицу, на разрушеніе, на преступленіе. Гибнут люди. Гибнут совершая разрушеніе. Гибнут не созидая, не успѣвши дать простора сущему в глуби души инстинкту добра, т.-е. созиданія. Ибо шаблон царствует в мірѣ. Шаблон изстари овладѣл руководителями общественных чувств и ума и внушает шаблон — будто жестокое разрушеніе, преступленія ведут ко всеобщему благу, к созиданію счастья для всѣх. И всегда, всегда получается только обман. И опять угнетеніе человѣка человѣком. И опять эксплоатація человѣка человѣком. Если в одном мѣстѣ и исправилось сколько-нибудь — в другом гниль ловко сохранилась нетронутой, а то и новая гниль пріумножила гниль. И горе всѣм тѣм кто к созиданію приступает с кроваваго разрушенія. Силы потерянныя для блага. И Божія искра тухнет с каждой новой жестокостью и зло разливается океаном. Но как в природѣ таинственныя силы благія спѣшат сокрушить, вытѣснить злую силу, все вернуть к равновѣсію и порядку дабы тихо, безшумно продолжать созидать, давать жизнь, а не смерть, — так и в человѣческом обществѣ болѣе или менѣе силы сремятся повернуться к спокойному нужному созиданію. Поэтому от разрушительной силы отворачиваются болѣе или менѣе быстрехонько не только привительство, которое вступает с нею в борьбу, а уже отворачиваются и всѣ

элементы послушные инстинкту созиданія, и сами былые разрушители отворачиваются от разрушительной силы. И сознайте это, и выучитесь поэтому не проходя через шаблон кроваваго разрушенія сразу приступать к созиданію, выучитесь доброе вводить в жизнь без преступленій и крови. И стократ горе всѣм тѣм, которые искусственно вызывают на жестокое разрушеніе во имя чего бы то ни было, тѣм болѣе если это политиканы вызывают ради скрытаго в них хитраго стремленія чужими руками вытаскивать для себя из огня каштаны („жертвы нужны“ — излюбленная фраза всѣх честолюбцев. Но кровавыя жертвы совсѣм не нужны. Нужны жертвы иныя. Нужно вытравить в себѣ и в других жадность, алчность, хищничество всякаго рода, и пороки всякаго рода, вытравить радикально, чтобы и поползновенія в человѣкѣ не осталось измышлять какія бы то ни было маски для все того же в сущности — для отвратительнаго угнетенія и высасыванія человѣка человѣком. И тогда только без обмана и прочно, без возврата к подлостям и грѣхам, настанет на землѣ всеобщее счастье и радость). Искусственно же вызванное только первый момент кроется под идею и в свою очередь стократ ужасно по подлости, ибо сбросив фиговый лист является колько как голая алчность — голый грабеж, перекладываніе денег и цѣнностей отовсюду в свой собственный карман, оподленіе не только себя, но оподленіе и народа и опоганеніе родины. Оголившись от всяких хитро навязанных честолюбцами, политиканами прикрас это „движеніе“ может длиться безконечно долго, так как, увы, плѣняет оно всѣ элементы порочные, корыстные, а таких скверных элементов не одна

сотня, не двѣ, и всѣ они выплывают во всякую годину бѣдствія родины, и всѣ они выплыли и теперь...

4.

Я видѣла души. Онѣ сами разрушали себя. И взаимно разрушали друг друга. Все ненужное, все злое, жадное, хищное, гадкое, низкое что имѣлось в них, люди, носители этих душ, поощряли друг в другѣ. И дошли до цинизма. И ужасны для тѣх кто проник в их сердцевину полную тлѣна. Эти люди — собраты мои по перу. Неужели не сознают и не возьмутся за очищеніе своих душ и поступков!...

„Святая Жмудь“ (Самогитія).

Только природа.

Древніе замки. У ворот — стража: тяжелые каменные рыцари в доспѣхах недвижно стоят, направо один, налѣво другой. Это — Курляндія. Помѣстья — устроенныя, благоустроенныя, замок, парк, дороги, сельскохозяйственныя постройки, породы скота; поля — буйные всходы. Глядишь — удивляешься огромной высокой земледѣльческой культурѣ. Крестьянскія усадьбы разбросанныя там — сям, на них тот же отпечаток высокой культуры. Прямо поразительная забота о землѣ и труд огромнѣйшій — на всем видно — положен. А также — умѣнье. И что ни возьмешь. Лѣсное хозяйство также корректное, ведется правильно, в лѣсах повалы и сухія сучья вывезены, болота всѣ высушены... И только печально что множество таких, упорно трудящихся над землей, сидит совсѣм без земли, как печально смотрѣть на сапожника, который всю жизнь обувает чужія ноги, если его собственныя ноги остаются босыми всю жизнь. Ни деревца, однако, вокруг курляндских усадеб не видно, ни курицы, порой ни собаки, но богато, зажиточно, хотя далеко не так как во Франціи, притом там все дышет

довольством и жизнью, а здѣсь как-то мертвое все, точно гроб выглядит все... Кое-гдѣ в сторонѣ точно сокровище сложена кучка камней, поля же чисты как гряды у садовода. Валуны, нанесенные когда-то в смежную Жмудь, внѣдрялись в землю конечно и тут, но их давным давно слѣда не осталось. И если землепашцу попался камешек, он его аккуратно перенес в ту кучку которая тоже поражает бережным к ней отношеніем. Чего мало, то впрочем дорого и вездѣ. Здѣсь мало камней. Но в груди людей много их теперь. Ибо это період волненія латышей. Люди встрѣчаются, латыши, с ужасно теперь злыми лицами, злобно-жесткими, как камень твердыми своим выраженіем, но камень пропитать ни хорошем ни дурным невозможно, их же сердца пропитаны непримиримой ненавистью к обладателям замков, у которых на стражѣ тяжелые каменные рыцари в латах, художественно мало ушедшие от изображеній языческих идолов... И эта ненависть засѣла и в глазах, и этими глазами встрѣчные латыши смотрят теперь на все, и на всѣх проѣзжих, даже на нас, хотя видят еще издали, и по кучеру и упряжи, и багажѣ на длинной жмудской телѣгѣ, позади экипажа, что это не бароны ѣдут к себѣ, а ѣдут туда, дальше, дальше, за границу Курляндіи, в смежную тоже трудолюбивую, тоже упорную Жмудь, но и благословенную этими своими уголками, гдѣ кажется злой порыв в человѣкѣ и в толпѣ замрет лишь только вспыхнет в душѣ, в злодѣйство не перейдет (Казимир — патрон Литвы — хранит сердце от ожесточенія, руки от преступленія, говорится в народѣ). И всѣ они, повстрѣчавшіеся несчастные бѣдняги латыши, или не смотрят теперь разъѣзжаясь на дорогѣ, или смотрят ненавистни-

чески, и пронзительно, прямо в глаза, и только изрѣдка, ближе вглядѣвшись, смягчает лицо и привѣт посылает нам латыш, и поклон, доброжелательное напутствіе.

А при дорогѣ мнѣ пока глядѣть особенно не на что. Березки стоят, в кринолинах будто стоят. Придорожный ивняк искусственно воздѣлан, подобен больших, больших размѣров ежу. Вербы с полным сѣменем какими-то шорсткими кажутся, шероховатыми, жесткими. Еще деревья, приземистыя и куцыя, со снесенной прочь кроной, но с искусственно аранжированной верхушкой подобной плотной цвѣтной капустѣ. Но все это промелькнуло, исчезло, осталось уже позади. Впереди вдали уже виднѣются курганы — курганы доисторических времен, виднѣется Жмудь, сѣверная часть драгоцѣнной, дивной Литвы. Сердце вздрагивает от счастья. Но и сейчас замирает. Эти ужасныя мѣстечки через которыя проѣзжаем и в которыя въѣзжаем, чтобы покормить лошадей! Как там прожить цѣлую жизнь, врачу, например, вообще интеллигенту живому! Порой вид кругом чудный. Но эта ужасная грязь и эти ужасныя человѣческія жилья, в которых все больше как несчастные черви копошатся несчастнѣйшие евреи. Иногда это какая-то нора из грязных досок, которая прилѣпилась к обрыву, прижалась к горѣ. И таких нор множество, порой чернѣет от них. И жуткія мысли приходят. Может быть оттого так много всяческих ужасов — что эти норы кромѣ всего еще скучены и давят, распрямиться людям негдѣ, люди издергиваются, и вырождаются. Ѣду, и вспоминаю, как дѣти еврейскія по всей линіи выпрашивали у пассажиров прочитанныя газеты, чтобы торговать этими старыми

газетами, у себя в мѣстечкѣ продавать этот хлам. Но я не хочу сейчас ни думать обо всем этом ни говорить, — я ѣду для отдыха, я сама страшно измучена, и хочу отдыхать и возстановить мои физическія силенки: намучили меня на-смерть удавы-душители, беллетристическій цех, сколько натерпѣлось лишеній и прямо голодовки из-за них, проклятых навѣки! А затѣм всѣ эти событія послѣдняго времени! И мои глаза ищут усладиться Божьей природой... Вот впереди прелестное озеро. Оно между двумя горами. На одной опять мѣстечко, и церковь видна — косцёл, и домик ксендза, какого-нибудь жмудина, крѣпкаго энергичнаго великана, который по воскресеньям с амвона энергично громит свою паству, виден и длинный черный „магазин“ (амбар с общественным крестьянским хлѣбом) и ущелье — гора бѣжит вниз и опять тянется вверх, и тут над озером евреи в свои осенніе праздники „грѣхи трясут“, говорят. Тут и корчма еврейская, постоялый двор, куда мы как-раз и въѣзжаем, ибо и лошадкам и нам всѣм страшно хочется ѣсть.

И пока корчемница ставит для нас самовар, я разсматриваю все, начиная с „чистой“ горницы, начиная с этого огромнаго бумажнаго цвѣта, который пришпилен в лѣвом углу под потолком, разсматриваю и семейныя фотографіи, очевидно, владѣльцев корчмы...

Наѣлись, напились чаю и молока, и дальше — в дорогу... ближе, ближе к божественной красотѣ.

* * *

Вот уже попадается — дѣти гусей пасут, дѣти свиней пасут. Значит, сейчас проѣдем жмудской деревней. Плетни из косо положенных досок, и у каж-

даго дома цвѣты. Некрупныя красныя мальвы, маргаритка, и еще червонный цвѣточек как крохотная ягодка. Но любимые цвѣты — лилія, хотя и желтая она тут. Даже на ставнях изб цвѣты, нарисованы на них горшки с цвѣтами. Цвѣты здѣсь культивируются и для церковных празднеств-торжеств, женщины и дѣвушки вяжут букеты. В саду же у жмудина любимое Божіе деревцо, мирт еще и, разумѣется, рута. Даже кухарка в имѣніи куда ѣдем имѣет свой садик, близ окон и стѣн кухни. Тут и цвѣточков гряда, тут и куст бѣлой малины, тут и фруктовое деревцо, тут и сосенка, но какая-то в углу выросла изломанная, ободранная. А рута жмудину нужна для многаго. Из руты плетут вѣнки для покойников. Рута как и верба висит над дѣвичьею кроватью. Вѣнок из руты жмудинки святят в косцѣлѣ и хранят для коров — через него молоко процѣживают жмудинки. В грозу руту бросают в огонь, чтобы разогнало грозныя тучи...

Но „святая Жмудь“ вот она за что. Вездѣ тут встрѣчаешь кресты и каплицы, часовни, обыкновенно — четыре дерева посажены в четыре угла обнесенные забором, посрединѣ выставлена капличка. А в окнах изб и домов статуэтки Богоматери и святых. И при дорогѣ кресты, маленькіе кресты, большіе кресты. Малый крест при дорогѣ либо у дерева — значит кто-то умер на этом мѣстѣ и здѣсь у дерева погребен. Вот и лѣсом ѣду: крест вырѣзан в самом деревѣ, в корѣ, а другой, деревянный, малый, водружен тут же в землю. Это кто-нибудь здѣсь погиб, убит ли был, сам ли лишил себя жизни. А вот и среди поля при большом, высоком крестѣ тоже водружен маленькій крест. Это значит то, что тут при крестѣ кто-то умер.

Быть может, шел, изнемог, быть может упал, но дополз до креста, и... отдался волѣ Распятаго.

Да, забылось все, очарованіе началось. Пыльная дорога как на Литвѣ, и привѣтствуют нас при дорогѣ деревья. По тому как деревья колышатся, видно холодный ли вѣтер. Сегодня как-раз для нашего пріѣзда и вѣтер блаженный. А кругом поля, а за полем кой-гдѣ могилы, камнем обнесенное кладбище, внутри снова каплица, а на горизонтѣ холмы... и это вовсюду влитое какое-то особое обаяніе, которое и восторгает, и умиляет меня. Святая Жмудь! Край, сотворенный для труда, для молитвы. Быть может, злыя чувства есть и здѣсь. Ибо и здѣсь — богатые и бѣдные. Но холодные будто и нѣсколько понурые жмудины... быть может, эта прелесть разлитая всюду рукою Творца не дает дичать душѣ этих людей так упорно трудящихся и не изгаженных повальным пьянством.

Вот уже высокій гористый берег рѣки. Вот уже видны исполины-деревья имѣнія... Вот сейчас нам переѣзжать через Минію. Не мостом. Прямо бух с холмистаго берега в глубокую воду... т.-е. спускаемся в переѣзд через рѣку песчаной тропой, но на серединѣ глубоко, порой под брюхо коней, и заливает в коляску. И надо подобрать высоко ноги и юбки. А в водѣ уже забурлило, и тревожно и радостно, и зашумѣло от всей этой ухнувшей в воду машины, экипажа нагруженнаго нами, неистово-шумно всплескивает вода из-под колес, из под копыт лошадей, во всѣ стороны плещет, бурлит, а лошади рвутся вперед, из глубокой воды поскорѣй. Вот, вот... и коники выплыли, вынесли, снова дружно, ретиво взбираются на берег высокій...

* * *

Jak na Żmudzi wszystko ujdzie. Эта пословица, добродушно сложенная жмудинами о себѣ же, говорит, что Жмудь — простая, нетребовательная сторонка. Это может быть потому, что Творец надѣлил ее красотой, очарованіем, прелестью и человѣк здѣсь в этой красотѣ омывает душу свою, и в этой же красотѣ черпает неутомимую охоту трудиться и стойко переносит лишенія, для достиженія матеріальных благ жалѣет похищать чужія жизни либо свою, потому что Творец разлил кругом красоту, очарованіе, прелесть из которых уходить больно, из которых больно и других выхватывать, в могилу бросать...

Святая Жмудь! Край сотворенный для труда и молитвы. Эта зелень вездѣ утром ни с чѣм не сравнимая, сочная, ослѣпительная, божественно-зеленая. А вышла в поле, безбрежная нива — растет, колышется... обдает меня вкрадчивый шелест высокаго жита, вкрадчивый, осторожный, таинственный... а зеленый овес, листики вверх, зернышки вниз, тоже младенчески волнуется... а жаворонки от веселья взлетѣли высоко, высоко и звенят и поют с высоты поднебесной, и за добычей летят для гнѣзда. А внизу воробки рѣзвятся. Тут же и старожил Жмуди, старѣйшій над птицами — аист — прилетѣл и низко, низко над моей головой пролетѣл. Тут и еще, и еще пернатые летят и поют. Безконечный концерт. И крики чаек остро несутся над полями направо, налѣво. Сейчас впрочем эти крики сливаются в испуганный хор. И хитренькій. Дѣло в том что с нами Діанка и Нэро, двѣ чудныя собаки, чудныя для человѣка,

но чудовища для испугавшихся птиц. Эти чудные псы, особенно дама, только что от жары дышали как паровоз, и вдруг зарѣзвились, вздумалось им полетѣть в погоню за чайкой. И чайки отвлекают их от своих гнѣзд... дѣтенышей, летят всѣ дружно туда, подальше от птенчиков, подальше от гнѣзд. И глупыя собаки надсаживаются, несутся за чайкой. А тут и заяц гдѣ-то присѣл, озирается на собак, ушки наставил, припустил, убѣгает во всю мочь, тоже точно чайка летит. А псы уже за ним во всю прыть (но иногда эти чудные сумасброды безобразно рѣзвятся. На одной из прогулок мальчик лѣт двѣнадцати, испугавшись больших псов еще издали, как бѣлка в один миг очутился на деревѣ, а мы не успѣли схватить их за шиворот и они бросились к дереву и снизу как на котенка разлаялись на мальчугана. Уж наказали же мы их за это!). А в синевѣ небесной бѣлыя молочныя облака плывут, плывут... и царственное солнце грѣет и жжет, а на горизонтѣ холмы как прозрачным туманом одѣты, в бинокль чарующее что-то, эти холмы. И чудно-тихо кругом. Только мы и Творец всю эту красоту сотворившій для нас, и — чтобы душа моя отвлеклась от дѣяній людских и отдохнула от скорби здѣсь, в этом плѣнительном краѣ, сотворенном для труда и молитвы. И — очарованіе без конца. И цѣловать хочется землю. Среди поля хочется приникнуть к землѣ и цѣловать, цѣловать без конца... Но вот приближается трапеза природы. На горизонтѣ туча всплыла сиво-голубая формы моря, формы высокой волны, и солнце все уже тучами себя одѣвает. Дождь тихій и мягкій стал ложиться на ниву, и стали недвижимо и деревья, и только что колыхавшаяся и ше-

лестившая рожь, и зеленое поле овса. Затихли и мы, мгновенно проголодавшись, восторги только нѣмые остались в душѣ. И тоже, собравши собак, отправились и мы к нашей трапезѣ. А послѣ обѣда опять — в простор, в поле, в лѣса, в очарованіе...

* * *

А вот я у рѣки. Тут тоже благодатная, чарующая тишина. И в этой тиши моя красавица-Минія струится, и катит свою зыбь. Зыбь рѣки — фигуры с гранями и блестки, все это зыблется вѣтерком, радость дрожит, играет в сердцѣ — смотрѣть на все это. И все это должно кончиться, когда придет время нам возвращаться в Москву. Проклятый, триклятый русскій писательскій цех!

Над рѣкой, на скатѣ зеленом, нѣмецкія могилки — нѣмецкое маленькое кладбище грѣется на жмудском солнцѣ. Здѣсь землѣ предаются прусскіе литвины, которых в нѣкоторых жмудских деревнях пограничной полосы довольно много, тоже крестьяне, и крестьянин жмудин называет их „пруссаками“. Над могилками гряды холмов различных рисунков, ибо весь высокій берег рѣки засѣян и засажен и пестрит безчисленными узкими полосами. Это — полосы крестьянскія, и надо видѣть сколько неутомимаго и страшно тяжелаго труда кладется жмудином чтобы проложить борозды, вспахать эту землю не всегда поперек, но и часто поднимаясь с плугом к верху холма. А внизу опять же дружище-аист хозяйничает. Протатакает над рѣкой — „Та-та-та-та...“ и полетит, полетит... опустится, сядет гдѣ-нибудь на лугу, похаживает по лугу. Кулик пронесется над глубокой рѣкой —

„Сзій-сзій...“ А возлѣ меня норы рѣчных ласточек в берегах милой рѣки, но пустыя, увы — покинули гнѣзда, тоже умчались в простор милыя ластоньки. И ручейки гдѣ-то журчат. И слушаешь их точно тоже что-то живое. И пѣна у Миніи так же хороша как в южной Литвѣ. Это вовсе не пузырьки, это чистыя хлопья, бѣлыя, бѣлоснѣжныя чистыя хлопья.

Море под солнцем прекрасно. Еще вчера я ѣздила к морю, и ходила над морем, над Балтійским, и видѣла могучесть его красок, могучесть величавой морской зеленой волны, в гребни которой устремлялось солнце всѣми лучами, и слушала величественный шум, подобный шуму могучаго лѣса, могучаго вѣтра. Но и здѣсь могуче-хорошо палит солнце воды рѣки, и рѣка сладострастно-тихая величаво катит и катит у наших ног и щеголяет лучистым убранством, пока могучему солнцу угодно... И не могу насытиться. И хочется еще и еще смѣшаться и с этой водой и с этим сверху солнцем могучим...

Но вот и непрошенныя тучи нагнало. И сейчас солнце велит вѣтру разогнать их, разсѣять, и снова лучит на мою красотку Минію.

Но случается — туча легла, и потемнѣла рѣка, насупилась моя красавица-Минія. Блеск и краски потухли, потускнѣла вода, засѣрѣло и все, и луга, и холмы, дали станут печальныя, печальныя, вот-вот всюду слезы польются. И тут вдруг непріятна становится Минія: понесется стремительно своими водами, заплещется нервно о берег, потом неистово вздуется, подымется валом сердитым... и выкатит с этой грозной волной и вынесет, вышвырнет на берег бревно или еще что другое что́ гноилось невидимкой на днѣ.

А вечером опять неизмѣнно прекрасна. Меланхолическая, задумчивая становится. И все что за ней, за рѣкой, становится вечером задумчивым, меланхолическим, невыразимо-прекрасным. Особенно когда нависают сухія тучи... Чудесна Минія и там, гдѣ воды ея, зеленыя, бурныя, вѣчно кипят и клокочут. Мост без перил, страшный, весь в щелях, и под ним неустанно клокочет красавица Минія, великим гнѣвом гнѣвается на кучи камней наваленных в ея ложе.

Но я на Минію люблю смотрѣть и издали. Лежать в саду и смотрѣть. Дом и сад на горѣ, в саду, против того мѣста гдѣ я лежу на травѣ, окно на мою чудную Минію, издали такую смиренную, миніатюрную, вѣтки деревьев раздвинуты и сплетены наверху как над круглым окном рама. В саду тишь, кругом тишь, только наши кругом, за Минией теплый берег высокій, на небѣ облака цвѣта лебединых крыльев и как синій дым карабкаются к ним и переплетаются просвѣты. Вот сейчас голубой крест образовался из синевы. Вот два облака друг против друга, точно напѣтушились два пѣтушка... Чудныя краски вездѣ, чудная зелень, такая зеленая, такая бархатно-темная, такая сочно-свѣтлая. Чудный аромат чуднаго вѣчнаго воздуха и жалкеньких преходящих цвѣтов. Сѣро-розовые, грязновато-бѣлые, желто-красные... тут и умирающая бѣлая лилія, а птицы радостно заливаются, и только ночная совочка жалобно стонет, кричит, а деревья, могучіе исполины, божественныя, великолѣпныя деревья величавыми кронами — кронами-шатрами — не ушли еще выше только потому, что небо их не пропускает вперед. Чудно! Чудесно! И — кажется — смерть не возможна ни для кого

и ни для чего что̀ прекрасно. И жалко, жалко иссохших вѣтвей... жалко, жалко людей, сердца которых не тянутся к Небу как эти деревья, не тянутся к природѣ как я, друг всего что прекраснаго есть во вселенной, а тянутся, тянутся... к деньгам, к порокам, к злодѣяніям, и иссыхают, и иссыхают как тѣ иссохшія вѣтви... Тишь. И только движутся по небу тучи и тучки и только онѣ нарушают эту божественную звонкую тишь. И сидишь как очарованная. И каждый день возвращаешься к божественной красотѣ, и каждый день чувствуешь что живешь, хотя однообразно с виду, но однообразіе это дивное, чудное, богатѣйшее. Все здѣсь так просто и так полно очарованія, прелести. И видѣть, и видѣть, еще видѣть сотворенное Богом, смотрѣть и смотрѣть — чтобы сердце играло, чтобы благословляло и славило Бога, чтобы гимн Творцу пѣло за все, за природу, за жизнь, за любовь, за душу которая не согласна и не согласна вбирать в себя что-либо противное добру, красотѣ... И птицы небесныя каждый день дают мнѣ концерт, притаившись высоко-высоко в кронах исполинских деревьев. Тут неутомимый зяблик, тут и желна̀, тут и десятки других которых никогда и не видишь, тут и щегол который поет как-будто похоже на соловья, но есть только щегол. И только крик гусей донесшійся со двора всегда непріятен, потому что всегда припоминает он осень: пора гусей кричать, это — осень.

Да соловья, жалко, не слышно уже. Но вѣдь соловью пѣть только до св. Вита. Такова ему кара на вѣчныя времена. И соловей свято исполняет запрет пѣть еще и потом. Народ и легенду об этом имѣет. Когда-то давно, давно Бог обратился

к Виту с вопросом: „Скажи ты мнѣ, Вит, каков урожай на землѣ?“ Бог громко спросил. Но соловей заливался во всю и Вит слышал голос Господній, но вопроса не разслышал. „Я спрашиваю, каков урожай на землѣ в этом году?“ — повторил Бог еще громче. Вит вытянул шею по направленію к Богу, и ухо к Нему повернул, и даже ладонь сзади к уху приткнул как-бы стараясь ухо к Богу приблизить. Но соловей заливался. И опять не разобрал Вит о чем спрашивал Бог. И Бог разгнѣвался: „Słowik, cyt! nie słyszy Wit“. Соловушка в страхѣ мгновенно глазки открыл — ибо с закрытыми глазами поет соловей — и мгновенно в страхѣ умолк. С тѣх пор каждый год умолкает в этот день — печальный для него, радостный для Вита с которым бесѣдовал Бог. День этот так и назвал народ днем св. Вита.

И сидишь как очарованая, и как очарованная встрѣчаешь закат. Вот уже полоски тучки, отрѣзочек, краешек озолоченный солнцем, и уже трепещет сіяніе над сосновым прилѣском, и уже роса на всей густѣйшей травѣ, также и в этой странной травкѣ, которая свою росу носит в себѣ и на ночь сжимается, замыкается, складывается вѣером, утром же развернувшись опять долго, долго сверкает каплей росы. И я спѣшу проводить свѣтило ко сну. Я спѣшу из сада во двор усадьбы, туда, в тот уголок, откуда мнѣ опять видна и Минія, и высокій берег рѣки, и великаны деревья видны, царственное украшеніе этого помѣстья. Раньше чѣм закатиться солнце зажигает всѣ деревья усадьбы. Как в огнѣ стоят мои великаны-красавцы, багряные, красные, как будто горят, и стѣны зданія позади этих деревьев как будто горят. И долго

еще послѣ заката лучатся деревья, облиты огнистым сіяніем. Кругом уже настилается мрак, а вершины красавцев все еще свѣтятся, золотятся. Что за наслажденіе! Не оторвутся глаза. А на небѣ тоже — ни с чѣм не сравнимая игра цвѣтов... медленный перелив золотисто-желтых красок в ярко-красныя, в блѣдно-красныя постепенно... в молочно-бѣлыя наконец, дивно чистыя, и дивно долго послѣ заката держится на небѣ эта необыкновенно чистая бѣлизна, а воздух послѣ заката так живительно и бодряще льется в грудь человѣка.

* * *

Таких деревьев как в этом имѣніи на Жмуди — нѣт нигдѣ. За много верст от имѣнія всѣ эти деревья как гигантскій букет уже красуются на горизонтѣ — видны. Одно, два таких деревьев встрѣтишь, пожалуй, нерѣдко, но по одиночкѣ, и это уже будет заповѣдное дерево и считается рѣдкостью и как рѣдкость показывается и бережется как рѣдкое украшеніе. И все таки это не то. А там эти маститые великаны головокружительной высоты. Высота их — высота самой высокой башни, другого сравненія не подберешь. И таких деревьев не одно и не два, а вся усадьба полна такими несравненными красавцами-великанами. Кажется, за уголочек под купой этих несравненно-раскидистых великанов отдал бы всѣ дачи на свѣтѣ с придачей и городов. Боготворить можно эти деревья и руки молитвенно сложить пред ними, стать пред ними как на молитву, Творца благодарить за этот размах и в высь и в широкое пространство данный этим красавцам-великанам, которые и сами

непрестанно молятся к Небу: и когда приходит весна и эти деревья служат скопу гнѣзд сотни скворцов, что еще до соловья заводят неумолчный концерт, и концерт свой заводят скопом собравшись в вершинѣ самаго высокаго великана; и когда могуче раскидистыя и свѣжія тихо стоят, благоговѣйно пред этой данной им вѣковѣчной жизнью; и когда божественно-густой листвой интимно шелестят в бесѣдах друг с другом; и когда медлительно раскачивают гигантскими вѣтвями своими; и когда растревоженныя враждебной злой силой поднимают борьбу, злой силѣ противопоставляют свою вѣковую крѣпость, могучесть, раскидистость, высоту и шумят всѣми вѣтвями, как взволнованное море шумят; и когда с неба спадает ливень, и деревья, сдается, ложатся по землѣ, словно падают ниц, благодарят за пышную трапезу для земли... И не удивительно если в языческія времена обоготворяли такія деревья... И теперь как на что-то неприкосновенно-драгоцѣнное не только мы смотрим на этих несравненных красавцев. Жмудины тоже почитают их восторженно. Кому-то понадобилась для рыбной ловли в Миніи крѣпкая свая и это жмудин-батрак остановил святотатственную руку покушавшуюся отрубить вѣтвь от чуднаго развѣсистаго дуба исполинской высоты и такой толщины, что не обхватить его двоим мужчинам высокаго роста. Еще удивительнѣе — что и клен тут имѣется такой же необычайной толщины, никак не обнять его даже двум человѣкам. Дуб, липа, клен, тополь, ясень... и их не одно и не два, они, великаны, стоят купами, рядами... вся усадьба полна ими, необыкновенными, великолѣпными, невиданными нигдѣ. И мой Флорентій, пробуя свою ловкость и

гибкость, перебрасывал камень через липу, самое высокое из всѣх этих высочайших деревьев!.. Да, у деревьев, как у людей — есть красавцы, есть и красота зауряднѣе, но все же еще красота, есть наконец и дурнушки. А здѣсь сплошь красота и отдалившись от дома. И осина уже не с поперечными вѣтвями, а вся, могучая, понеслась в небо. Дуб, все же король деревьев, с распростершимися вѣтвями которыя, каждая, есть не вѣтвь, а цѣлое дерево. И ясень, менѣе могучій, но болѣе свѣтлый. И тополь раскидистый, но точно каплю развинченный серебрится в нѣжной нѣгѣ своей. И липа вся в цвѣту, отчего болѣе темныя листья кажутся свѣтлыми. И сумрачный бук, который по крѣпости идет сейчас за дубом, и такой нелюдимый, слишком собой занятый. И темный клен с такими элегантными издали темными листьями. И божественная бархатно-зеленая сосна с сочными темными иглами. И элегантныя березы несравненной красоты, как блестящая женщина косы свои свѣсили на солнцѣ до самой земли. Только на Литвѣ и есть эти ярко-здоровые береза и дуб, вѣтви которых точно свѣсились до самой земли. Вся долина сверкает красавицами-березами. Как серебро блестящія, как тополь стройныя, так элегантно, красиво прянули онѣ в высоту и такія темпераментныя и сочныя. Я безумствую от наслажденія. И развѣ возможно чтобы люди убивали посреди этой святой благодати! Вон рой мошек рѣзвится, живой столб почти под крону высокаго дерева, то разсыпаются в воздухѣ, то снова всѣ вмѣстѣ, столбом повисли вдруг мошки... И все пусть живет, кому дана жизнь. Ибо жизнь надо творить, а не смерть давать. Кто способен давать смерть, тот утерян

для жизни, не годится для жизни. Святая это правда, всегда так было и всегда так пребудет...

А вот еще красота. Можно подумать, эти деревья — липа, королева по тѣни. Но это опять клен, густой, густой, весь в сѣменах, каплю желто-зеленый уже, пышными шатрами могуче раскинулся. От вѣтра верхнія вѣтви серебрятся на солнцѣ. И тяжело вѣтру колыхать эти густые, пышные клены, сближать и разъединять вѣтви красавцев-богатырей. А облачка над ними разсыпались по голубизнѣ, как густое молоко разлились. И как же не любить жизнь! И все это. И человѣка. Здѣсь-ли сидишь, заберешься ли в лѣс, в чудный сосновый лѣс гдѣ и молодая сосенка дивно прелестна, или шагаем межами полей, справа и слѣва укрытые высокою рожью, — от восторга, от полноты душевной безсознательно повторяешь даже какой-нибудь пустячок сказанный кѣм-нибудь из нас, потому что грудь ширится в невыразимом блаженствѣ, а в сердцѣ дрожит безбрежная сладость, во всем существѣ разливается счастіе, обожаніе жизни и звенят чудныя мелодіи еще без контуров. Одна только мысль расхолаживает порой этот восторг при видѣ чудес природы, деревьев хотя бы. Деревья — все для себя, вот их девиз. Каждое дерево живет для себя, исключительно для себя. „Все для меня“, так и дышет порой от каждаго деревца. Но вѣдь и человѣк теперь эгоист. И у людей нѣт еще чтобы каждый жил для себя и каждый жил бы и для других, по возможности для всѣх. И только в рѣдкіе моменты человѣк как немногіе рѣдкіе люди всю полноту бытія и счастія искренно соглашается дать в удѣл и всему человѣчеству...

И вездѣ здѣсь хочет жить, вездѣ ищет жизнь зародиться. Земля для поля не годна, и уже лѣсок нарастает на ней, тополики вынырнули из нѣдр земли, сосенки и елочки в зачатіи торчат колючеными лилипутами, или березочки-индюшечки как барышни-подросточки тянутся на свободу. И печально, печально послѣ этого набрести в лѣсу на громаду сосен опаленных во время пожара, на всѣх этих почернѣвших красавцев которых безжалостно-аккуратно облизал враг — огонь.

О, и мысли о смерти бывают. Вот — ночь. С сумерками настилается холодок. И вздымаются тучи, зубастыя, с какими-то зубьями тучи. И окраска их все еще розовая послѣ заката и какая-то капельку жуткая. И сова невидимкой кричит и кричит. За рѣкой, за холмистым берегом жизнь в этот час как-то слышнѣе. Оттуда, точно все-же из огромнаго далека, глухо несется лай собак, иногда человѣческіе голоса долетают, порой доносится пѣніе крестьян-жмудинов идущих с работы, потом все темнѣе становится, тѣни все шире ложатся и кругом все тише становится. Вот стихло и вовсе. Потемнѣло и стихло. И когда все затихло, особенная меланхолическая тишина простерлась оттуда. И все заговорило о смерти. И этот печальный хуторок на лугу... И этот за рѣкой берег высокій. Там, за рѣкой, явственно заколыхалось, распростерлось по всему небосклону что-то смутно-печальное и безконечно пространное, подобное безконечному савану уготованному для многих и многих живых. И сдается... эта цѣпь холмов точно тысячелѣтіями вбирала в себя страданія, и эти страданія в них

застывали, а в эту ночную годину снова растопляются в слезы и льются, разливаются... и небойкая Минiя под холмами зарѣчными, это — слезы, всѣ слезы которыя стекали с цѣпи холмов пока вздули чашу слез до размѣров полноводной рѣки... А в поле уйдешь — рожь почти бѣлая в безлунную ночь и опять тишь, широкая, безпредѣльная тишь, только вѣтер обмахивает уснувшее все. И рожь стоит — говорит: я назрѣваю, я хлѣб для людей, ѣшьте, живите, покуда умрете. Но к счастью беззаботный вѣтер свое шепчет кругом, быть может стремится мысли о смерти развѣять. И рѣзво бѣжит по деревьям, и развлекает... из каждаго дерева извлекает особые звуки. Осина громаднаго роста — шум ея листьев вблизи — как крупныя капли дождя падают на них. Тополя великана-красавца дробный дождь будто — шелест листвы; клена листва — это тренiе чистаго шелка... А в лунную ночь мѣсяц прорѣзанный тучей глуп и забавен; а очистился — облил бѣлыми лучами дерево какое возлюбил, а дальнѣйшiя сиротливо утопают в тѣни. И тучи плавают в небѣ. И опять блаженно, сон не идет, долго не идем мы ко сну. А в концѣ iюня в чудном ночном знойном небѣ половина луны торчала на небѣ как облачко, только правильное, законченное, лунообразное. И я этот пустячок тут же и отмѣтила на припасенной в моей сумочкѣ министерской, толстой, бумагѣ.

* * *

С половины iюля птицы уже не так щедры на пѣсни: в природѣ старость надходит. Как в Великороссiи уже неистовствуют вороны. И с ними осень

крадется, крадется. Подкралась — птицы и вовсе начинают молчать. Только косач не умолкает в деревьях: „Чу-ця, чу-ця... цу-цу...“ — тянет косарь. И осеннiй вѣтер гудит. Министерская бумага опять на колѣнях:

Мои красавцы шумят —
Грусть разливают в душѣ,
Мои исполины гудят —
Жуть приливает к душѣ.
Опять город немилый,
Город черствый, постылый,
Город богатых и бѣдных...
Равно поэту враждебных.

Шумит и гудит сад, и лѣс, и двор, идет шум и гул и с моря. Море верстах в двадцати, и шум его слышен порой. И в трубах уже вѣтер осеннiй, по-осеннему поет вечерами — о-о-уй... у-у-у. Но не жутко, блаженно. Остановила бы время, чтобы еще и еще купаться и в Минiи и в воздухѣ жмудском, и во всѣх красотах Литвы сотворенной для труда и молитвы, и чуднаго счастiя и отдохновенiя моего, русской писательницы, на своей родинѣ обрѣтшей только удавливанiе и втаптыванiе в преждевременную могилу. Да будут за меня преданы презрѣнiю писатели нашего времени будущими писателями, если лучшiе люди наконец народятся в моей жестокой странѣ... Но мы спѣшим воспользоваться послѣдними днями на лонѣ природы. И все так же цѣлыми днями пребываем на воздухѣ. В ржаное поле идем, которое все, сколько глаз обнимет, заставлено копнами, но только без шапок. Идем и к овсам, все еще прикрѣпленным к землѣ. И на березнячок поглядишь, уже не зелено-зеленый, а сѣро-зеленый, как он сере-

брится направо, налѣво и как вѣтер заигрывает с ним, точно танцовщица со своей коротенькой юбкой. И на пастбище взглянешь поросшее яловцем, ягода котораго, зимній корм для птиц поднебесных, станет синяя как черника. Или пойдешь по дорогѣ в косцёл, версты за три, гдѣ тоже есть лѣсочек, а в нем множество под ногами маленьких... газетистов, т.-е. ни на что не годных грибов. Или ближе заберемся — на насыпанную гору, на Шведскую гору, курган, по преданію — шведская фортификація. Здѣсь всегда вѣтер гуляет перед дождем. И зяблик кричит — на дождь — „те-те-те...“ И воробушки внизу чирикают особенным звуком — тоже на долгій дождь, хотя может быть и не сейчас разразится непогода, говорят трудолюбивые жмудины. Еще есть примѣта у них: гуси если купаются — тоже дождь предвѣщает. А с кургана спуск — прямо к могилкам. Это — старое, заброшенное католическое кладбище обнесенное камнем и все заросшее травой. Но здѣсь два ветхих огромных креста. На них Распятіе. На них над Распятіем Око Господне, и лучами расходится во всѣ стороны. Здѣсь по-моему хорошо лежать послѣ смерти. Но только чтоб лицом к усадьбѣ — чтобы вѣчную вѣчность смотрѣть на божественныя деревья... И ходишь, и шатаешься пока в усадьбѣ не заговорил колокол, всѣх алчущих созывающій насыщаться вечером, утром, в полдень и среди дня, повѣшенный впрочем только для рабочих. Klingeln sie - klingeln sie - klingeln sie... верещит колокол странно назойливо по-нѣмецки. Но граница близехонько, многое покупается в Пруссіи, и колокол этот есть нѣмецкій продукт, а с ним навязалась и Жмуди нѣмецкая рѣчь, какіе-то нѣмецкіе звуки. Колокол

старается, из всѣх сил верещит, призывает, а мы заканчиваем свое, т.-е. обзор. По пути, в запущенном старом саду со старыми кривыми яблонями, грушами, изолированы больныя коровы. А на огромнѣйшем дворѣ царство прочаго живого в потребу людей. Царство особенно птицы домашней забавно. Чего только тут нѣт! Гусенята с пушистенькой шейкой. Утки которыя страшно шумливы в прудѣ. Черно и сѣро-крапчатыя куры, перловки, с верблюдообразной спиной. А вот смѣшная пара, курица и пѣтух — клюв красный, сильный, красныя подвѣски в родѣ банта, а головки крохотныя. Они вѣчно важно расхаживают в травѣ и очень неинтересны. Мы их прозвали: профессор... с профессоршей. Затѣм у пруда, точно собор клопов, малюсенькіе-премаленькіе желтые утенята. „Ну, лѣзьте куда не надо, а я не пойду“, говорит им курочка, которая почему-то служит им ментором. Еще курица у колодца с журавлем, за преступленіе привязанная за лапку. И больные гусята, у которых головка все пухнет. И сценка достойная быть занесенной в мою граціозную лѣтопись: в заброшенном парникѣ на яйцах курка... а индюшки обступили кругом и окаменѣло стоят, только шеи вытянули наклонно преглупо и смотрят, и преглупый звук издают, точно вопрошают сердито: „Что-что-что?“.. а индюки и молодые и старые распустили хвосты, крылья свои. Но не пересмотришь всего. Да и смертельно хочется ѣсть. Поэтому спѣшишь еще раз взглянуть на дивное украшеніе, поклониться исполинам-деревьям, благоговѣйный реверанс сдѣлать купѣ красавцев и в знак обожанія еще и еще раз обѣщать им увѣковѣчить их моим безсмертным пером, и уже бѣ-

жить к дому, за стол, потому что немилосердно хочется ѣсть.

* * *

Здѣшніе людишки, жмудины, тоже очень занимают мое сердце и ум. И батраков и крестьян страшно мнѣ жалко. Так каждый раз становится жалко всѣх этих безземельных батраков и батрачек! Тихіе, работящіе, и мало получают, а я, пріѣхала, только гуляю, наслаждаюсь дивными дарами природы. А они в это время хлѣб свой скудный снискивают в потѣ чела, от восхода до заката в трудѣ. Но и я всю зиму буду трудиться, и всю жизнь буду трудиться. И у нас нѣт ничего. Мы тоже всего лишены, всякаго матеріальнаго блага, довольства. Мы тоже страдаем и от холода и от скуднаго хлѣба. Но у нас есть душа и в этой нашей душѣ живут хорошія чувства к ним и это они видят, и сами чувствуют хорошее к нам, и хорошо относятся к нам... А наши души отзывчивы как ни у кого: нам, напримѣр, совѣстно даже солнца хотѣть, когда им всѣм нужен дождь... И нужно видѣть здѣшнюю землю, чтоб оцѣнить сколько упорнаго и тяжелаго труда клали и кладут жмудины дабы сдѣлать землю годной для обработки. Вѣдь земля здѣсь, и кажется почти только в этой мѣстности, усѣяна камнями как травой, как густо-густо втиснутыми в землю кусками навоза. И этих камней — принесенных из Норвегіи ледниками, теперь сравнительно мелких, несмѣтные милліарды в полях и сейчас. Многія поколѣнія селян вырывают их из земли и еще на многія хватит чтоб окончательно ниву счистить. Но ужасающих размѣров тоже еще попадаются. Иной

жмудин терпѣливо и их вырывает—дробит их, сталью долбит и долбит, воды в отверстіе льет, и порохом взрывает, неутомим он в трудѣ и дьявольски упорен в трудѣ...

Но трогательно их видѣть и веселящимися, поющими и танцующими. Это был хорошій вечер, когда работники покончили со снопами, с уборкою в полѣ ржи. Батрачки, сколько их работало, пришли в дом, в руках у них блюдо, на блюдѣ вѣночки, по вѣночку для каждаго члена семьи помѣщика, по вѣночку и для нас двоих. Вѣночки из колосьев ржи и любимые цвѣточки в них вплетены.

— Да будет прославлен Христос, — сказали онѣ и опустились на колѣни.

И поздравляли с благополучным окончаніем жатвы.

— Старших колосом поздравляем, младших — цвѣтами.

И сейчас же батрачка посмѣлѣе начала приговаривать:

—Для такого гостя, для хлѣба, овины пора приготовить—вычистить, вымести, обмести...

Затѣм каждый из нас снимал с блюда вѣночек, а на блюдо сыпались серебряные рубли. Мародёры-писатели, отнявшие у меня кусок хлѣба, отняли этим сейчас и у них кое-что: уж конечно имѣй я что̀ надлежит мнѣ за десять томов моих произведеній — посыпалось бы им от нас на блюдо золото, не серебро. А сколько радости дало бы бѣдняжкам! И тоже пошло бы на путное (не на пороки как у господ мародёров).

Жалко их, бѣдняг, и в день отдыха—в воскресенье. Простенькая одежда, тоже вся самодѣльная

как в южной Литвѣ (уже мною описанной). Вишневым клеем примазаны волосы и платочком так как-то повязаны, небрежно, не прилегает к щекам, лицо точно в каком-то бѣлом нимбѣ, а мужчины в красном жилетѣ, все же остальное на них бѣлое, и даже мальчики с мягкой шляпой на головѣ или соломенной, рѣже в картузѣ. Женщины молитвы читают, а в одной избѣ батрачка по воскресеньям, если в косцёл не ушла, толстым голосом, почти мужским, пѣла церковное. Онѣ чрезвычайно набожны, и пойти в косцёл это есть и единственное в праздничные дни развлеченіе и домашней прислуги. Одна другую „выпускают", т.-е. чередуются, и очереди своей ни за что не пропустит. Жмудины очень твердаго характера, но тихаго, сдержаннаго. Панов иных не любят, скорѣе тѣх богачей-аристократов, которые никогда мужику и не показываются, с мужиком всегда разговаривают через третье лицо. Но жестокости в душѣ и к ним нѣт. Даже в этих вопросах разсужденія часто сердечныя: селянин любит свою землю и умереть на своей землѣ хочет. „А раз что помѣщик тоже любит свое имѣніе и хочет умереть на своей землѣ..." или: „Раз что помѣщик безвыѣздно живет в имѣніи и только с земли своей кормится и воспитывает семью..." говорит порою жмудин. Или: „Это и совсѣм ни к чему затѣвать покуда есть всякіе другіе богачи с домами, с капиталами... Это тогда все будет хорошо, когда всѣ сразу согласятся совѣстью не имѣть всего много, больше чѣм у каждаго, который трудится..." Даже в это ужасное время, когда в сосѣдней Курляндіи творилось ужасное и тысячи грозных слухов кружилось и между жмудинами — они как

в мирное время трудились и ждать от них насилій не слѣдовало. Селяне и вообще разсчитывают только на себя, на свой большой, большой упорный труд. Попрошайничества у них нѣт. Нищих почти не видно. У косцёлов обыкновенно призрѣваются старики. Пьют теперь крестьяне больше чѣм раньше, т.-е. к прискорбію теперь больше встрѣчается пьющих на Литвѣ чѣм было, но с великорусским пьянством и сравнивать невозможно. Но распиться, надо надѣяться, не дадут и вліяніе духовенства и т. д., а также громадное трудолюбіе каждаго, нерасточительность, обереганіе трудового рубля, и привычка в матеріальном разсчитывать исключительно на себя, на свой труд.

Свадьбы у них в январѣ. Дни, в названіе которых входит буква р (r) суевѣрно считаются тяжелыми — „ветчина засоленная в такой день зачервивѣет". Еще народные предразсудки: если у кого лихорадка — „надо через рѣку переѣхать, оставить лихорадку на другом берегу". На кутьѣ, в Сочельник под Рождество, когда трапезуют на столах застланных сѣном — „если кому не оказалось пары, с тѣм случится несчастіе". Но, впрочем, обо всем бытовом когда-нибудь потом. Я вѣдь обѣщала только природу.

Очарованіе кончилось. Везут лошади к станціи, к маленькой станціи с нѣмецким названіем, гдѣ сядем в поѣзд — возвращаться в Москву. Нам грустно, печально — разстаться с Литвой. И с каждым шагом мы прощаемся с нашей любимой красотой. Вот они, божественныя деревья, остаются позади, позади, только как далекій букет будем их

видѣть на горизонтѣ. Вот и в Минію умные кони осторожно спустили и, хлюп!— на прощаніе красотка-рѣка мокрым поцѣлуем поцѣловавши мои ножки попрощалась со мной, захлестнуло таки водой краешек моих ботинок... Вот уже изчезает и высокій берег рѣки. Вот мелькают одна за другой жмудскія деревни... пыльная дорога укатывает нас из Литвы. Через четыре-пять часов опять переживать впечатлѣніе от мѣстечка, от ужасных жилищ и ужаснѣйшей грязи, в которой копошатся несчастные люди...

Послѣ второго привала в еврейской корчмѣ, верстах в пяти — шести от Курляндіи, сдѣлалось нам еще грустнѣе, печальнѣе. Минуты, и Жмудь уже позади. И вот ѣдем, грустим по Литвѣ, папироску курим. Но наше вниманіе как-то вдруг повернулось в сторону кучера. Кучер, без надобности, по-нашему, погнал лошадей особенно скоро, а сам то и дѣло чего-то озирается по сторонам и назад оборачивается, поверх наших голов смотрит назад, за коляску. А поравнялись с лѣсом, даже привстал, всматриваясь в ров и опушку и еще быстрѣе помчали нас кони. Что такое?! Но коляска свернула налѣво в самый лѣс, в чудную проѣзжую дорогу, такую живописную, когда мы ѣхали из Москвы, а теперь такую вдруг жуткую, потому что лошади уже мчались что есть духу. — Почему?— Что такое? Но кучер, все озираясь и всматриваясь в чащу и в лѣсные просвѣты ничего не отвѣчал, только жест какой-то сдѣлал долженствовавшій означать, как мы вскорѣ поняли, чтобы мы не тревожились и чтобы его не отвлекали от наблюденія, а лошади вихрем летѣли, даже дух захватило. И только когда мы выѣхали из лѣса и очутились на просторѣ среди курляндских полей справа и слѣва уже совершенно пустых, кучер задержал взмыленных лошадей и пустив их шагом завернул голову в мою сторону и сказал:

— Пани, теперь бояться нечего. Слава Богу, проскочили. Вѣдь сегодня убили барона Бистрема, а в этом лѣсу убили еще кого-то, и выпрягли лошадей из экипажа. Латыши это. Их много в лѣсу, и за нами. В корчмѣ евреи сказали. Только я не говорил, чтобы panowie не пугались. Я надѣялся проскочить...

— Простой народ всегда и вездѣ любит нас. Посмотри, как боялся за нас, — сказала я мужу по-французски, когда Урбан кончил разсказывать.

— А ты замѣтила, дѣтка, какое к тебѣ тут у всѣх особенное уваженіе, особенно хорошее отношеніе. Вот и он — к тебѣ повернувшись, разсказывал. Это значит — всѣ тебя здѣсь полюбили.

И то сказать: для этого многаго не нужно. Всегда привѣтливо отвѣтить на поклон, всегда быть простой и ласковой, всегда быть доброй и относиться участливо к бѣднякам. И никогда не эксплоатировать труд бѣдняков. Мы и не способны обидѣть тружеников, ибо и сами — труженики. Поэтому всегда и вездѣ простой народ очень нас любит.

Оплакивать дивную Жмудь нам болѣе не пришлость в дальнѣйшіе часы: захватили нас иныя впечатлѣнія. Наградивши Урбана и батрака везшаго наш багаж и отпустив их с лошадьми на постоялый двор, чтобы, переночевавши, на зарѣ возвращались домой и всѣм там поклонились от нас — мы пошли чуточку обозрѣть окрестности, а послѣ прогулки вернулись на станцію, намѣреваясь выпить чайку. Но почему-то станцію и бу-

фет собирались запереть часа на два, на три, изгнавши всѣх посѣтителей, и только послѣ переговоров с начальником станціи что пріѣхали мы из имѣнія за сто верст и ѣдем в Москву с ночным поѣздом было нам разрѣшено чаепитіем заняться в пустой дамской комнатѣ. И вот вскорѣ с сумерками на платформѣ стали появляться сѣрыя группы — молодые латыши по три, по пяти человѣк и начали обхаживать станцію, заглядывать снаружи в окна и к нам. Без котомок всѣ — видно было, что это не пассажиры, и лица страшно возбужденныя. К открытію дверей набралось их человѣк 70—80. И тут же вскорѣ вошла в дамскую комнату еще одна дама, высокая, и в глубоком свѣжем траурѣ. Муж разумѣется сейчас же вышел. А дама, спросивши куда мы ѣдем, разговорилась со мной.

— Я жду мужа с поѣздом из Риги. На похороны. Телеграмму ему послали мы. Я сестра барона Бистрема. Его сегодня на разсвѣтѣ убили. Четырьмя пулями. Сюда, сюда...— показывала она на грудь, плечо и т. д. — На подводах подъѣхали. Брат вышел к ним, начал просить не шумѣть, потому что старушка-мать больна. И говорить не дали. Убили, умчались. Не свои. Издалека пріѣзжают. Чтобы никто не узнал...

— А вы видѣли как их много на станціи? Слышите — какой гул? Чего это они здѣсь собираются?

— И вы не боялись послѣ такого ужаса ѣхать из имѣнія одна, да еще в потемках!

Да, между женщинами много молодчин. Эта тоже не боялась, и не хныкала, не теряла энергіи, а дѣлала что̀ нужно...

Но на платформѣ было шумно — раза два заглянули латыши в буфет и в смежную нашу комнату, и мы вышли посмотрѣть, я чтобы присоединиться к мужу. Латышей полно. На платформѣ, в залѣ третьяго класса. Лица уже прямо злыя. Пассажиров в буфетѣ перваго класса всего десять человѣк я насчитала. Всѣ жмутся тревожно, и тревожно выглядывают наружу. А латыши обхаживают с недобрыми лицами. И все-таки — вот мое наблюденіе. Наглости в них ни капли не видно. Даже какіе-то робкіе — показались. Группами человѣк в двадцать стоят в открытых дверях буфета, ѣсть им хочется ужасно, буфета третьяго класса нѣт, а они только зло смотрят, скорѣй непріязненно, а войти — робко и молча заглянет то тот, то другой. Один что-то купил, кажется, булку. Всѣ были напряжены и не знали что думать, чего ожидать. Жутко одно время стало и нам. Когда муж пошел брать билеты, ему загородил дорогу латыш и рѣзко сказал одно только слово:

— Папиросу!

— Пожалуйста.

Муж раскрыл серебряный портсигар и протянул его латышу.

Латыш извлек папироску.

— Возьмите еще — в запас.

Когда латыш отходил, поблагодаривши, глаза и его и тѣх которые находились невдалекѣ показались мнѣ уже болѣе мягкими. И жуть как-то сразу разсѣялась. Уже безбоязненно прохаживались и мы по платформѣ среди несчастных латышей. Да и судьба моя такова: все дурное постигает нас в Москвѣ. В Москвѣ вѣдь на будущее лѣто (1906 г.) ограбили нас до-чиста. И порт-

сигар, о котором упоминаю, и бинокль похитили у нас с прочим всѣм нашим — в Москвѣ.

Латыши бѣдняги, оказалось, — ждут войско. Быть может, то была напрасная тревога, ложно пущенный слух, что — ѣдут войска. Но мы уѣхали.

Прощай, родная Литва...

Вот уже проѣхали и бѣлорусскую природу. Она бодренькая...

Вот уже подъѣзжаем...

Опять начнется мученіе. Вѣдь зимой издам Невеселую книгу*). И опять пойдет удавливаніе меня безстыдной печатью, дабы безстыдным писателям облегчать их безстыдное мародерство. О, Родина, когда же ты вникнешь в подлости творимыя твоими руководителями и конец им положишь!

*) Вышла в концѣ Декабря 1905 года.



Мы.

Heureux nous deux qui portons en nous l'idéal de la beauté, l'déal de l'amour, de la science, de l'art, des hautes qualités morales... et qui leur obéissons.

Мое ежедневное (наш трудовой и любовный день).

Когда с нами нѣт Ненилы, а муж занят больными — я и сама ставлю самовар, топлю печки. И когда загребаю ухватиком жар и начнут мигать звѣздочки на поду печки, сейчас все та же дума проносится в головѣ: а они, несчастные — грабители-беллетристы одно время всѣм своим хором старались меня оконфузить именно этим. „Наше вон какое житье: шампанским заливаемся", объявила и одна из пишущих. „Ну так работайте, в таком случаѣ, двадцать четыре часа, и сами ставьте себѣ самовар" („в таком случаѣ" — это значит: за то что я „бѣдная без смиренія" и за то что я даровитая без пороков и без шаблона).

Вот несчастные! — чѣм запугать думают! Да я обожаю труд, я обожаю мое гнѣздышко, я обожаю моего драгоцѣннаго мужа. И никакой труд не тяготит ни его, ни меня. Из-за грабителей-беллетристов мы ни одного дня не доѣдаем. Гдѣ же тут

еще урывать десятки рублей на содержаніе прислуги! И не первый раз поэтому я и всю зиму обхожусь без прислуги, все дѣлаю по дому, и даже стираю мелочь (крупное стирать — не по силам) и пишу кромѣ того, а послѣдніе годы и труды мои литературные носила продавать. И все я дѣлаю любовно, и никакая работа и забота не тяготит меня. И муж мой свое дѣло любит, свой медицинскій труд, и всякій труд любит. Он, милый, говорит, что мое дѣло только писать, что сравнить меня по таланту можно только с Гоголем и Толстым, что я неизмѣримо выше многих и многих извѣстных писателей, выше и Достоевскаго, и что мое дѣло поэтому только писать, обогащать литературу. „...И богатство формы, и богатство тем... при самых ужасных матеріальных лишеніях твоему творчеству границ нѣт; а тѣ и по горло обезпеченные были в силах проявить свое дарованіе только в извѣстных рамках, из которых не вышли“. Но что же теперь дѣлать, если родина не дает и куска хлѣба за мой литературный труд. Тѣм хуже для несчастной родины. Но раз это так, я люблю и всякую другую мою тяготу и заботу.

Завистники и ненавистники опять зашипят: „Это потому, что на себя, на свою семью работаете. А на чужих работать — не впоите в нас любовь к труду“. И очень это печально. Вѣдь я и на чужих работаю любовно, и тщательно. Всю мою юность давала уроки, брала переводы и переписку. А теперь всѣ годы моего самаго лучшаго расцвѣта отдала тоже на работу для чужих — пишу. Эксплоатація труда бѣднѣйших, недостаточное вознагражденіе за труд, чѣм грѣшат рѣшительно всѣ работодатели и всѣ преуспѣвшіе, — это ужасно,

и мы же первые как и вообще бѣдняки интеллигенты, врачи и пр., трудясь всю жизнь, не обезпечены за труд и достаточным куском чернаго хлѣба именно благодаря безчеловѣчной эксплоатаціи бѣдной трудовой интеллигенціи, эксплоатаціи сугубо жестокой и рѣжущей глаза особенно теперь, когда голос рабочих, к счастью, все чаще и чаще услышан, нужды рабочих все шире и шире будут удовлетворяться, а трудовая бѣдная интеллигенція (в сущности единый пролетаріат в Россіи, ибо кромѣ заработной платы ничего не имѣющая) печальников о себѣ до сих пор ни в ком не нашла. Но эксплоатація это все же отдѣльный вопрос; любовь к труду, это все же остается одно, а матеріальный результат для трудящагося, это другое. Сельскіе учителя и учительницы лишенные всяких „благ“, зачастую полуголодные и иззябшіе; бѣдняки врачи отдающіе даром свои силы сонму бѣдняков и в увлеченіи работой забывающіе о том что послѣ работы им нечѣм пообѣдать... наконец, бѣдняки на поприщѣ искусства, я в том числѣ, за четырнадцать лѣт моего литературнаго труда не имѣвшая еще ни гроша. А все таки я труд обожаю, и знаю, что не тѣ кто успѣл, не тѣ что рекламой выдвинуты вперед, а мы, всѣ такіе, суть единый цвѣт нашей страны и по дарованіям и познаніям, и по чудесному облику наших душ и жизни. Тѣ же, которые трудиться *не любят*, и за выгодную оплату не любят трудиться. По необходимости дѣлают, с рук сбывают работу, и ненавидят работать, и тянутся к праздности, тянутся к совсѣм даровым кускам — к жирным и даровым пирогам. Язва родины, да и вообще всѣх стран, это — жадные хищники, вампиры, за грош высасывающіе

трудовую кровь... но язва родины, по-моему, и это отвращеніе к труду, котораго так много не только в средѣ паразитов всякаго сорта, но и в крестьянствѣ и в средѣ рабочих, почему и часто каждое дѣло сдѣлано спустя рукава, плохо. Вот и сейчас я вижу... прямо противно смотрѣть на эту работу над сточными трубами, например, против наших окон. Копались, копались над трубами артелью, а как полил дождь вся вода захлестала мимо, из жолоба прямо на тротуар. Опять явилась на крышѣ артель, и опять вода идет мимо воронки. Теперь налаживают в третій раз. А будь это моя спеціальность, я бы право и это дѣло старалась бы сразу сдѣлать хорошо.

Утром, до ухода мужа на его врачебную службу, пробѣгаем печатную бумагу пауков, ежедневно улавливающих в свою паутину мух, т.-е. людей, ради грошей этихъ людей. Либо я, либо Флорентій вслух читаем — телеграммы, иногда, рѣдко, рѣдко, впрочем, и ма̀занку, т.-е. передовую статью или какую-нибудь другую мазню.

Когда я одна, я много тоскую, хотя и занята работой: неужели же дано будет удавам затоптать мое святое творчество! Торгаши у которых деньги есть и поэтому все захватили, а в талантѣ видят не служеніе родинѣ душой, пером, творчеством, а видят только опаснаго конкуррента. И совершают двойное преступленіе: Россію, и так уже бѣдную — лишают того что составляет ея же славу и гордость, и скольких же хороших сѣмян лишают Россію, пряча от нея мои книги!.. Но вот любимый пришел со своей докторской службы — в сердце

опять радость вселилась, опять мнѣ блаженно, чудесно. Эти подскоки сердца...сердце взыграло лишь только вошел, лишь только еще постучался в окно, с чернаго хода. Господи, пошли каждой женщинѣ такое же безмѣрно свѣтлое, радостное счастіе!

И трепещет, и блаженствует сердце от радости, так, просто от радости — что живу, что милый со мной, что любит меня. Пускай лишенія, пускай бѣдность, пускай тяжело и с тяжкой борьбой достается нам наш насущный хлѣб, но мы вмѣстѣ, мы обожаем друг друга.

Нельзя передать всего обаянія, всей красоты этого человѣка. Одна я знаю всю прелесть его души, каждаго в ней уголочка, но я и из людей не знаю никого, кто не смотрѣл бы на моего Флорентія как на самаго прекраснаго человѣка, рѣдкаго по совершенству человѣка. Я же лично такого чуднаго человѣка, такого во всѣх отношеніях идеальнаго человѣка никогда другого не видѣла. А я видѣла из интеллигенціи множество, множество, легіоны (как выразился раз Тургенев о численности русской молодежи за границей) — легіоны интеллигентов прошли пред моими глазами и в Россіи и затѣм за границей, и снова в Россіи, и полухороших, и хороших, и очень, очень хороших. Но идеальнаго человѣка между ними нѣт. Если в молодых годах и были чудесны — потом хоть в чем-нибудь гадились или опускались, становились или уже хуже, или дурными вполнѣ, или дрянными. А уж что до людей „извѣстных“, біографіи или некрологи которых так неизмѣнно, как природа ночное небо ночными свѣтилами — украшают добродѣтелями яко-бы живущими в них или жившими всею густою толпою, то это только пар-

тійная лесть и тенденціозная ложь. Именно солнечнаго тепла ни один не дал ни жизни, ни людям. И даже только хороших в средѣ прославляемых быть может и нѣт, т.-е. не способных ни при каких условіях, ни в каком положеніи сдѣлать зло, гнусность или подлость. Потому что — либо он недобрый; либо он не злой, но порочный; либо он жадный к деньгам; либо он гадкій в силу тряпичности; либо он циничный хищник в силу всеобщей испорченности; либо он пошлый, не высокой души человѣк. А снисходительность к чему тут. „Условія жизни в Россіи, мол, тяжелы". Но условія жизни тяжелы для всѣх. И милліон крат, полагаю, тяжелѣе они именно для бѣдняков как мы чѣм для успѣвших и разбогатѣвших. А между успѣвшими и разбогатѣвшими и вообще клад — хорошій человѣк. Между „успѣвшими" писателями ни одного я не вижу. Но и между иными сытыми и „извѣстными" не много хороших, чудесных. О, сколько же я видѣла всѣх этих сытых рекламируемых либо окруженных газетным почтеніем — за их сытость, за их видное положеніе, за их доходы, дома и пр., пр. Вѣдь я носила продавать мои книги, вѣдь я теперь многих и многих „видных дѣятелей" знаю, знаю чего который из них стоит, и как противно мнѣ читать приспѣшническое восхваленіе то того, то другого из этих людей, повторяю, быть может, не во всѣх отношеніях дурных, но во многих отношеніях оказавшихся не хорошими людьми.

И выразить не могу благодарности Небу — Судьбѣ за то что послала она мнѣ этого моего любимаго человѣка, моего чуднаго, обожаемаго Флорентія. Неизреченно мое блаженство, когда одним с ним воздухом дышу, и неизреченно блаженство его

ласки; и блаженство сидѣть возлѣ него, ангела моего, и работать, творить. И так все дальше и дальше уходишь от них, от сытых, безчестных собратьев. И выразить не могу благодарности Небу - Судьбѣ за то что получила я от жизни. И мнѣ кажется, каждый получает то чего ищет, к чему тянется весь: ищущій денег — деньги цѣной даже постыднаго воровства; славы — славу цѣной даже позорных низостей, гнусностей; роскошь — цѣной связей с имущими. Любовь, отраду и счастіе — цѣной отданія своего кипучаго сердца и всей своей прелести и обаянія любящей женщины. Людям нелюбимым и не любящим никогда не проникнуть в эту чудную тайну — почему поляка любишь так сильно и вѣчно... И он, мой драгоцѣнный, так же неизмѣнно пылко и нѣжно и вѣрно любит меня, как в первое время рожденія и роста любви ко мнѣ, и еще тысячу крат сильнѣе и горячѣе и глубже любит меня, четверть вѣка проживши со мной, и будет любить до скончанія жизни. Надо бы обернуться мухой хотя бы и, влетѣвши к нам, невидимкой видѣть нас, слышать голоса наши и рѣчи, видѣть нашу нѣжность и поцѣлуи, видѣть и наши слезы и скорби. А словами никогда не исчерпать ни себя, ни его и никогда не найти красок столь же дивных... Да и не хочу, по-правдѣ сказать. Ибо кромѣ избранных сердец — читателей, есть еще сборище канканёров: завистливые писатели, которые каждое слово написанное восторгом или слезами обваливают на своей бумагѣ гноем своих душ.

Еще блаженство: — в сумерки если лег, у себя в кабинетѣ, на кушетку, а я в моей любимой позѣ в ногах на полу, на коврѣ, или лежу я, он возлѣ

меня, обнял меня. Чудно, дивно! от счастія с уст слова не идут...

— Молчишь, и твое молчаніе тоже много дивнаго говорит.

Как я люблю говорить с ним! Во время наших бесѣд зарождается столько чуднаго, интереснаго! А чудные пересказы ему о том чтò пишу в данное время или о том чтò вынашиваю. И тут же постоянно наброски с живой моей рѣчи и тàк — как само вырвалось из уст, в живом словѣ.

И в эти часы моего такого глубокаго и такого интенсивнаго блаженства и счастія я бы родинѣ книгу бы написала, огненным глаголом, огненными слезами написала бы книгу, которая на ряду с Евангеліем дорога была бы всѣм людям. И всѣ, всѣ от перваго до послѣдняго поняли бы ее, мою книгу. И всѣ от перваго до послѣдняго захотѣли бы и смогли бы исполнять завѣты души отданной только хорошему, лучшему. Так просто, легко! Я бы и в могилу сошла, чтобы только родина стала вся с такою душою как наша, чтобы не осталось больше тѣх сорных трав, которыя есть и в природѣ, но которыми природа только подтыкает заборы или населяет тѣ углы и пустыя мѣста, на которых ничего лучшаго не посѣяно. Я бы и в могилу сошла, чтобы только родина впоила в себя то чѣм дышу и жива я сама. Зла не дѣлать и обиды никогда никому. И тогда только приложится и все остальное, т.-е. будешь дѣлать доброе, т.-е. переполнится человѣк дѣятельной любовью — тогда, когда человѣк, теперь дѣлающій зло всегда тому который лучше, почувствует себя неспособным дѣлать зло и обиду кому бы то ни было.

И не о себѣ хлопочу я и в думах моих. Уж

мнѣ-то родина даст умереть с голода. Ибо мои лиходѣи — писатели и печать не обновятся, не возродятся, с тѣм и физически сгніют под землей. Но как-бы хотѣла я чтобы моя родина в будущих поколѣніях избѣжала нравственнаго гніенія! Поэтому и несу тяжкій свой крест, ни на какой для себя выход не надѣясь борюсь и пишу, ибо какое же благо родинѣ, если бы я дала прессѣ замучить меня окончательно — и сама еще задушила бы свой голос, умолкла? — развѣ лишь гибель и ей, потому что прощай тогда в печати правда святая, которая из уст в уста говорится „маленькими“ людьми и в печати высказывается опять же только „маленьким“ человѣком, единой писательницей любящей свою родину самой лучшей любовью.

У нас и личнаго горя было много в послѣднее время. Умерла наша драгоцѣнная старушечка, наша драгоцѣнная мамочка, т.-е. моя мамочка-свекровь, мамочка моего драгоцѣннаго бѣдняги Флорентія. Но не только из-за этого нашего горя было мнѣ невыносимо противно как жители справляли свой масленичный обряд и в эту масленицу. Сугубо тяжелое время: мы в трaурѣ, и родина в траурѣ, потому что вѣдь война была в это время, а они пьянствуют, на тройках с гиком раскатываются... И сейчас раздаются в сердцѣ рыданія моего бѣдняги, когда невозвратное свершилось, не стало нашей старенькой мамы. Я дала выплакать слезы. Я чувствовала, что так нужно, что нѣмая скорбь будет рвать сердце стократ жестоко и дольше. А я и плакать первую минуту не могла. На меня еще в дѣтствѣ слезы мужчины дѣйствовали ужасно.

А вѣдь это плакал мой любимый человѣк. И я вся замерла в жгучей мукѣ. Но пересилил страданіе, для меня, ради меня, да и кусок хлѣба — нужно его зарабатывать, нужно силы беречь для жизни.

Я же не смогла побороть себя, и смертельно затосковала по старушкѣ. Неудержимо захотѣлось мнѣ чтоб она была жива и чтобы еще хоть разок пожить нам возлѣ нея как в теченіе десяти лѣт, в которые из году в год мы проводили у ней или с ней нѣсколько недѣль, иногда нѣсколько мѣсяцев. Я ко времени смерти мамочки уже сама плохо себя чувствовала, часто прихварывала, часто креозот принимала. У нас обыкновенно думают, что креозот дается только в чахоткѣ (равно как кровь горлом показывается только будто при чахоткѣ, тогда как десять иных причин выищется: со стороны желудка иногда и мало ли что, порой так, просто, лопнет сосуд, и значенія большого не имѣет). Я же подвержена бронхиту.

— Моя крошка — живчик, не уложить ее как болѣет. Другіе, чуть что, стариковски нѣжатся, а моя Вѣрочка и во время болѣзни трудится и живет всею жизнью.

(Впрочем у меня пока что натура особенная, и огромнѣйшій запас жизненности в организмѣ. От желудочных заболѣваній, например, я спаслась тѣм, что кусочек, какой съѣм, он мной приготовлен, и чисто, и вкусно, и из хорошей провизіи. И так почти всегда было и в тѣ періоды, когда я бѣгала на уроки. Все как-то успѣвалось сдѣлать. А кромѣ того я не в свое время ягодки не съѣм. Напримѣр, варю варенье, но и не дотронусь до него одна. Равно до кушанья, чего бы вкуснаго ни готовила.)

А тут я еще на-смерть истомилась разноскою моих книг. А эта тоска по мамочкѣ, скорбь за моего сиротинку домучила меня, и я разболѣлась, и была больна три мѣсяца.

— Как выздоравливать стала, свѣт опять стал мнѣ мил, — говорил, зацѣловывая меня, милый, несшій на себѣ это двойное тяжкое горе.

Я, впрочем, всегда чувствовала, что мы тяжко будем оплакивать нашу старушку. И мнѣ всегда дѣлалось страшно за первые минуты взрыва отчаянія моего ненагляднаго. И сердце холодѣет от ужаса и за него и за себя, если кому из нас суждено пережить другого. Да минует нас эта чаша...

Гдѣ я умру? Гдѣ буду лежать в землѣ? Эти вопросы тоже приходят мнѣ в сердце. Разумѣется, такому бѣдняку как я предстоит быть похороненной там гдѣ умру. В Москвѣ — то в Москвѣ. Но будь мы обезпечены... Да... я бы хотѣла... и в вѣчности... вся жизнь вмѣстѣ... и вся вѣчность... Но об этом нѣт сил писать. Сердце умирает... Подлые люди, братья - писатели, ограбившіе меня, отнявшіе наш кусок хлѣба, легко у вас на душѣ?..

Когда я плачу, милый говорит... о, много говорит дивнаго, утѣшающаго меня за всѣ эти невзгоды, бѣды, тоску. И говорит — когда вспоминаются и всѣ клеветы и всѣ гнусности, которыя ушатами лили на меня в печати мародеры-писатели: „Становись на точку соотвѣтствующую тебѣ, единому теперь писателю в Россіи и самой лучшей, самой чудной из всѣх женщин бывших на землѣ, сущих и будущих, а их ставь на их точки. Высь и лужи. Лужи всегда источают зловоніе, пакость. В лужу только плюнуть можно“. А все же это ужасно, этот простор предоставленный на Руси только лужам, выли-

вающимся из берегов, чтобы своим вонючим содержимым заливать выси, хоронить под собой выси. О, несчастная Россія, куда ты придешь, когда ты стремишься только к лужам, подносящим тебѣ грязные, отравленные напитки сдобренные усыпляющей патокой, т.-е. лестью всему что дурного накопилось в тебѣ десятилѣтіями и грозит застояться в тебѣ.

И не особенно любим, когда приходят посторонніе для спеціальных разспросов о подлостях прессы. Так волнует каждый раз, и негодованіе закипает со всей ужасной силой, и дѣлаюсь больна. А силы нужны — для творчества, для борьбы за трудовой кусок хлѣба, для наслажденія жизнью, чудной, божественной, обожаемой жизнью, полной у нас двоих труда и любви.

У нас теперь так мало рублей, что досуги наши мы и совсѣм перестали отдавать развлеченіям. Священников встрѣтишь только на концертах, на выставкѣ картин и на лекціях. А мой единственный отдых — это прогулка с милыми.

— J'allons nous promener.

— J'allons partir en promenade.

Так говорит во Франціи крестьянин.

Уже нѣсколько лѣт ни театра, ни даже концерта. Надо бы сказать наоборот, ибо в театр человѣк может попасть и за нѣсколько гривенников, но для нас это все-таки рубль, так как я существо избалованное, двадцать пять лѣт вѣдь жена я Флорентія, серебряную свадьбу справлять нам, и за двадцать пять лѣт я и прогуляться не выходила без мужа. А уж за концерты подло дорогія цѣны в Москвѣ. Лишь послѣ траура по мамочкѣ пошли мы раз в оперу, уже не разбирая

в какую. Такое желаніе охватило! Уж все равно было, лишь бы звуки музыки слышать. Все-то у нас в Россіи подло дорого, только для жуиров и кулаков доступно, для тѣх кому и не нужна музыка-то. Все не по-человѣчески в моей, любимой мной, но все-же ужасающей меня родинѣ.

Да, не знаю. Быть может, были бы деньги, уѣхали бы мы обратно во Францію. Как Тургенев, и я умерла бы там. Порой, охватывает жгучій порыв — родину бросить, не видѣть, не слышать... В концѣ концов страшно дѣлается от все этой подлости на родинѣ, и от этой легкой возможности умереть с голоду, от этих подлых людей, от их легкости давать гибнуть и злорадства, от их стараній губить, от этой подлости не давать заработка, не давать куска хлѣба за труд, убивать медленной смертью самых лучших людей и работников. О, будь каждый из вас проклят, безчеловѣчная писательская братія!

Я никогда, никогда не была корыстная. Я никогда, никогда не хваталась за матеріальныя блага. Я никогда, никогда не была завистливая. Я всегда была вот какая. И поймите меня — может ли меня коснуться какая бы то ни было пакость изрыгаемая завистливой и мародерствующей писательской братіей. Когда в пути, нѣсколько лѣт тому, пропал наш багаж, я о вещах наших сокрушалась конечно, ибо много трудимся оба, а рублей за труд обоим нам достается мало, но плакала я больше чѣм о вещах наших пропавших о фотографіях моего милаго, которыя тоже лежали в багажѣ. И мамуня — свекровь утѣшала меня как ребенка. Потом и выбранила: „Вѣдь ты имѣешь его живого. А что фотографіи пропали — так что же теперь дѣлать! Будем

искать". А сама сейчас же принесла мнѣ тѣ карточки милаго которыя имѣла у себя. И брат мужа сдѣлал это же. Вот какая была наша мамуля. И вот как у нас живется, сердцем живется. А вы, пишущая братія, всѣ эти слова опять украдете, и перенесете в свое и прилѣпите, как всегда, так неумѣстно, к таким каким-нибудь вашим субъектам или „знаменитым", „извѣстным", от чего все ваше и опять выйдет и фальшиво, и пакостно, и смѣшно несмотря на ваши слащавыя потуги и кривлянье и паѳос.

Так вот, я никогда не гналась за матеріальными благами. И однако я многое обожаю. Я обожаю цвѣты. Той студенткѣ что лѣчила меня от тифа я принесла в благодарность массу чудных цвѣтов, таких же прелестных и свѣжих как я была в то мое юное время. И люблю я нѣжные духи. В Парижикѣ и покупала их, и всегда, бывало, как приду в Лувр за покупками, подойду к сифону из котораго там обыкновеніе брызнуть на дам духами. И люблю я шелковыя и батистовыя рубашки, шелковые чулки, иначе не могу как имѣть крохотный нѣжный носовой платочек, японскаго шелка, и не иначе как — элегантную, нѣжную обувь. И люблю, чтобы все на мнѣ было прелестное, и возлѣ меня, и вокруг.

У меня никогда не было шелковаго платья; из украшеній тоже очень немногое. Золотая оправа для pince-nez, запонки для манжет...*) Если и для

*) А в этот подлый год (1906) когда столько людей отбѣжало от труда и кинулось грабить—грабить и имущих, грабить и тѣх, кто сто раз бѣднѣе их, грабителей — несчастнаго рабочаго прибывшаго на заработки с двумя рублями в старом кошелькѣ и с двумя смѣнами бѣлья в узлѣ, и скорбную бабу копейками скопившую на голодные дни десяток рублей, и трудовую барышню-

меня как для графа Толстого и других писателей вздумают отвести в музеѣ уголок... увы! ничего по всей вѣроятности не останется послѣ меня кромѣ горы моих нераспроданных печатных произведеній и моих рукописей. Мою библіотечку (о которой я говорила в Ars longa, vita brevis) я продала букинисту. Цѣлый огромный мѣшок набрал. Полныя изданія наших „классиков" (как выражается пресса) начиная с томов графа Толстого и кромѣ того кое-что из современнаго прославленнаго прессой литературнаго гноя отвратительных писателей, всѣ эти девять лѣт перетаскивавших из моих страниц на свои, но мои чудные образы превращавших у себя в бездарную дрянь (подражатели и заимствователи всегда так: или дают мало, мало, или уж переболтают и пересолят, или пересахарят, до-нельзя, ибо этим прикрывают немощь свою и бездарность — крикливостью прикрывают, кривляньем, отвратительными потугами чтобы извлечь из себя эффекты либо же сало). Этот навоз я продала весь испещренный мной на полях словом, каким я называю мародёрческую клику. За весь мѣшок я получила от букиниста немногим больше того что̀ стоит экземпляр моих произведеній вышедших в печати (9 томов). Ужа-

интеллигентку только и имѣвшую то что с нея сорвано: часики, недорогое колечко...—мы тоже лишились послѣдняго, довершили грабители дѣло столь остервенѣло предпринятое писательским цехом (писательницу, для них неисчерпаемый клад, довести во что бы ни стало до обнищанія), украли у нас все лучшее что мы имѣли еще из обстановки, одежды, бѣлья, украли до послѣдней бездѣлушки и всѣ драгоцѣнности наши, в том числѣ и упомянутыя, в том числѣ и французскіе золотые часы моего мужа, которые я так любила, потому что столько лѣт он носил их, в том числѣ и завѣтные рубли, старинные рубли полученные мною за первый проданный моими руками экземпляр моих литературных трудов.

сно? Но, увы, всякій паук у нас хочет за рубль получить десять, а у нас не было хлѣбушка, а кушать хотѣлось, с голоду умирать не хотѣлось. Довольны вы, мои коллеги без чести, без совѣсти, без стыда?

По всей Москвѣ завелись денежными людьми практикующія аптеки и всякаго рода лѣчебницы и убили и грошевый заработок бѣдняков врачей. А мѣста... Да, бѣднякам врачам только такія мѣста: огромный труд, а вознагражденія — нѣсколько десятков рублей. Вот и живи при дороговизнѣ в Россіи. Исходишь в работѣ, и бѣдствуешь, голодаешь, теряешь послѣднія силы, здоровье, а они, сытые писатели, отнявшіе у меня мой единый кусок хлѣба, заявляют безстыдно: „Бѣдность без смиренія нами наказуется". Ну, не хлыщи ли с халуйской душой? Из-за них бѣдность. И откуда же взяться смиренію пред ними, когда я считаю что всѣ люди равны, а себя пред коллегами считаю высшей, вѣдь я в настоящее время самая даровитая в русской литературѣ и самый значительный и цѣльный писатель, а как человѣк сравнивать себя я могу только с самыми лучшими людьми, но никак не с самыми худшими, никак не с лишенным совѣсти мародерствующим и жадным цехом. Но им горя мало, что они дурные. Теперь ради своей корысти и своих личных планов печатная бумага всю публику, все общество стремится затормошить своей политикой, отнять у людей всѣ нравственныя руководящія нити, весь критерій нравственный, ибо тогда не только меня, всю Россію, захотят, утопят.

Впрочем к интеллигентным труженикам бѣднякам и вообще подлое отношеніе.

Вот мы, напримѣр, на войну просились. Но чтобы обоих нас, не разлучаться нам. Ибо я не бросила бы его и ради служенія на войнѣ, одна не поѣхала бы*). К чему это! И его замучила бы разлука, и сама я зачахла бы без него. Любовь сильнѣе. Сколько женщин бросили мужа и дѣтей! Это потому, что у них любовь слабѣе. А может быть votum, обѣщаніе, что-нибудь замаливать — как дѣлаются пожертвованія деньгами. А снисходительности на войнѣ я бы не хотѣла. Я хотѣла бы работать как мужчины, во всю мою силу.

Страха перед жизнью, которым болѣют обыкновенно обѣднѣвшіе пауки и всѣ тѣ, которые тянутся жить пауками, т.-е. праздно, за чужой пот, или непремѣнно каким-нибудь легким трудом, непремѣнно жирно вознаграждаемым, и которым этот „идеал" не дается в руки, — я его, разумѣется, никогда не знала. Я знала с дѣтства, что жить буду как захочу, что захочу в жизни трудиться, много трудиться, знала, что личную жизнь буду имѣть тоже ту которую захочу и чувствовала, что буду безмѣрно любима, я, сама с таким беззавѣтно любящим сердцем почти с колыбели. Настиг голод — я его переголодала и работой из него выбилась. А если бы работы не добилась — я бы себя убила. Значит, у меня и страха перед смертью не было никогда, у меня, в то время, почти семнадцатилѣтняго ребенка-женщины. Шла бодро, свѣтло на встрѣчу судьбѣ лучезарной или ужасной, но шла с борьбой и моей непоколебимой и непреклонной волей поворотить ее туда куда надо, а не туда куда шаблон, гноя-

*) Меня принять соглашались.

щій мнѣ мою родину, накаркивает ее для всѣх безразлично. И теперь тоже нѣт у меня страха смерти, если бы смерть пришла. Было бы только безмѣрное сожалѣніе о жизни, потому что я жизнь обожаю, люблю — люблю, ничего еще с меня не довольно, ни утѣх, ни чудных радостей, ни даже жгучих скорбей. Жить, жить, чувствовать, чувствовать... и также страданія, если угодно судьбѣ... пока мой драгоцѣнный, обожаемый друг на землѣ, а в душѣ столько еще, что̀ хотѣлось бы высказать людям. Но только я понимаю убитой мнѣ быть на войнѣ возлѣ моего драгоцѣннаго. Разлуки друг с другом мы не понимаем.

Есть у меня теперь, порой, страх перед голодом. О! за себя и этого страха нѣт. Доведенная ограбившей меня писательской кликой до голодной смерти, я бы и теперь смогла умереть от своей руки, предварительно плюнувши в лицо писателям-удавам. Но вѣдь теперь не то что в Женевѣ. Там я испытывала голод одна. А теперь я голодаю не одна и муки мои развѣ могу я сравнить с пережитыми в ранней юности!

Но я хочу сказать еще вот о чем. Чего стоят интеллигентным бѣднякам, врачам, например, поиски мѣста сколько-нибудь сносно оплачиваемаго! И никому так не трудно добиваться как полякам. Да. Болтовня о свободах, справедливости и т. д. которая ведется на столбцах газет и тѣми, которых газеты выставляют на вид — это только ореол себѣ и реклама. На дѣлѣ же самое возмутительное угнетеніе поляков всегда и во всем и всѣми, даже нестарыми либеральствующими поколѣніями.

— Какого вы вѣроисповѣданія?

— Римско-католическаго.

И этого — что католик — довольно, чтобы не дать заработать и мужу. Слѣпая ненависть к полякам, которая гложет газеты, однѣми изливается открыто, цинично, другими сокрыта в их завистливых нѣдрах, но так и прорывается безпрестанно сквозь хитрые и „тонкіе“ пріемы все той же травли лучших элементов, культурных, добросовѣстных, уважающих труд, и эта травля дает все тѣ же плоды... Да, все что благородно и неподкупно, все что способно и работяще, все это должно в Россіи пропадать с голоду, потому что в каждой профессіи успѣвшіе хотят для себя захватить еще и еще, и кумовство кромѣ того, и протекція безжалостно вытѣсняют отовсюду лучших работников, когда они бѣдные.

И так как моя родина предоставляет нам умирать с голоду, то и оставляю ей памятник — правду о ея худших людях, о всѣх этих приспѣшниках успѣвших, о всѣх этих дѣятелях на полѣ печати, об этом цехѣ хищном, жестоком, пошлом, циничном. И не прощаю их за то, что и раньше всегда губили тѣх, которые силы нашей не имѣли и нравственно падали многіе низко как они, в душѣ быть может сокрушаясь, но подняться сил уже не имѣя. И не прощаю и за тѣх слабых, которых будут и дальше губить. Ненавижу их, презираю. Сказать не могу, как огненно, как пламенно ненавижу и презираю этих людей!

— Моя натура влечет меня радоваться, любить всю живую Божію тварь, слѣдовательно и этот пресловутый „вѣнец творенія“ т.-е. всѣх людей без изъятія, всѣм им без изъятія желать счастія и только добра, а тут горе навязали, и ненависть — презрѣніе к себѣ навязали, — сказала я

раз моему драгоцѣнному, когда уже и горе, перспектива голодной смерти стала давить, и ненависть и презрѣніе к безчестной писательской братіи свили себѣ мѣсто в моей нѣжной душѣ.

А тут и другое ужасное горе стало давить. Горе для стольких людей! Сколько, сколько уже полегло этих людей и сколько их ляжет еще! И всѣ эти страданія людей передаются моему сердцу, хотя мнѣ лично терять там некого было. Но я так ужасно волнуюсь по поводу ужасов войны и самаго существованія войны между людьми! И я их чувствовала, сраженія, в тот день как давались, как иные чувствуют грозу. Но от грозы задыхаются обыкновенно нервные, т.-е. больные и трусливые организмы. Я же задыхаюсь от любви к людям, от жалости к людям, ко всѣм людям, к нашим и чужим, да простит мнѣ моя родина, моему жаркому сердцу, которому жалко всѣх людишек на свѣтѣ. И не пишется в часы волненія. И забываются всѣ собственныя горести, всѣ собственные враги — беллетристы которые меня, человѣка кипучей души и полную жизни и дарованія толкают в могилу откуда ни к чему нѣт возврата. Мысль моя там, гдѣ... Но что я могу, я по беззащитности червячок, голос которой долетает только до худших людей, до удавов — до прессы! Хотѣлось бы превратиться в особую птицу всемогущую и впѣть всѣ мои чувства в людей, чувства любви, единенія, чувства — что всѣ мы дѣти единаго Бога... И не имѣть возможности сдѣлать людей братьями и счастливыми!.. Тяжко не быть всемогущей. Тяжко — сознавать, что могла бы мір превратить в рай, людей в ангелов, но не дают, не дают, не дают.

Мы совсѣм было собрались на войну. *Хотѣли* итти, но вмѣстѣ, т.-е. чтобы и мужа приняли (как врача). И я страстно готовилась к поѣздкѣ, хоть извело бы меня жалостью — видѣть страданія, ужасы, слезы. Плач, крики слышать — душа изнывает. И одного человѣка видѣть как умирает жалко, ужасно... Помню, из Каира вернулся один. Туберкулёз, и, по обыкновенію, кто-то из врачей отправил — в Египет. Едва успѣл вернуться на родину. Еле живой слѣз с извозчика. Вошел в номер, дурно сдѣлалось. Прибѣжали за мужем. Почти на руках у мужа скончался. Ужасно было жалко бѣднягу. И гонорару, хотя и страшно нужны нам деньги прямо на хлѣб, — не радовались этот раз, и не только потому, что напомнило мнѣ кончину моих обоих братьев. Я дочь и внучка и правнучка военных и не страшили меня проявленія войны. Верхом тоже умѣю ѣздить. Вѣдь это трудно всѣм толстым и грузным женщинам, а я тонкая и легонькая, на лошади ѣздить умѣю. Но я на одной из страниц сказала: и насколько же жизнь и прекраснѣе и ужаснѣе описанія жизни! А по поводу войны я говорила себѣ: и как же блѣднѣют описанія войны гр. Толстого при настоящей войнѣ! Ѣхать одной — гдѣ почерпну я прямо физическія силы видѣть всѣ эти муки, всю эту кровь, всѣх этих раздробленных людей! А послужить раненым страстно хотѣлось. И полезна и для перевязок я была бы, хотя я не врач. Во Франціи обо мнѣ говорили: „Madame Монгирд тоже великолѣпно дѣлает перевязку“. Потому что приходилось конкуррировать с милым муженьком. Вѣдь жили мы в деревнѣ. Порой, время не терпит, а муж уѣхал к больным, а до другого врача да-

леко. А несчастный истекает кровью. Промоешь, бывало, тщательно рану, дезинфецируешь, смочишь чѣм надо или присыпешь, и повязку наложишь. Ну, готово, скажешь, только придите показать мужу, если будет болѣть или что.

А раз, помню, прiѣзжает мясник. Просит отрѣзать палец.

— Не могу, — говорю.

Молит.

— Не могу, cher ami. Муж вернется от больных и отрѣжет, если нужно.

— Болит. Я заплачу. Только отрѣжьте, умоляю.

— Платить мнѣ не надо. Я не доктор. И денег я не беру. А давайте я попытаюсь сдѣлать что-нибудь. Может быть боль утихнет. Давайте сюда руку.

Жутко стало. Палец наполовину отрублен. Дрожь стала пронимать. Но взяла себя в руки. А он весь побѣлѣл.

— Отвернитесь, — говорю, — не смотрите.

Слава Богу, не пришлось отнимать пальца. Уж он мнѣ потом каждую весну огромный букет ландышей присылал.

А на войну не пришлось ѣхать, потому что — гдѣ хлопотала, чтобы взяли нас обоих, — откровенно было мнѣ сказано слѣдующее:

— Нам нужны врачи на ов.

А когда я возмутилась и стала доказывать, что это прямо безсовѣстно и стыдно так говорить, потому что поляки чудные люди, чудные, честные работники и без счета их умирает в рядах русских войск, — приступили к другому опросу:

— Сколько лѣт вашему мужу?

— Пятьдесят.

— Ха-ха... Вы бы еще, сударыня, хлопотали тогда, когда ему будет шестьдесят. Нам нужны молодые врачи.

— Да он и так выглядит молодым. И работы вам сдѣлает в десять раз больше иных „молодых“ врачей. Он очень работящiй. Здоровье только не очень крѣпкое. Но он и теперь, хоть и нездоров когда, а все он работает, никогда не пропускает службы.

Восклицанiе:

— Ну, вот видите, и здоровье не крѣпкое, а нам нужны врачи здоровяки.

— Так и меня не записывайте. Я без него не поѣду.

Это было почти в началѣ войны. Мѣсяцев через восемь запѣлась другая пѣсня: уже и пятидесятилѣтнiе врачи стали нужны, хотя бы с некрѣпким здоровьем. Мы получили письмо и условiя. Но и у нас перемѣнились матерiальныя обстоятельства, еще хуже стали, но контракт на квартиру только что начался, расчета не было, было бы уже совсѣм разоренiе.

Вообще ужасна для интеллигентных бѣдняков моя родина, поэтому и Москва, во всѣх отношенiях благодѣтельная только для богатых либо жуиров и порочных и даже безобразно всѣм этим элементам угодливая.

Нехорошо ея отношенiе и к труду врачей-бѣдняков. И в этой области только в каких-нибудь пустяках смахивает на заграничное.

Вот и тут бывает — прибѣжит кто-нибудь, а муж уѣхал к больному.

— Доктора дома нѣт, — говорю. — Через два часа будет, и придет к вам.

С гнѣвом:

— А если до тѣх пор больной умрет?

— Так я же не обязываю ждать. Пригласите другого. Мужа нѣт дома. Вернется через два часа.

— Пойдите вы. Вѣдь и вы небось знаете.

— Я не имѣю права. Я не доктор, я только писательница.

— Ради Бога пойдите. Хоть чѣм-нибудь поможете пока. Вы навѣрное знаете.

— Не имѣю права лѣчить.

— Ради Самого Бога!

„Ради Самого Бога", а чуть что не по нем — подсидит он же, хоть тоже даром услугу окажешь. Ибо много и нахрапистых и плутоватых. За удачное лѣченіе и доктору иные норовят не заплатить. Если бы подвести итог — сколько заработанных денег потерял каждый бѣдняк врач на таких, которые во всем стремятся прожить на даровщинку. Ну, а сколько же этих примѣров — чуть смерть пересилила заботы врача — нельзя ли еще урвать с доктора чего-нибудь. Моего мужа Бог миловал до сих пор. Все как-то удачно было, как во Франціи. Но случаи были невеселые:

Старинный кліэнт моего Флорентія, т.-е. муж семью его лѣчил с тѣх пор как начал в Москвѣ практику. Чадолюбивое существо и в общем хорошій маленькій человѣк, и всегда хоть не много а платил аккуратно. Дѣтей у него множество, всѣх ужасно любит и всѣх удавалось мужу сохранить ему живыми. И вот, недавно, заболѣвает один, муж лѣчит, ребенок выздоровѣл. Вскорѣ заболѣвают еще двое.

То-ли что расходов стало жалко или по каким другим соображеніям, но говорит мужу:

— Этих я в больницу положу.

— Если предпочитаете.

Что же другого отвѣчать докторам. Если настаивать — „Нѣт, я буду лѣчить", — думают, только за рублями гоняются. Вѣдь русскіе только и живут подозрительностью.

Дѣти, оба, в больницѣ умерли.

Отец — в отчаяніе. Да с тѣх пор возненавидѣл моего бѣднягу. Боготворил, а тут возненавидѣл — его, котораго только боготворить может человѣк. Да как возненавидѣл! Так и кидается как бѣшенный волк. Того и гляди схватит за горло. Стал его обходить еще издали. А раз, вмѣстѣ мы шли, не замѣтили как налетѣл. Я перепугалась, стала между ними. А он кричит мужу:

— Как вы смѣли позволить мнѣ моих дѣтей отвезти в больницу! Вы должны были запретить мнѣ везти моих дѣтей в больницу. Вы должны были приказать мнѣ: „Не смѣй, такой-сякой, старый дурак, везти их в больницу!" Безжалостный вы!

Господи! Маленькій, того и гляди, как тигр прянет, в горло вцѣпится. И его вѣдь, несчастнаго, жалко: обезумѣл от потери дѣтей.

Вот и положеніе врача. А скажи им что-нибудь подобное когда еще не свершилось непоправимое — „врачам лишь бы деньги получать". Сколько мерзостей печать и писатели внушали публикѣ насчет врачей, не исключая гр. Толстого тоже написавшаго о врачах пакость, хотя, полагаю, ни одного труженика-врача он и в глаза не видѣл за всю свою барски-благополучную жизнь.

А я, отказавшись от мечты уѣхать на Дальній Восток, горевала еще вот почему.

Я бы им уже заодно изучила Японію, и Ки-

тай, говорила я себѣ. Я бы и там увидала то чего они не видят. Я бы чудныя вещи сотворила бы как Loti в період расцвѣта его таланта. Я прямо негодую, что они ничего полнаго и правдиваго не дали о Японіи и Китаѣ. До чего у них поверхностно все! Газеты, которыя на каждой бѣдѣ народной наживаются, нажились и на войнѣ, а писали только для черни, только для малокультурных всѣх слоев, — нелѣпыя исторійки, сочиняли пошлости или сообщали все больше свѣдѣнія по части цѣн на номера и водки да еще Гейши изучались ими. Чѣм живут, тò и предлагают читателям. Но про Японію, насколько помню, и Loti дал пошлости: „Японскій брак“... Мизерен, пожалуй, теперь показался бы и Loti. Даже крупный подмѣчал то что мельче и не проникнул в геній народа. Природа, зданія и пагоды, насколько помню, все это я находила что обаятельно, прямо дивно описано... Но их не понял — всѣ возможности заложенныя в этих людях, всю силу их, даровитость и стремленія к совершенству во всем. Я бы мою глубокую наблюдательность и глубокое изученіе и проникновеніе и тут противопоставила бы непониманію их всѣх, и умышленной лжи. Мазали, мазали о Японіи, о Кореѣ, а похожаго на интересную и захватывающую правду почти ничего, особенно чтò до Японіи. Что значит быть по природѣ неглубокими да еще пошлыми, да еще спутанными направленіями, тенденціями да угожденіем прежде всего и всегда — улицѣ! Один сто раз пересчитает в газетѣ сколько носильщикам заплатил; другой — пересчисляет сколько бутылка любезных им спиртных напитков стоит; а третій тоже отовсюду шлет о спиртных напитках: вездѣ, мол, они есть, так и знайте, любители

оных. Другіе же распространенно освѣдомляют по части гейш да разврата. Потому что всюду возят в себѣ свои вкусы, свое болото. И повторяют друг друга: ѣда, питье, климат, вертепы... а из остального почти все прозѣвали, или извратили, думая угодить толпѣ.

Один день проведенный друг без друга невыносимо тяжко проходит для нас обоих. Вѣдь жизнь так коротка! И пролетит, и уже не повторится вовѣки вѣков. И жадно пользуешься каждым днем жизни, всѣми часами проводимыми вмѣстѣ. Чувствовать, что тут он, со мной, что друг с другом мы, глазами ищем друг друга, хоть и заняты оба. Чувствуем присутствіе и близость друг друга, и нам хорошо, блаженно, тихо на сердцѣ и счастливо, чудно. И что еще скажу о нас обоих? Все то же: наша жизнь прекрасна. Наша любовь навѣки. Любит меня, люблю его, и всегда все то же будет. Боготворит меня. И любит меня, любит. И я боготворю и люблю моего безцѣннаго, драгоцѣннаго. И я знаю что моих читателей интересует все в моей жизни, интересует и моя любовь, хотя и счастливая она и удовлетворенная. „Да и как не интересоваться! Писатели почти всѣ прожили без любви, или быстрехонько выдыхалась любовь из обоих сердец“, сказали мнѣ студенты. И вот что прибавили: „Учит нас ваша личная жизнь. Так же она дорога будет новой Россіи как и ваши произведенія. Каждый штрих вашей жизни, вас самой интересен и поучителен, и захватывает не менѣе чѣм ваши художественныя произведенія. Истинная жизнь. Живая жизнь. Живое“.

Да, они (писательскій цех, буржуи, паразиты, черство-сытые всякаго рода) не знали какіе есть люди на Руси из „малых сих". Тѣ только о гноѣ и мусорѣ писали, а об истинных людях и знать не хотѣли, раз безсильны их пріобщить к порокам и низостям. Поэтому и пишу им порой о трудовой интеллигенціи, а также о себѣ, о нас обоих, дабы знали как можно жить и на Руси.

А суточныя дежурства мужа на службѣ невыносимо тягостны и тяжки для нас. Это дни для жизни пропащіе. Неизреченное блаженство — свидѣться послѣ разлуки, но эти сутки проведенныя друг без друга все-таки каждый раз невыносимо тяжки и тяжелы.

— Пріѣзжай ко мнѣ, дѣтка. Пріѣдешь?

— Пріѣду. Без тебя страшно тоскую. И пишу, а все на сердцѣ тоскливо.

И много раз ѣздила к нему на его дежурство. Вот и радость наша. На крыльях летишь к мужу, как на первое свиданіе любви.

Пріѣдешь уже когда его товарищи разбрелись из дежурной. Уйдет и он. Пойдет по палатам, а я сижу на допотопном диванѣ и мнѣ опять блаженно, потому что — кончит обход, опять мы вмѣстѣ весь вечер.

И уже сѣрыя, точно тюремныя, какія-то мертвыя стѣны дежурной не давят и милаго.

— Одно твое присутствіе оживило, согрѣло, всему дало душу, раздвинуло стѣны, подняло потолок, моя малюточка.

И диван дежурной, и вся неуютная обстановка уже не кажется такой сборной, унылой. И эти общія туфли за ширмами — такія огромныя, подобранныя, очевидно, для самой большой ноги на

свѣтѣ на случай если попадется врач гигантских размѣров, которыя и до половины не заполнились бы моими домашними золотыми туфельками, за которыя в деревнѣ деревенскія дѣвушки и женщины называли меня боярышней-царевной.

Еще — блаженство, когда утречко проводит муж дома, как-раз в день суточнаго дежурства. Ибо послѣдніе годы всѣ дообѣденные часы, и будни и всѣ рѣшительно праздники, отдаются туда, гдѣ мало кому заботы есть ли у врача и его семьи обѣд или вернувшись с работы он так же останется голоден как и идя на работу, ибо вознагражденіе за свой труд врач получает жестоко мизерное, и на первую потребность, на кров, на самую маленькую квартирку не хватает, а жизнь подло дорожает и дорожает, начиная с хлѣба, мяса и пр. *).

А в тѣ ужасные московскіе дни два раза пришлось дежурить моему мужу. Ужасные незабвенные дни и по той смертельной тревогѣ, которую я переживала каждое утро когда муж уходил, не зная вернется ли живой, тревога которая каждый раз снѣдала меня до того момента как мои глаза опять его видѣли. Или раньше еще, в „всеобщую забастовку", когда мой муж, как и прочіе труженики-врачи, каждый день уходил за тридевять земель на пункт (для подачи помощи раненым на улицѣ) и иной раз все время ничего не ѣвши возвращался

*) Уже раз говорила я о неумѣстности ламентацій газет на „дороговизну" за границей. А сегодня снова читаю о „дорогой" цѣнѣ на говядину. В Москвѣ во-первых она еще дороже, и такіе как мы уже почти и не ѣдим говядины, принуждены питаться французскими супами (с сливочным маслом), а во-вторых никто-то не заикнется о том что фунт на Западѣ гораздо же больше здѣшняго фунта. Ну не скандал ли 4 коп. за ломоть чернаго хлѣба?

пѣшком же в этой ночной кромѣшной тьмѣ!.. А в самый разгар свершавшихся ужасов, я уходила с ним вмѣстѣ, провожала его как няня провожает ребенка. Сердце мнѣ подсказало, что опасности всего больше для мужчины, что мужчина — один, именно интеллигент, рискует жизнью на каждой улицѣ, но женщина уберечь его может уже одним своим присутствіем. И наконец пускай и я вмѣстѣ умру. И — я его провожала. Всѣ болтуны попрятавшись по норам, а мы бѣдняги шествуем по Москвѣ или ѣдем. Потом услышала, что одна полька так точно охраняет близкаго себѣ человѣка, тоже провожает своего мужа на службу, и еще двух-трех интеллигенток увидѣла, полных той же заботы — уберечь каждая своего дорогого. Так вот и на оба дежурства ѣздилось вмѣстѣ, на цѣлыя сутки. Особенно первое путешествіе памятно будет всю жизнь. Это было в один из самых страшных дней в центрѣ Москвы, как-раз 12-го декабря. Двумя часами раньше чѣм нужно выбрались мы из дома: через четверть часа уже ни одного извозчика не осталось на улицѣ. Зловѣщая пустынность улиц, зловѣщія кучки мужчин, из которых одна, свершивши только что безсмысленное надругательство над одиноко шедшим военным — отнятіе у него оружія — продолжала хозяйничать на углу одного из переулков. Никогда не забуду этот голос, закричавшій — „Товарищи!“ — если бы можно было передать безчинствующій и самодовольный звук голоса ражаго молодца! — в эту минуту отнятой шашкой он с веселым смѣхом колотил по забору. А там далѣе хитровцы, хитровцы без конца, разнуздались, хватают за санки, лѣзут, требуют „на пропитіе“ денег, отни-

мают послѣднее серебро, а самим нам ѣсть нечего, весь докторскій заработок пресѣкли, убили, пресѣкли и мой кусок хлѣба, ибо с книжками моими бѣгать по Москвѣ немыслимо теперь. И — безполезно. „Интеллигенція пробьется и так“ — вот небрежный отвѣт всѣх русских живущих одной полосой, отказывающихся купить и рублевую книжку. А трудовая интеллигенція именно пробивается только своим трудом. Нѣт заработка, ложись, умирай. А в Россіи всѣ заботы были только о хитровцах, людях, конечно, несчастных и очень жалких, но совершенно потерянных для труда и уж не так же необходимых и для Россіи, чтобы на долю интеллигенціи, мирно и упорно трудящейся, и сочувствія ни в ком не осталось.

(Да, кому же как не мнѣ перенесшей столько страданій, и теперь переносящей всѣ эти ужасы из-за подлостей писательской братіи, суровую правду говорить людям-братьям. Только этим могу быть полезна, морально, потому что я бѣдняк как всѣ трудящіеся бѣдняки и матеріально, к сожалѣнію, ничего не могу для людей. А кромѣ того я и не хочу чтобы трудоспособные люди милостыню принимали из вѣка в вѣк. Я хочу, чтобы работа стала достояніем тѣх кто живет только трудом и — отрадой для них. Т.-е. я хочу чтобы каждый полюбил труд. И я хочу счастія и блага для всѣх... Но я опять скажу: лучшій слой общества есть бѣдная трудовая интеллигенція. А трудовому интеллигенту каждый даст пропадать с голода. И жестоко ошибаются считая что интеллигенція обезпеченнѣе крестьянина, например, или что она меньше чѣм он переносит лишеній. Крестьянин сплошь и рядом выпивает водки больше чѣм на сто рублей; крестьянин каждый

годовой большой праздник затратит на пиршество и гулянку рублей тридцать и сорок. Помножьте на шесть — ибо храмовых праздников у крестьянина не менѣе двух, затѣм Рождество, Пасха, Масленица и Заговенье. И на это отрывается обязательно от доходов крестьянских, с земли ли, с отхожих ли промыслов. Ибо крестьянин отказывать себѣ не умѣет. В области *своих* потребностей, разумѣется. Как же не нищать, когда на это отнимается от необходимаго! Интеллигент вѣдь тоже имѣет свои потребности, не эти, слава Богу, а потребности духовныя, артистическія и т. д. но всю жизнь только и дѣлает что отказывает себѣ. Если бы в средѣ трудящейся бѣдной интеллигенціи каждая семья двѣсти-триста рублей в год тратила на удовольствія, то интеллигенція завалила бы собой филантропію, существуй филантропія и для интеллигенціи. Но помимо того что филантропіи для интеллигенціи нѣт, она, слава Богу, брезгает всѣм что не есть кусок хлѣба заработанный своим трудом, и, поступай она как крестьянин — отправлялась бы массами на тот свѣт, ибо много и много таких, которые заработка имѣют едва в два раза больше вышеприведенной цифры, а то только это, т.-е. на пропитаніе, квартиру и прочее — рублей триста, четыреста в год, и не имѣют ни хаты, ни клочка земли, ни коровы, ни овцы. А пишущіе буржуи и баре знают только одних: сытых себя, богачей да из не пишущих опять же одних богачей. И матеріальное положеніе крестьян сравнивают только с положеніем тѣх, что тысячи, десятки и сотни тысяч неправдой и кривдой сгребают к себѣ. И не имѣя даже порывов капиталами своими в таком случаѣ широко подѣлиться с бѣдным народом — только неразумно разжигают аппетиты к толстой мошнѣ).

И, Боже, неизреченная благодать, когда, наконец, мы очутились в дежурной, далеко от уличных ужасов, с радостным, неописуемо чудным, сознаніем, что цѣлыя сутки не будет этого смертельнаго замиранія сердца, этой смертельной, убивающей ежеминутной тревоги за жизнь друг друга. Цѣлых двадцать четыре часа! Вѣдь тогда жилось только сегодняшним днем, только этим часом, в который душа изнывала в тоскѣ и тревогѣ за жизнь любимаго существа. И сколь же быстро промчались эти двадцать четыре часа блаженной тихости сердца, и опять безконечные дни ужасов и тревоги.

О, да не извратит все извращающая печать мою душу, моих чувств, моих слов. Сейчас я пополню. Страдала я не только за безконечно дорогое для меня существо. Страдала я за всѣх, за каждаго человѣка. Каждаго человѣка мнѣ жаль, каждая жизнь для меня дорога. Мы сѣли за стол когда грянул первый днем пушечный гром. Я зарыдала; ѣсть не могла. Это было от нас далеко. Но я рыдала за тѣх, которые *там* ложатся, легли... Людей жалко, каждую жизнь погибшую жалко. Я перестала рыдать, когда дошло до меня, что это, слава Богу, только баррикады ложатся, потому что на баррикадах этих бойцов нѣт почти вовсе. Я только проклинала проклятую прессу и всѣх проклятых писателей за то что задушили меня — что задушили мой голос, не дали моим книгам дойти до людей, отняли у меня возможность писать для людей в это прискорбное время, писать изо дня в день если нужно, чтобы предотвратить многое, многое на что другіе хитроумно толкали из-за расчетов

своих политических, своекорыстных, тщеславных. Вѣдь для этой миссіи была я одна во всей русской печати. Ибо газетам чѣм хуже тѣм лучше — стали продаваться как никогда. Я же, сама бѣдная, без боязни кого бы то ни было, глубоко искренняя и глубоко честная и в жизни и в моей писательской дѣятельности, никогда не сказавшая ни слова против моих убѣжденій, горькую, но святую правду дала о народѣ, ибо единая служу моей родинѣ безкорыстно, не жду для себя от родины ничего, ни даже куска хотя бы черстваго хлѣба, пишу только любя мою родину, и любя ее лучшей любовью чѣм тѣ, которые ей льстили и льстят, ибо стремлюсь чтобы люди моей родины и дѣянія их не только считались ни даже казались лучшими, а чтобы лучшими они стали на самом дѣлѣ. И я знаю, что голос мой был бы услышан. И я знаю, что я и одна, моим кипучим пером смогла бы хоть отчасти парализовать тлетворное вліяніе честолюбцев или непонимающих и не допустить хотя части пережитых народом (всѣми его слоями) страданій, ненужных, безсмысленных ужасных страданій. Я знаю, что дай пресса мнѣ славу как писательницѣ — что̀ и должна была сдѣлать, если бы пресса была честная — мой голос был бы услышан, ибо я-то трудящимся ближе чѣм всѣ политиканы взятые вмѣстѣ, всѣ в сущности сытые, много — пауки, много всегда были, суть и будут своекорыстными надувателями народа, растлѣвателями при случаѣ, т.-е. когда этот путь показался им ведущим к их цѣли — к удовлетворенію своего честолюбія, к возвеличенію самих себя, своей группы. Мой голос был бы услышан. Это я чувствовала в самый разгар событій, когда набира-

лась моя Невеселая книга и они ее громко читали по рукописи. „Мы этого автора уважаем“. „Нам лестно набирать книгу этого автора“. Ибо, всѣ — трудовые, они в моих страницах чувствовали душу мою, искреннюю, беззавѣтно любящую родину свою и народ, мою суровую правду признавали за правду, меня же и как человѣка навѣрное чувствовали своею сестрой, стократ больше сестрой чѣм всѣх буржуев политики которые выгоды ради и страха ради льстят им совсѣм не потребно и истинному добру не станут учить пока им это невыгодно — если это тормозит их личные планы.

И многое, многое я сказала бы трудящимся братьям. Многое прибавила бы к тому что̀ уже разбросано в моих печатных трудах. К чему, например, пріобрѣтать и рабочим порок, который изъѣл душу и нравственность сытой интеллигенціи — фразерство! Каждая подлость уходит за доблесть если она нашпигована трескучими фразами. И фразерство никогда не приводит к истинному творческому труду. Фразерство самодовлѣющая цѣль болтунов, гремучая шумиха, под которой обязательно или пустое мѣсто, или зачаток тлѣнія. Творец спѣшит к творчеству. И сотворит — и то не расплывется в словах, ибо каждый пусть его судит по дѣлам его. Народная масса не вобравшая в себя ни образованія, ничего еще для перевоспитанія нравственнаго, заразилась фразерством. И это ужасно, ибо легко на вѣка может дѣло остановиться на этом. А кто же из нас пришел бы в восторг, если бы в природѣ оказались только мухоморы, видненькіе для глаз, но богатые ядом или гнилью. К чему подражать и тут, тужиться непремѣнно повторять чужую исторію, чужого народа, притом не с идеаль-

ным результатом для всѣх. Вѣдь это признак и неспособности к творчеству. К чему также это упрямое тщеславное стремленіе позировать для заграницы, давать представленіе для Европы! Это есть признак нежизнеспособности. В Россіи свобода была дана и оставалось только принять ее с благоговѣніем сердца и благоговѣйно немедля, параллельно с улучшеніем экономических условій трудящихся, приняться и за прочій созидательный труд — за самый, обновленный, труд — и за обновленіе себя, людей и т. д., и т. д. И кто любит народ, кто любит свою несчастную родину, тот никоим образом не губил бы драгоцѣнный момент, не затѣвал бы игры так дорого стоящей и так измучившей родину. Игра задуманная из самолюбія и разсчитанная на эффект за границей не дала удовлетворенія даже этим ничтожным чувствам. И если за границей кто и сказал „взяли“, не „дали“ — это, увѣряю вас, лишь ничего не стоящій комплимент старому хвастливому ребенку... Терминологія тоже не дорого стоит. „Революція“ — по-вашему, ну, пусть будет и так. Потому что это вам льстит. А сходство вѣдь очень далекое, начиная с отсутствія надобности в „революціи“, ибо свобода была дана, и баррикад без бойцов. И иначе и быть не могло, и не должно было быть ни иначе ни так. Искусственное свелось на нѣт погубивши множество жизней и причинивши массу бѣд. А время потраченное тоже не малаго стоит. Сколько же созидательной работы можно было сдѣлать и хоть на воробьиный шаг подвинуть дѣло всесторонняго обновленія родины. А двинулось лишь назад, к еще большему одичанію и стремглав понеслось обратно к старому корыту. Потому что искренности не было у „руководителей“, т.-е. печати, быть может, и у масс,

кромѣ увлекшихся горячих голов. Была молчаливая сдѣлка: ты мнѣ устрой декорацію, я тебя поддержу в твоих матеріальных нуждах и требованіях. Трудящимся массам политическій ореол вовсе уж не так был нужен, украшать политикой экономическую борьбу. Его, трудящагося, захватила экономическая борьба, возможность улучшить наконец свою жестокую трудовую жизнь. К тому же свобода была дана. И если бы „руководители“ любили не себя, а народ, они это экономическое, соціальное движеніе трудящихся масс и направили бы сразу и прочно по соціальному руслу, не уснащали бы его борьбой политической, борьбой ненужной, ибо двери для благих начинаній настежь открылись, борьбой гибельной, ибо имѣя доступ в настежь открытыя двери они, чтобы войти, безсмысленно стали проламывать кров и твердую под собою опору и растеривать то что им нужно, необходимо.

Они.

Из моего дневника.

Клочки о печати, о нѣкоторых ея старых прегрѣшеніях и новых.

Fecit indignatio versum...

...gienjusz ...był im w chlebie ością, w gardle kością, pniem na drodze, cierniem w nodze, szydłem w brzuchu, swierszczem w uchu, solą w oku i smiertelną kolką w boku*).

„Женщина, которая любит и счастлива — ей у нас с радостью дадут погибнуть“. „Пошатнуть нам хочется всѣх, кто прекрасный“.

Первая фраза есть перефразировка ими строки из одного моего разсказа. Вторая есть их творчества. Гнилое творчество, гнилое и желаніе. Подобных гнилых фраз множество далось в печати послѣдняго десятилѣтія обезумѣвшими от зависти литераторами, безсильными изуродовать мое перо и мою жизнь.

Или: мой Флорентій для них „ненавистный человѣк“. Опять же потому, что и его не удается

---

*) ...геній ...был для них в хлѣбѣ остью, в горлѣ костью, пнем на дорогѣ, колючкой в ногѣ, шилом в брюхѣ, сверчком в ухѣ, солью в глазу, и смертельной рѣзью...

Из рѣчи крестьянина Петра Піеховскаго при открытіи памятника Степану Чарнецкому.

им сосводничать с пороками. И без конца еще дурных слов, которыми внушают и навязывают то что хотѣли бы чтобы было, ибо всѣ они хотѣли бы к своему уровню, к уровню своей жизни и души, пригнать и нас, удививших и обозливших их своей цѣльностью и высотой, которую и нос задравши не увидать им, не понять. Сытый голоднаго не понимает. Но и скудный духовно не поймет одареннаго Богом: зависть не даст. И, повторяю, причина ненавистничества — безнадежная зависть к моему дарованію, а также к тому что любовь свою я отдала поляку (точно боятся что, прочитавши меня, и остальныя искать счастія убѣгут к полякам). Ненавистничают и за то, что я хочу чтобы моя родина была самая лучшая, чтобы красна была не хитрованскими углами и не награбленными пирогами, и чтобы мои книги были самыя лучшія. Ненавистничали и за то, что не подчинялась их требованіям. Поется мнѣ — нѣт, не пой. Не поется — нѣт, пой (à la Чехов). Не принимает моя душа цинизма их второго фаворита (г. Горькаго) — нѣт, умиляйся пред его благоглупостью. Не принимает моя душа непотребных пакостей и того еще моднаго — г. Андреева, нѣт, восторгайся и этим шарлатаном.

Нынѣ нѣчто подобное говорится цѣлой націи: „Не хотим чтобы поляки были лучше нас“. „Не хотим чтобы поляки жили лучшей жизнью чѣм живем мы“. Ну, развѣ не позор всѣ эти циничныя фразы! И называют они это — обновленіем, возрожденіем. Самим не стараться жить лучшей жизнью и другим препятствовать развиваться, все болѣе совершенствоваться. О, родина, вѣдь это же ужас! Вѣдь это же гибель, самоубійство... Свободу всему

хорошему, свободу всему что есть труд, культура, добро, и сами насаждайте труд, культуру, добро.

В Петербургѣ и в Москвѣ — говорят газеты*) — стали на улицѣ нападать хитровцы, напали на дочь какого-то писателя, напали еще на одну дочь писателя, „кулаком разбили лицо“. Они, я думаю, и глядѣть раньше не смѣли на „барышень“ иначе как просительно, а это, я думаю, сами писатели, своими писаніями, своих дочерей сдѣлали доступными кулакам хитровцев. Чтò сѣешь, тò и жнешь. Провидѣніе справедливо. Модная литература сдѣлавшая модных героев и своих богов из только жалких хитровцев, пропойц, шалыганов и т. п. проникла и к ним благодаря ярым рекламам критиков-хвалебщиков гг. Горьких и Андреевых.

Какой вздор несли они о циклонѣ, пронесшемся над Москвой и окрестностями! И — „весь хлѣб выбило“. Даже в окно вагона не потрудились посмотрѣть, а пишут. Еще раньше московскаго циклона мнѣ пришлось во Владимирской губерніи раз, гуляя, увидѣть циклончик, и на Страстной Площади в Москвѣ — десяток маленьких циклонов с промежутками в 1—2 минуты. А они и этого не видѣли. И так все подогнали в описаніях — точно они знали что идет циклон.

Зависть — глупа. Завистники — комичны. Оттого что я училась в институтѣ — всякое женское училище они нынѣ стали называть институтом. Еще: купаться стали говорить про омовеніе от грязи своих тѣл в банѣ. А какое же это купаніе на

*) Еще до „освободительнаго движенія“.

полкѣ бани или на лавкѣ мылиться мочалками из таза или шайки с горячей водой. Купаться я называю (да и всѣ люди на свѣтѣ) — в морѣ, в Ронѣ, в Терекѣ, в литовских озерах, в Миніи (ну и в Москвѣ-рѣкѣ гдѣ-нибудь в деревнѣ). Это чудное купаніе я описала — они и пошли расписывать. Глупо!

Какая-то газетная гадюка умерла. Восхвалили, превознесли, объявив фамилію которую никто никогда не встрѣчал в печати. А под какими псевдонимами и иніціалами блудил он в печати — этого, хитрые, не сказали.

Сегодня прочла, что умер Арцруни, издававшій газету на Кавказѣ. Это, должно быть, мой ученик. В Парижѣ в мою юность я давала уроки французскаго языка армянину с этой фамиліей. Моему ученику было в то время лѣт около 30 (на лицо). Итак, мой ученик и „газетная дѣятельность“... Какое множество бросается в это легкое и на три четверти не нужное дѣло! Впрочем, о газетѣ Арцруни понятія не имѣю — хорошая она была или негодная.

Один из них игриво написал, что они нарочно бросают монеты китайцам, чтобы китайцы передрались. От их подобной и дѣятельности и литературы атрофируется нравственное чувство и так уже не живое и притупленное в черни всѣх слоев общества. Нѣт, одна я люблю Россію, одна я хочу чтобы моя родина была не хуже лучших в нравственном отношеніи.

Кому-то в Германіи запретил суд чести носить мундир. Прочла это в газетѣ. А „Русск. Вѣд.“ сказали: „разрѣшил“. Которая газета соврала?

„Крайне интересно вести войну с японцами“.

Можно ли такую подлость писать! Это простительно воскликнуть неумѣющему обдумывать простолюдину (я и разсказала), но вѣдь говорит это в газетѣ дѣятель прессы, который сам-то не участвует в войнѣ с японцами (позднѣе, они восклицали: „Очень интересная теперь жизнь“. Это — когда по всей Россіи начали убивать, рѣзать, душить, осквернять женщин, даже дѣтей, нападать, грабить...). Да, им крайне интересно промышлять пером насчет ужасов, бѣдствій, чужих страданій, горя и слез. Отсюда их пресловутое „картинное изображеніе“ военных ужасов, а по-моему одна дребедень — это „изображеніе“, крикливый вздор, детали — выдумка, и ничего не выносишь прочитавши, никакого представленія не дает что̀ там дѣлается. Или: „Это было эффектное сраженіе“. Нѣт, они для черни пишут так... эффектно. О, как мучит меня, что я безсильна сразу передѣлать людей. Чтобы ни войны, ни зла, ни хищничества, ни алчности, ни подлости не осталось на землѣ, ни скверннаго газетнаго писанія.

Так и видно, не военные все это пишут, а беллетристы — как истерички галлюцинируют, рисуются, упиваются своей кроваво-нелѣпой фантазіей, еще болѣе подлой чѣм кровавая дѣйствительность: „Шесть штыков воткнули ему в живот“. Или — об убіеніи китайца и незлобивости его. Но мимо, мимо! Для черни пишут так отвратительно. А простительно ли развращать и без того темных, несчастных людей!

Противно и то что газеты точно неисправимыя салопницы-сплетницы и по поводу войны всѣ извѣстія порой подают так безтолково — одно другое порой уничтожает — и подают всѣ слухи как-бы очевидно лживы они ни были. И если бы

они знали во что еще превращается в народѣ вся эта прочитанная газетная каша — что̀ вообще вызывает в народѣ прочитываніе газет, которому они так возрадовались, ибо любящим наживу не возрадоваться нельзя: сколько же этих лишних мѣдяков попало к ним в карманы! Теперь впрочем, слава Богу, многіе крестьяне критически относятся к газетным свѣдѣніям. Часто слышишь: „И все-то газеты врут“. „Врут газеты“. „Газеты все врали о войнѣ. Тут, какіе солдаты вернулись с войны, по-иному разсказывают. А мы-то читали в газетах, да вѣрили“, говорят жоны возвратившихся войнов.

А чего стоят фельетоны военные всѣх этих „знаменитых“, жирно живущих, литераторов! Господи, отвратительная цвѣтистость фраз, трескотня, истерическое кривлянье, искусственность, а надлежащаго, истиннаго чувства ни капли, ни пробеска. Собрали бы сами да и кинули бы в мусор все свое „творчество“. Французскій фельетон о войнѣ, переведенный в одной из этих газет, прямо был отдых от отечественных, оазис.

Сотрудники „Рус. вѣд.“ не жалуют японцев. Пекин, напримѣр, говорит: „Японцы злы и жестоки“. „У японцев злой характер“ и т. п. А себя они, всѣ пишущіе, считают моделью доброты: „В колья принять“ („ее“ или „его“, уж не помню), „лучинами исколоть“, „поджечь тѣло“, „выпустить кровь“ и так без конца много лѣт под ряд еще до войны подавалось в миленьких фельетончиках-притчах. А если вспомнить словеса и послѣ убійства сербской королевской четы! Но мимо, мимо!

Это — еще: „Подобострастіе японских врачей ухаживающих за ранеными русскими“. Что̀ за

хлыщи! Почему же не сказать: задушевность, ласковость, преданность. Ради чего же „подобострастіе“! Что̀ за фатовство! Человѣческая сердечность, даже только вѣжливость толкуется ими как подобострастіе. И кого унижают этим хвастовством и стремленіем во всѣх впаивать самомнѣніе и хвастливость. И что за низость стремиться все чужое умалить или извратить! Царь первый сказал: „Враг серіозный японец“. Также офиціальныя извѣстія показывали нам японцев самоотверженными для наших раненых, во многих отношеніях высокими людьми. То же говорят и многіе офицеры. А извѣстности наши только и нашли вродѣ этого: „Хитрые глазки японцев“. Эту пошлость еще раньше сказал Верещагин.

Но напомню что-нибудь из легкаго фарса.

Они теперь — послѣ того как один из моих маленьких разсказов (разсказов-шедевров, говорят почитатели) я озаглавила: Неначатая картина постоянно пишут слитно не. И очень часто выходит ерунда либо безвкусица. „Ненапечатанное еще нигдѣ“ чистѣйше безграмотно. „Обычно никому непоказываемый“ („Рус. вѣд.“). Тургенев не похвалил бы всѣ эти литературныя калоши. Еще: „бросил неразорвавшуюся бомбу“. Но у них чутья нѣт. Ни пониманія. „Рус. вѣд.“, когда онѣ заигрывали со всѣми, т.-е. à risque d'être pour leurs frais с любезнѣйшими поклонами отрекомендовывались всѣм, соціалистическая газета сдѣлала замѣчаніе насчет неправильнаго употребленія этой престарѣлой газетой слова всякій. И — правда. Гдѣ надо сказать каждый, они — всякій. Выходит тоже безграмотно. „Для всякаго непредубѣжденнаго человѣка“. Вѣдь и они как темные элементы из народа—

любят глумиться над всѣм и все высмѣивать, сами же больше всего злятся за насмѣшку. И поводы к насмѣшкѣ дают. Это мнѣ могли быть простительны неправильности в русском языкѣ в моих первых трудах, потому что я долго жила за границей и почти отвыкла тогда от русскаго языка. Но вѣдь как быстро я и тут совершенствуюсь. Они же падают...

Кстати: Тургенев у Zola бывал, а эпическій Zola у славнаго Тургенева нѣт. Это как король и кто поменьше...

Модный сборник, вышедшій в іюлѣ 1904 г. мѣтится у них 1903-м годом. По-моему, это — неблаговидная штучка. К чему тоже разно напечатанныя страницы! У меня, в Деревнѣ нашего времени, разный шрифт мѣстами, потому что мнѣ цензура много повыбрасывала и пришлось перепечатывать страницы. А всѣ штучки разсчитанныя на обман читателей или рекламу себѣ глубоко мнѣ претят.

Когда же это публика сама давала славу писателю? И скажут же! Теперь, когда публика сама без содѣйствія и внушенія критики дает славу... Это могло бы быть со стороны публики только по отношенію ко мнѣ, которую всѣ газетные и журнальные критики замалчивают. Но и этого нѣт, ибо большой публикѣ мои книжки ни капли не извѣстны, так как многія библіотеки их не держат, в провинціи и магазины не имѣют. Они же*) эти слова примѣнили к „славѣ“ своего фаворита г. Андреева, котораго именно рекламировали во всю, как г. Горькаго. Что за нахальство!

---

*) (Съ досады, что я носила продавать мои книги).

Как подло выражаются о женщинах гг. пишущіе! „Конкубинки". „По их словам выходит конкубинка и у Тургенева", — сказала одна читательница. Даже не задумались над тѣм что это задѣть может и оскорбить даже знаменитостей в их же средѣ, и стольких людей состоящих в бракѣ без вѣнчанія только потому что не у всѣх есть деньги на расторженіе перваго брака. Уж лучше бы занялись своими мужчинами, которые в престарѣлом возрастѣ мѣняют жену и дѣтей на не подходящую им по годам подругу или подруг, и не касались бы женщин. Лучшія женщины, когда первый брак неудачный, счастіе находят во втором бракѣ, первый же есть брак только по имени. Впрочем, они прямо негодяи: они, например, несчастную жену несчастнаго Гапона прямо гнусно оскорбляли в печати послѣ его убіенія. И тут же под свое покровительство брали кого-то из своих фаворитов-мужчин и на всю ивановскую вопили о скандалѣ устроенном ему будто за то что „сожительствует" без брака. Да и развѣ можно сравнивать тяжкую обиду женщинѣ, да еще нанесенную женщинѣ в то время когда она заливалась слезами по замученном близком ей человѣкѣ! О, как низко пали они!

Гг. Короленко и Горькій стоят за то „чтобы грѣшить, чтобы каяться, а каяться — чтобы спастись". А быть может (не помню) с конца они говорят: „чтобы спастись, слѣдует каяться; а чтобы каяться надо грѣшить". Вѣдь и каждый хищник и мерзавец дѣлает точь в точь так. Уж проповѣдывать, так проповѣдывать что-нибудь прекрасное, по-моему, идеальное: вовсе не грѣшить. Особенно же — писателям, назначеніе которых на землѣ не балагурить, а сѣять только доброе, благородное,

даровитое... Впрочем, для этих господ я — глас, вопіющій в пустынѣ, сказали они. Печально за родину.

„Неравность зрачков означает психическое вырожденіе", изрек кто-то о каком-то субъектѣ, желая быть может пощеголять медицинскою фразой. Положим, медицина говорит иначе: „Неравенство зрачков еще не доказывает" (и т. д.). Но я отмѣтила фразу вот почему: у Манасеина была эта неравность зрачков. А он очень славный был, по крайней мѣрѣ в свои еще не старые годы, когда меня с ним познакомил в Петербургѣ мой старшій брат, перед моим отъѣздом за границу.

Вот и свобода печати, а скудно у них, интереса не прибавилось. Не помогает и подрумяниваться чужим. Все то же да про то же — болтовня без конца. Все тѣ же говорильни*) — газеты, и лавочки слов. Только гадостей прибавилось в этих говорильнях. В смыслѣ талантов у иных только и было вѣдь загрязнившіяся и уже разбитыя корыта. И вот свои разбитыя корыта, т.-е. свои бездарныя перья они уже „свободно" отдают невозможным иной раз сальностям и похабствам. Да, „подниматься не так легко как падать", как говорит печать, потерявшая, очевидно, надежду возродиться, подняться. Да, свобода печати была, а Liberté oblige, но в пишущих не нашлось ничего за душой, поэтому ничего путнаго не сказали, ничего нужнаго и полезнаго не дали. „К тому же в том году Іа с возом зерна не пріѣхала, и мельницѣ без зерна**),

---

*) Слово говорильня встрѣчается у меня первый раз в Семьѣ Никитиных (издала роман-хронику в 1898 г.). С тѣх пор всѣ кажется повторили это слово. Так дѣлают пишущіе со всѣми моими выраженіями. Их же — легіон.

**) См. мою книгу: Женщины, том 2-й, Іа и Голиндуха.

Голиндухѣ, пришлось тяжеленько — хоть вовсе брось перо — привыкла пресса молоть *чужое* зерно", сказал кто-то из почитателей моих книг. Да, во дни войны я написала: в это скорбное время всяких ужасов, горя и слез я терпѣливо переношу подлости прессы, ибо не хочу чтобы родина, удрученная бѣдствіем, занималась еще мной, моим бѣдствіем, ни того не хочу чтобы и мои силы расходовались из-за писательскаго цеха, которому не стыдно и теперь упражняться в подлостях, в мародерствѣ и шантажѣ. И я, уже очень невысокаго мнѣнія об этом цехѣ, все-таки удивляюсь — откуда столько негодных в этом цехѣ, откуда их набирают такое многое множество, точно всю мусорную кучу в которой только сказочнаго перла не оказывается размѣстили цѣликом по газетинам, засадили за столбцы, фельетоны (или уж такія злачныя мѣста газеты, что как вошли туда, так уже все кончено с этикой, даже только с порядочностью). А теперь я удивляюсь этому отсутствію дарованій, этому отсутствію даровитых строк. А вѣдь они столько обѣщали — „Пусть дадут свободу печати, увидите какіе у нас таланты. Закипят". „При цензурном гнетѣ таланты наши были задавлены". Увы, полнѣйшій, по-моему, у нас упадок дарованій и в литературѣ и в прессѣ. Одна дребедень зачастую, а не произведенія и не статьи. Таланты, напротив, кипят еще больше в тяжелое время. А их не было, поэтому их нѣт и сейчас. Да и нечего смѣшивать дарованіе с темой. Нѣкоторых тем не давать касаться, это еще не значило убивать таланты. Есть о чем писать, слава Богу, лучше сказать — к прискорбію (например, мнѣ сейчас о них). Но им сказать нечего. Им, как истеричкам — лишь бы

только нашумѣть, нашумѣть. На что похожи например фальшивые вопли изо дня в день о том что „свобода слова дана, но надо же дать свободу печати" (вѣдь это само собой понималось что послѣднее включено в первое да и пользовались они в печати этой свободой). А чего нибудь путнаго им сказать нечего. У них деньги, а сказать им нечего. Мнѣ же сказать родинѣ есть что, а денег у меня нѣт, чтобы особенно во-время успѣть сказать моей родинѣ. И это они постарались, чтобы я не могла говорить. Они-то что̀ говорят — только пред Европой позируют. Люди свое нравственное и умственное существо губят сами пороками — пьянством и пр. Писатели же свое дарованіе губят кромѣ того подражательностью и лицемѣріем или добровольным хамством, т.-е. дают губить свое дарованіе своему ближайшему начальству — журналам, газетам, их тенденціям. Смѣшно расчленять газеты — так онѣ похожи одна на другую. А все же отмѣчу. На что̀ похоже например это безцеремонное заявленіе редакціи новоиспеченной газетёнки „Правда Божія": „Рукописи мы измѣняем и передѣлываем". Кто-нибудь, быть может, написал даровито, и правду, а секретарь или редактор бездарно извратит, подгонит под свою тенденцію и т. д. И подчиняются несчастные журналисты.

Я написала раз: я, слава Богу, трудоспособна пока, и труд обожаю.

И, вот, на словѣ: пока — они заплясали свой вонючій канкан. Один написал: „Пока до обнищанія доведем". Другой пишет: „Пока мы вас изувѣчим" и пр. и пр. А почитатели моих произведеній сказали в негодованіи: „Упражненіе можно продолжить: будут канканировать пока им будет

дана пощечина. Будут канканировать пока честный и отважный подвиг совершит сбитое с толку общество — выведет на свѣжую воду всѣ эти закулисныя подлости и низости разных особ незаслуженно получивших славу в литературѣ и денежное богатство. А то еще вот куда можно поставить слово пока: плутоватые лавочники успѣшно продают всякую гниль пока санитар не избавит граждан от отравляющей их гнили".

Всѣ захотѣли обновленія, по крайней мѣрѣ отдѣльныя личности в каждой профессіи запротестовали против злоупотребленій своих порой бездарных но обезпеченных, а потому неблагожелательных для даровитых бѣдняков коллег и пр. Всѣ захотѣли и сами возродиться, облагородиться, сдѣлаться лучшими, стряхнуть с себя дурное, вобрать хорошее, всѣ, не исключая полиціи. Одна печать должно быть навѣки безнравственная, разбойничья. Цинично кто-то из них объявляет, что у нас-де и в музыкѣ „экспропріируется" чужая музыка. А еще требуют чтобы и я восхваляла прессу, т.-е. всѣх этих пишущих особ, или признала за ними то мѣсто на котором они возсѣли кичливо но незаслуженно. Ни единаго из их среды не нашлось, который запротестовал бы против подлостей печати. Ни в ком из литераторов, ни в мужчинах ни в женщинах, не проснулась совѣсть. Никому из них не сдѣлалось стыдно за свои теперь уже десятилѣтнія преступленія в отношеніи ко мнѣ. Никто не сказал что отнявши у меня кусок хлѣба — они, десять лѣт расхищавшіе мои произведенія, хоть теперь-то обязаны вернуть мнѣ мой кусок хлѣба. Нѣт, они и сейчас пользуются моим творчеством (мое налѣпливают уже теперь и на свое политическое многоглаголаніе), меня же и „Литературный фонд" не стремится вывести из хроническаго голоданія, хотя это его прямое назначеніе и прямая обязанность. Неужели же всюду будет хорошо, а писатели и пресса каковы были таковыми и останутся. Но тогда все вернется к кошмарному, к старому. Ибо: стадо паршивых овец может снова изгадить все „пасомое собой" стадо людей.

И во всем-то неправда в газетах. Браки между католичками и русскими вовсе не рѣдки и вовсе никогда не говорят поляки „измѣнила", „измѣнница" про католичку польку, вышедшую за русскаго. Но русскіе таких русских — случалось — тѣснили, напримѣр не допускали к сколько-нибудь сносному заработку, как вообще, за весьма рѣдкими исключеніями, не дают мѣст полякам ни в Россіи, ни даже у них. Все-то газеты врут. Что̀ рѣдко — так это браки как наш, т.-е. католик поляк женатый на русской. Об одной из причин упоминалось в моей книгѣ Женщины, т. I, вышедшей в 1900 г.

И эти плутни ненавижу: они вѣчно подводят поляков, натравляют на поляков. Какой-то нахрап на поляков. Какая-то никчемная игра прессы, именно той которая якобы либеральная и якобы перестала ненавистничать над достойной уваженія націей. Вѣдь пресса всѣ штучки свои знает — что̀ к чему ведет. Да и на правительство все это вліяет, быть может: не давать полякам того что есть нравственная обязанность дать. И они это понимают прекрасно. И не стыдно им всюду вплетать слово поляки, все валить на поляков. От себя что-ли отвлекают вниманіе?.. Поляки вѣдь и не думают участвовать в том что̀ им навязывается... Еще нахрап — на врачей. Слово врач тоже долбят и дол-

бят, а врачи вовсе немногіе занимались активно политикой. Точно кость выбрасывается, разжигается чернь: грызите, мол, разрывайте, терзайте. Результаты: одно время у многих было: „Поляки...“ И мнѣ приходилось отстаивать имя поляков от этой, например, подлой клеветы, повторявшейся простым людом даже в трамваѣ, будто они „виноваты“ в этом кровавом разгулѣ охватившем Россію. И это заступничество мое за поляков едва не приводило к убіенію меня, русской и писательницы. Но пресса, конечно, желала и этого...

Но порой, изрѣдка впрочем, они становятся якобы в защиту поляков. Коль скоро в русской литературѣ уже много хорошаго о поляках сказано помимо них — мною — и не вырубить топором того что сказано мной, то и им „неловко“, „неудобно“ оставаться только при ругательных словах Достоевскаго и т. п. Отдать же всю должную дань культурному, благородному, трудящемуся и в стольких отношеніях прекрасному народу, который хочет работать, трудиться, мирно развиваться, всѣ силы напрягать для добра народа — язык у них не поворачивается, как не поворачивался ни у кого из них язык признать что японцы вовсе не то чѣм они их представляли для черни. Поэтому и доброе слово по отношенію к столько перенесшему, изстрадавшемуся, измученному народу звучит у них неискренностью, порой скрытою злобой и завистью и все тѣм же поползновеніем подчинять, угнетать, еще свирѣпѣе мучить, удавливать, не давать развиваться, в черном тѣлѣ держать. А то только для очистки совѣсти, только как дань времени, поболтают о поляках как, например, г. Ковалевскій в своей статьѣ — только мельком о поляках.

Но я отмѣтила еще что-то ужасно безчестное. Во время войны — когда так много поляков проливали свою кровь на войнѣ — кто-то инсинуировал, что поляки „из ненависти послали бы О...“ (претит повторять всѣ эти гнусности). И даже в журналѣ предназначенном для юношества видала я какое-то подлое натравливающее на поляков заглавіе. Презрѣніе к фабрикантам всѣх этих безстыдных штучек, науськивающих на неповинную драгоцѣнную польскую націю, уже конечно не превратит в уваженіе нападающій порой на иных стих почтительно расшаркаться перед поляками каким-нибудь пустячным пустяком: два журналиста, например, недавно претендовали что их фамиліи похожи на польскія (а фамиліи их ни капли не польскія, одного чисто сербская, другого... впрочем, это не важно). Сожгла бы я весь тот злой хлам написанный ими и самый пепел разсѣяла бы по вѣтру. Это, разумѣется, шутка, но, Господи, как избавить от них родину, от этих писаній людей которые считают что подлости не суть подлости, если, дѣлая подлости, они нафразировали чего-нибудь „на благо народа“! Они злятся что любя свой народ я пишу о великорусском крестьянинѣ правду, никогда до меня не сказанную. И опять своим льстят, а на чужія націи клевещут. А я на задачу писателя смотрю как-раз не так. Не мое дѣло писать дурное про націи. Каждая имѣет своих свѣтлых, безкорыстных людей, которые указывают*)

*) (Кромѣ кажется, к ужасу моему, евреев, по крайней мѣрѣ из того что̀ пришлось прочесть в газетах и модных русских изданіях я вывела заключеніе, что эти авторы-евреи не жалѣют и свой народ. К своему у них пошла какая-то непотребная лесть. И тоже ни единаго созидательнаго слова, и ни единаго указанія к обновленію. Ужаснуло меня и то что̀ я с негодованіем и омер-

недостатки, у кого крупные, у кого маловажные. А свою родину выводить на путь нравственнаго возрожденія, на путь правды, любви и справедливости, и труда, — это мое дѣло, и моя святая обязанность, раз я писательница. Я пишу прежде всего для родины, для блага моей родины, которую я люблю, которую я ужасно, страстно люблю и потому не считаю себя в правѣ закрывать глаза на все то злое и дрянное, что вижу в ней, тѣм болѣе что другого друга как я родина моя не имѣет. Так мать одинаково любящая дочерей тѣм болѣе прикладывает старанія впоить и в ту которая старшая и самая сильная — впоить только добрыя чувства, не злыя и не вредныя для прочих сестер, облагораживающія и совершенствующія и ее самое. Одна я, оказалось, ни при каких обстоятельствах не способна кривить душой, не заискиваю перед злом, хотя бы мнѣ за эту мою честность и неподкупность и любовь к родинѣ пришлось с голода пропадать. У них же и близорукость и хвастливость, и сдѣлки, цѣлишки, мелкія цѣли, политика, дипломатика и пр., пр., поэтому и говорят они противное истинѣ. Поэтому же и не исходит от них главнаго: призыва к труду и призыва к правдѣ, справедливости и любви.

„Пастёр от клеветы и инсинуацій умер, разстроили ему здоровье“. Это изволили нам объявить „Рус. вѣд.“ столько батарей похвал себѣ приведшія по поводу какого-то там своего юбилея. Да, но в своих глазах тартюфы не видят подобных же

зѣніем назвала какою-то проповѣдью проституціи и разврата. Точно мало порока и так! Кто-то гдѣ-то написал цинично-игриво, что их подобныя произведенія — чтеніе „не для институток“. А я серьезно замѣчу что порнографіей всякаго сорта сугубо-преступно развращать тѣх к кому легок доступ всей этой мерзости).

бревен, скорѣй вдвое в обхватѣ. Такое же убійство совершают надо мной, еще болѣе низкое, ибо хлѣб изо рта вырвали, да еще убіеніе осложняют другим преступленіем — разворовываніем моего литературнаго матеріала и поощреніем к тому же и чужих сотрудников. И для всего этого кого только не высылали на меня газеты — на своих столбцах: и скучнѣйшаго профессора, и художника, взявшагося и за фельетончики, хотя для пера совсѣм не рожден, и обитателя далекаго далека, и сонмы ближних сов и филинов всѣх возрастов и званій. Так им залѣзла в их очаровательныя сердца наша любовь и мои произведенія. Одна сова объявила: „Мы завсегда пьем шампанское, а им и пива не достанется“. Это нам, что-ли? отмѣтила я в моем дневникѣ. Сдѣлайте одолженіе, выпейте и все пиво и всю сивуху, вѣдь нам не нужно никакой этой гадости. И муж мой в рот не берет никаких ваших напитков. Другая сова ликовала что денег мнѣ нѣт, ни даже хлѣба, за мои произведенія. Я отмѣтила... а, впрочем, ну их!

„Рус. вѣд.“ на газету с которой профессіонально враждуют сказали как-раз то, что я написала на них самих. Всегда, очевидно, пороются в моей новой книжкѣ... Нынѣ словоизвергая на министров и вообще в политикѣ влѣпливают мое. Все что хорошее на кого-нибудь из хороших сказано у меня, все это налѣпливают нынѣ на своих рекламируемых ими пайщиков или сотрудников, а что̀ писала на них, то̀ они выбрасывают на неугодных себѣ. Себя же раздувают, свой орган, тоже не подходящими словами, опять словами из моих образов, которыми я рисовала мои художественные трагическіе разсказы. Смѣшно примѣнять все это

к себѣ буржуям богатым до наглости, сытым до тошноты, хищникам до мозга костей, хитрым как лисицы, злым как люди-волки, в злости своей камнями заваливающимъ мнѣ путь к людям моей родины, к читателям.

„Горькій враг реальнаго“, изрекли вдруг газеты. А я опять повторяю (то, что сказала много раньше): не умѣет писать реальнаго, и правдиво не умѣет писать все оттого, что дарованія нѣт. Циничныя фразы выкрикивать с паѳосом (или еще какія-нибудь фразы) легче всего, но еще Тургенев риторику в писателях осмѣял.

„Цинизм, кажется, самому Горькому наскучил“, сказали недавно „Рус. вѣд.“ Ergo, хотя сонно, но сказали в сущности то, что я давно говорю — что г. Г. полон цинизма. А сколько же лѣт как и другія газеты грѣшили во вся тяжкія, рекламировали его всѣми способами, иные всего остервенѣлѣе за цинизм, и этим порождали легіон циников и в литературѣ и... в обществѣ, как оказалось. И всегда так газеты: навяжут и впоят гниль, гадость и ложь, твердо установят на высокій пьедестал, а затѣм, когда уже, увы, поздно, ибо гниль, гадость и ложь принесли обильный плод — пискнут что-нибудь „наоборот“ (как говорят крестьяне) тому, что навязывалось и проповѣдывалось ими раньше.

„Рус. вѣд.“ порой для хитрых цѣлишек своих злоупотребляют извѣстными именами, только не знаю с вѣдома их или нѣт. Так, например, онѣ напечатали будто гр. Толстая мои слова о „Войнѣ и мирѣ“ приписала фавориту прессы, отвратительному модному писателю, автору „Бездны“. А в ея письмѣ помѣщенномъ в „Нов. вр.“ и совсѣм нѣт никаких этих слов. „Рус. вѣд.“ перепечатывая зна-

чит прибавили фразу? Очень это мило — канканировать, да еще от имени разных московских извѣстностей. А уж, кажется, не мало бичевала я газеты и писателей за подобныя шулерскія выходки. „А мы все-таки шулеры и дальше и мародёры“, побѣдоносно говорили нѣкоторые пишущіе. Уж именно вырожденцы какіе-то: „Что-нибудь да урвать вот наша сладость. Еще оклеветать, извратить, передернуть“.

Я помню, давно читала в толстом журналѣ, кажется, в „Рус. мысли“, перевод романа Болеслава Прусса: „Lalka“, и наткнулась там на такую фразу: „и написал он нѣсколько стихов“. Вотъ переводчики! — умны! сказала я себѣ тогда же. По-польски wiersz значит и стих, и строка. Я вѣдь сейчас же догадалась и не имѣя пред собой оригинала, по смыслу догадалась, что по-польски стояло wierszy — строк. Можно конечно знать иностранный язык хуже чѣм я, не имѣть и вообще моихъ способностей, но голову-то сообразительную имѣть необходимо, иначе всегда из чужого произведенія сварите невозможную кашу. Так и в переводах романов Сенкевича встрѣчается иногда ерунда даже не с маслом, а суконная ерунда. Впрочем о подобных курьезах я уже говорила в приложеніи к моей Невеселой книгѣ. А вот еще перл одной из газет московскаго ароматнаго тріо: „Называют по-французски участок скрипкой“. Что за щегольство своей глупостью! Violon значит по-французски и скрипка и съѣзжая. А газета напоминает разсказанный мнѣ в дѣтствѣ старшей сестрой анекдот: Солдатик, вернувшись из Франціи смѣется над тамошним языком: „Все у них наоборот говорится: хлѣб по-ихнему пень... и самая правда — вре“. То-то они так

томно перевели „Gorki en prison“—не Г. в острогѣ или Г. в тюрьмѣ, а „Г. в темницѣ“. С ним не сливается как-то послѣднее слово. Или это еще: hannetons значит не только жуки, а еще вѣтренные; а они переводят это заглавіе какой-то пьески: „Жучки“. Нѣт, не преуспѣвают они и во французском языкѣ.

Томскіе студенты жаловались мнѣ, что ни одна газета из так названных передовых никогда ни одного экземпляра на студенческую читальню не даст даром, не пришлет. Не удивляет меня. Гдѣ фразерство, там и скопидомство в квадратѣ. И крестьянам могли бы посылать даром. Вѣдь сколько бумагой продают на вѣс. И даже та газета, что врала спеціально для простого народа, тоже гадкая в своих фельетонных столбцах, гадкая и потому что, народившись уже в разгар болтовни прессы об „обновленіи“, продолжала учинять над моими произведеніями все ту же процедуру, которою главный дѣятель ея, говорят, пестрил себя коегдѣ и раньше; гадкая и потому, что отвратительно льстила народу и своим угодливым и часто шуточным тоном навѣрное вызывала к еще болѣе интенсивной жизни пороки, которые, казалось, бичевать и искоренять-бы ея прямая обязанность. К счастію, во многих из того же простого народа газета с пресловутым названіем породила презрительное к себѣ отношеніе (именно за беллетристическій отдѣл и за ложь) и получила прозвище „Неправда П—ва“, что̀ и говорилось во всеуслышаніе и в Москвѣ и в деревнях. Но дѣло и в том, что даже она взывала к оригинальному пожертвованію на предмет разсылки газеты тѣм кто не в силах выписывать на свой счет. Да, только тенденціоз-

ной „правды“ не жалко да заплѣснѣлой патоки—престарѣлаго шаблона. А копеек всѣм жалко, хотя в карманах у многих десятки и сотни тысяч рублей. И таковы они почти всѣ, пишущіе. Когда я носила продавать мои произведенія я из лиц, имѣющих какое-либо касательство до печати, из ста на двух попадала интересующихся и участливых людей и то из таких, которые не афишируют свое писательство, ни свой либерализм. У остальных каждый рубль прибит гвоздем, и рублевой книжки не покупали или же за книгу стоющую 1 р. 25 к. или 1 р. 35 к. предлагали полтинник. Разумѣется, за полтинник я не отдавала. Издать стоило гораздо больше. Должна прибавить, что все это были люди к беллетристикѣ не причастные*), которых, значит, не оба порока беллетристов глодали, не зависть глодала, а уж чисто жадность и безучастіе—хоть умри на их глазах с голода. А вѣдь о каждом таком, когда умрет, газеты скажут что — помогал. Возмутительно! Вѣдь я этих некрологов уже много прочла и о тѣх которые отказывались пріобрѣсти хотя бы рублевую книгу, зная прекрасно, что мнѣ нечего ѣсть. Непомѣрные скряги. Богачи, буржуи, и все же гоняются за каждым грошем. „Вѣстник Европы“, например, когда имѣл у себя в магазинѣ мои произведенія, отсчитал почтовые расходы за пересылку мнѣ нѣскольких рублей за проданныя книги,—чего не дѣлают нѣкоторые магазины, просто торгующіе, без фразерства. А пользовался тоже скидкой в 30%. Да сотрудники кое-какіе матеріал мой расхищали. Один г. Боборыкин чего стоит, сколько натаскал из моих книг! А над копейкой

*) А к беллетристам я разумѣется и никогда не пошла бы.

трясутся. Ибо: „Копейка начинает рупь, рупь — сотню“ и т. д. А в газетах всѣ они фразерствуют, популярности ищут: „Застрянет кусок в горлѣ сытаго“ и т. д. „Труд имѣет право на доступ к тому, что у другого в избыткѣ“. Чувствительно! А книжки к таким нести, у которых всего „в избыткѣ“ — и милліонный капитал, и дома, и милліонные гонорары — если и купят на рубль-другой, то гримас и слов жадно-буржуйных у таких не оберешься. В этом цехѣ и барыни зачастую какія-то жестокія, ужасныя. Вѣдь вот какой курьез случился. Гдѣ-то, когда-то, на дачѣ, двѣ парочки встрѣтились, на дорогѣ. В грязь барыня сѣла во всѣх своих дорогих лѣтних нарядах, упала. Меня же, во всем балуемую, мой драгоцѣнный Флорентій под их же носом на руках через грязное скользкое мѣсто пронес. Но ея мужа винить не берусь. Надо для всего этого любить, да и сильным быть, а женщинѣ не быть гренадерских размѣров. А онѣ такія все облыя, жирныя, круглыя или рослыя. На хороших хлѣбах разрастаются в праздности. А в трудовой бѣдной интеллигенціи наоборот: стройная, пышная красавица-дѣвушка превращается часто в стройную худенькую красавицу-женщину. Но я разсказала об этом потому, что барыня узнала меня и выпытавши о нашей бѣдности сказала с торжествующей усмѣшкой, что не купит ни одной моей книги.

Писательскій цех торжествует: „Ѣсть ей нечего, носит книги, унижается“. Но только не унижаюсь. Никогда и ни перед кѣм. И никогда не даю себя унижать. Мнѣ кажется, если бы собрать вмѣстѣ всѣх кого я обошла с книгами, получилась бы интересная передача впечатлѣнія произведеннаго мной.

— Какая обаятельная женщина!

— А какая в обхожденіи ласковая и сердечная!

— Видно, что славная, хорошая.

— Так просто держит себя, с ней так легко, точно давно знакомы. А какая умница!

Это говорили бы тѣ, которые купили у меня книжки.

— Чертовски умна и находчива! Но и чорт же! Пришла продавать свои книги, уж не от богатства конечно, навѣрное жрать нечего, а вы бы посмотрѣли какая гордячка. Точно она царевна какая.

Совершенно вѣрно. Не купил книги, она руки не подала. И не сказала: Прощайте. Как королева повернулась и пошла. Я побѣжал в переднюю, пока она одѣвалась. Стою. Думаю, огорчилась что не купил, забыла, но уходя поклонится. А она ни слова, ни жеста. Одѣлась, ушла. Жрать нечего, а гордость. Точно я обязан покупать ея труды!

— Да она так и говорит, что обязаны. Что богатое интеллигентное общество обязано пріобрѣтать ея книги, поддержать писательницу, не дать ей умереть с голода и... по ея твореніям улучшаться.

— А мы привыкли, что *все-таки* наружное почтеніе нам оказывается бѣдняками. Вѣдь мы богатые. А ей ѣсть нечего.

— А мнѣ она так и сказала, что если бы я читал ея книги, то стал бы человѣком, быть может. Каково! Бѣдность, и ни малѣйшаго смиренія!

— А меня-то как отчитала! Меня-то! Быть может, я еще угожу в премьеры.

— Ну, вы, мѣшки с золотом...

Но так искренно вступились бы немногіе, ибо пресса, которая деморализовала до крайности свой

цех и всю Россію была бы не прочь свести до своего ужаснаго уровня, — в девяти десятых и общества выѣла и справедливость, и этику, и самое желаніе не быть злым панурговым стадом, заодно с прессой убивающим самое лучшее в странѣ. И знает пресса свое милое общество. Знала что̀ дѣлала, когда замалчивала меня. И как с гуся вода ей когда всѣ кто честен негодуют и говорят ей: униженіе и безчестіе и послѣдній позор — захватывать чужое и упорствовать в этой своей безчестной дѣятельности. Chi rompe paga. Dommages-intérêts. Т.-е. ущерб, нанесенный мародерской дѣятельностью... Но они готовы на все — только не платить своих долгов. Убьют всѣ скорѣе чѣм заплатить за чужой хлѣб съѣденный ими.

А вот образчики „критики“ нашего времени (сіи перлы взяты из „Р. вѣд.“): пикантное — это по его словам „ловко составленное“; риторика — „красота“; не тенденціозное — значит „безличное“. Словом... да и вообще, давно замѣчаю, „Р. вѣд.“ приходят в упадок, дряхлѣют, быть может, близятся к естественной смерти, от дряхлости, и теперь périclitent. Péricliте естественно и критика. Уже и раньше неважная она была. На что, напримѣр, похожа, „критика“ на мое произведеніе Семья Никитиных! „Должно быть, имѣет свою Сусанну Ивановну и задаст ей встрепку — придет домой разъяренный чтеніем Семьи Никитиных“, сказали умные читатели посмѣявшись тогда над неумным, но коварным „критиком“. А всѣ послѣдніе годы прямо бездарщина и мертвечина вмѣсто критики. Пересказ, повтореніе всякаго дрянца из разбираемаго дрянца и усиленныя рекламы к праздникам, чтобы усиленно покупали дрянцо. Печать

прямо ужасна со своими фельетонами-рекламами разным журналам, сборникам и излюбленным ими мародерствующим авторам. Какая-то домашняя лубочная критика, притом кухонная, точно собрались кухонные мужики и судомойки да и стали рядить друг друга в стибренныя ленты. Свой неискренній стиль обязательно украсит моими словами да и затрубит на всю матушку-Россію о мародерах, только их и выдвигает хвалебно и всего болѣе за стибренное в чужих книгах, и чѣм больше нахватали чужого, тѣм щедрѣе им рекламы. Что отмѣчает и цитирует — это все больше только тѣ слова или строки, которыя надерганы у меня или как-нибудь передѣланы из моего, или же носят характер мерзостнаго канкана. Счесть их фаворитов — всѣ они несносно подражательны и несносно противные. А покончивши с „критикой“ критик тут же и сам, случается, спляшет канкан. Дурацкая и шельмовская критика.

А то вдруг накатит на критиков нелѣпая строгость к своим фаворитам — обуяет их рвеніе привить им свойства моего художественнаго творчества, и начнут они предъявлять к ним требованія сжатости стиля напримѣр. И это когда многословіе всегда владѣло русской литературой и одолѣвало читателей, а кто дѣлал попытки сжать свою болтовню — получался истерическій слог либо сухой, либо какой-то... каждое слово подчеркивает: свое ли, нахватает ли гдѣ из книг — гарцует перед читателем. Какой-то парад слов производит, и уродливое накопленіе красных строк. Не надо фарса, а читать его фельетоны — потѣшаться. Впрочем, больше одного — двух фельетонов не одолѣешь, потому что немилосердно размазывает, и темы у него — из того

что попалось мнѣ — неинтересныя для трудящихся не пьющих и не кутил. И себя рекламирует все тѣми же, вертикальными, фразами, тоже все точки и красныя строчки. Вродѣ:

Если бы я не был слишком умен.
Я может-быть был бы умен.
И женщина не называла бы.
Меня.
Непочтительно:
Нравственно...
Или:
Геній.
40 тысячный.
Живет в Парижѣ.
Ходит по Jardin d'acclimat*is*ation. (Sic!)
И ведет разговор.
С m-me l'ambassad*eure*!*). (Sic!)

У многих из них любимый аргумент — что тридцать лѣт пишут, поэтому заслужили почет. А если тридцать лѣт мародёр или тридцать лѣт слабоумный — почетно ли?

„Крылов создал особый драматическій жанр — пьесы по заимствованным сюжетам" (заимствованныя пьесы?). „И имѣл много подражателей". Так говорит критик „Рус. вѣд." А я говорю: нечѣм гордиться — подобными „создателями". Стыдиться впору. Но им не стыдно, они узаконили мародёрство. Не попытаются ли нынѣ при свободѣ особыя привилегіи законом создавать для мародёров. О, какая обида для родины!.. Так и во всем: елико возможно меньше трудиться и елико возможно больше брать отовсюду даром.

*) См. 9-й том моих произв. Невеселая книга, стр. 214-я.

Сюда же идет и это: „Будем разводиться — пьеса Крылова". Не зная самой пьесы, я однако знаю, что это пьеса французскаго автора. Крылову эту чужую собственность подарила газета, которую „Рус. вѣд." называют нынѣ прогрессивной, а когда-то называли уличной, пока не вступили с ней в ароматный союз (тріо) для мародёрства в моих произведеніях и оклеветыванія — оклеветыванія, впрочем, и еще многих кромѣ меня.

Сюда же и это: рекламируя не очень давно г. Короленко кто-то из критиков выразил вдруг пожеланіе чтобы гг. писатели подражали литературным произведеніям вышеназваннаго писателя. В дневникѣ я между прочим написала и это: и дубиной не вгонишь их в „рай" — не заставишь теперь подражать старому исписавшемуся писателю. Тут же привожу это за то, что им имѣлось в виду: мародёрствуете только у ней (т.-е. у меня) а громко о моих трудах никогда ни слова не сказано, а также за то что это вообще дурной совѣт писателям — подражать.

„20 учительниц", говоря о своей склонности к безбрачію выражаются ужасно, если вѣрить газетам. „Похоти". Только это слово нашлось. Фи! И так выражаются дѣвушки! Это так мужчины выражаются, тѣ писатели, которые не признают ни в себѣ ни в других ни любви, ни всего того сердечнаго, нравственнаго и умственнаго общенія, которое на всю жизнь сливает в одно два существа удачно подобранных, удачно сошедшихся чтобы дѣлить друг с другом и радости и горести, и восторги и слезы. О, Господи, не дай родинѣ превратиться сплошь в психопатов или в уродов.

Какія же еще формы удовлетворенія подписчи-

ков? Я думаю, вернуть деньги — вот и удовлетвореніе. Но „Рус. бог.“ публикует — „Ищу формы удовлетворенія...“ Трудно, должно быть, разставаться с деньгами... И мы потеряли около сорока копеек на подпискѣ на „Рус. вѣд.“ — Верните деньги за не присланные номера. — „Мы не возвращаем“. — Как так!... Тот раз вы вернули. — „Многіе и тот раз не востребовали“. — Вольному воля. Богачи богачам благодѣтельствуют. А мы не можем бросать на вѣтер... — „Не возвращаем. Потому что это была... всеобщая политическая забастовка“. — Да с какой стати терять непремѣнно нам, а не вам. — Не возвратили, конечно. Но и не убѣдили, что оно так и слѣдует — в пользу газеты даром терять трудовые гроши.

Они цинично издѣваются над моими словами — что потомки наши оцѣнят меня, также и их. „Ха, ха, в чем утѣшеніе, когда жрать нечего!“ Или: „Ха, ха, а теперь жрать нечего. А у нас денег куры не клюют“. — Точно вы первая из геніев замученных шушерой! Примѣры всѣм извѣстны, они же и проливают над ними крокодильи слезы. И дѣлают то же. Так было, так есть. И не стыдно им потому, что будущія поколѣнія скажут: „Ну и... хороши же были всѣ эти бумагомаратели!“ — а поименно чтобы клеймить мало кого из них потомство знать будет. — Этими словами утѣшали меня тѣ, которые в наше время такого большого упадка отказались тоже летѣть в бездну гнусностей, подлостей, остались стоять высоко.

Когда дѣло идет о том чтобы покарать клеветников и оскорбителей они вопят: „Выдавать наших анонимов и псевдонимов нельзя, тайна“, мол. И уже шулерски-неумѣстно сравнивают положеніе

с положеніем священников и врачей хранящих чужія тайны. А когда для начала моей литературной дѣятельности я укрылась под псевдонимом, это опять же одна газета тотчас указала публикѣ (в отзывѣ о моем произведеніи Семья Никитиных): „Под этим мужским псевдонимом пишет женщина“. Во всем у них так.

Душу отдать за други своя. За други. Каждый страдалец есть друг. Но приглашать „страдать“ как пропойцы, как шалыганы, воры, убійцы („жить их жизнью, страдать их страданіем“, читаю в газетѣ) — это только пресса способна, психопатка. Еще пригласят страдать как сумасшедшіе.

Чего только не сочинят газеты! „Чипріяни сын Бакунина“. А я слышала, живя за границей, что увлеченіе Бакуниным его жены было идейное, головное. За границей она влюбилась в молодого итальянца и с Бакуниным как с мужем разошлась. О сынѣ от Бакунина я что-то не слышала.

Прочла воззваніе г. Горькаго с просьбой не давать Россіи денег в заем. Глупо, как все что г. Горькій дѣлает и пишет. Только интрижки удаются, чтобы у меня не было денег.

Что-то вродѣ „Пожертвуйте на націю“, читаю. Это попрошайничество ужасно. Нѣт, в самом дѣлѣ, нигдѣ погоня за подачками так не развита как у нас. Собирают всѣ — и кому не нужно. Собирают на то что нужно, но собирают и на всякій вздор. Даже „Рус. вѣд.“ — на партію. Вчужѣ стыдно за все это. Иным, я думаю, и политика-то стала любезна ради денежных сборов.

„Интересные разсказы Горькаго, цѣна им пять копеек!“ — горланят на улицѣ субъекты. Но оцѣнили правильно.

Примѣр трогательной конспираци в печати, „сговариванія“ их всѣх (как они объявляют): холмы, цѣпи гор, а у них все „сопки“ (с театра войны). Глупо, мнѣ кажется, неудачно. Сопки это как-раз они, беллетристы извергающіе одну только грязь (уже сказала я еще до войны).

Тут свобода, выборы и пр., а надо мной все тот же грабеж учиняет литературная братія. Да, именно в этом кругѣ творятся вопіющія беззаконія, которым конца не предвидится: сами писательством мошну набивают себѣ, а я из-за них с голода умирай.

„Интересная жизнь теперь“, все твердят они. Нѣт еще ея, интересной жизни кругом. Грабежи, убійства — прискорбная, подлая жизнь. Видѣть упадок родины — „интересная жизнь“! Но им интересно, дает наживу, покупают их печатную бумагу.

„На Толстого не надо лгать и его извращать“, говорят они какой-то газетѣ. А на кого другого развѣ можно лгать и его извращать! Смысл слов тоже одного адвоката, его статьи в „Рус. вѣд.“, таков: на знаменитых клеветать нельзя, а „клевета на мало извѣстных людей“ изрыгаемая газетами „в увлеченіи полемикой“ (кажется, этими словами и сказал, пишу с памяти) „извинительна“. И это говорит адвокат, один из говорящих в Гос. Думѣ! „Так оскорбить, оклеветать чтобы на стѣну полѣзла от негодованія и возмущенія“. Так оскорблять, клеветать одна из газет совѣтовала меня. „От всякой клеветы остается что-нибудь“, как самоувѣренный попугай повторяют и „Р. вѣд.“ старинную поговорку, очевидно, не желая соглашаться с моими словами давным-давно сказанными: от всяких ваших клевет ничего не станется и ничего не останется.

Да, презрѣнныя души обнажились и цинично выставили на показ весь страшный упадок в себѣ нравственных понятій о чести, долгѣ и пр. Теперь они всѣ нѣсколько отвлеклись от меня чтобы точь в точь свиньячить в политикѣ. Это даже не политика — то чтò они творят нынѣ — а та же интригика. И представленія для Европы.

Но горе и „знаменитостям“ — фаворитам прессы. Срамят их, ради канкана приписывая им фразы, которых, быть может, тѣ и не говорили, а если говорили, то покраснѣли бы за них, быть может. В этом положеніи как-раз один из столь не любимых мной теперешних русских писателей, ушедшій из этой юдоли нытья, пошлости и раздражительности, какою была для него жизнь... Гадко также было читать іереміады, жалобы газет на яко-бы бѣдность его. В три года, выходит, прожил 75 тысяч, полученныя от издателя! А разные его гонорары кромѣ того? Что за ненасытность, плавающая во фразерствѣ! При той тяжко-тяжелой борьбѣ какую я веду за кусок чернаго хлѣба гнусно было читать о его „бѣдности“ как они назвали его кошелек набитый 75 тысячами. И, каюсь, такой страх пропасть с голода с моим драгоцѣнным — что с ужасом я думала: опять в пользу богатых будут обирать карманы читателей и эти будут отказывать мнѣ купить и рублевую книжку. Вдобавок ко всему и тут оказалось все ложь. Круглая ложь всегда и во всем. Удовлетворяет их уже такое вранье. Вѣдь я прочла и опроверженіе издателя. „75 тысяч“, а оказалось — еще прибавить сюда столько же. А записали в бѣдные. А я, когда гляжу на хорошіе фрукты в витринах, которые и нам были бы полезны, — писательскіе-то че-

люсти и выплывают сейчас: все это съѣдают они и подобные им. А мы из-за них и без хлѣба... Вѣдь и он кое-что выцарапывал из моих произведенiй и извращал. Г. Лавров (изд. „Русской мысли“) в „Рус. вѣд.“ пишет так: „окрестил ея три сестры“. Видите как открыто - цинично. И не скрывает, что и он мародерствовал в моем произведенiи Семья Никитиных, затѣм извращал (нѣкоторая неправильность фразы, неправильность, так сказать, на оба фронта — умышленная, по-моему. Дѣло в том, что для публики должен вытекать из фразы другой смысл, а для меня именно этот. На тысячи ладов издѣваются кромѣ всего, глумятся, дразнят: „Она умѣет читать то что мы пишем“, т.-е. понимать их словесные канканы, их шулерство в печати, еще раньше объявил кто-то из этих жаб яд свой выпускающих трусливо, из-за угла). И тут же всѣ тѣ, которые усердствуют поминать как усердствовали рекламировать — хотят увѣрить что он модель добродѣтелей. Гдѣ же эти „прекрасныя качества души“ когда он похищал из чужих книг и с похищенным матерiалом фабриковал всякiя клеветы. По крайней мѣрѣ критики (льстецы) постоянно и постоянно именем и его канканировали. По их выходило, что это не только что-то вродѣ мародерства или плагiата, а и пасквили. Я же ломать себѣ голову не намѣрена знакомы ли они всѣ между собой и всегда знают намѣренiя авторов поизвратить, поиздѣваться, обмазать своей пошлятиной и наклеветать кромѣ того или только предполагают мерзавца в каждом авторѣ ими рекламируемом или знают за негодяя, или, наконец, отягощают грѣхами в которых неповинен — как будто мало грѣха богатому и извѣст-

ному писателю быть мародером голодной писательницы произведенiя которой пресса так негодяйски скрыла от русскаго народа. Вѣдь и от него ни разу не послѣдовало ни возмущенiя, ни протеста — что пресса от его имени канканирует надо мной и над тѣми кто мнѣ родной или близкiй, негодяйскiя инсинуации сует и сует. И так как они продолжают, то скажу еще слово. Не хотѣлось в моей первой критикѣ распространяться об его дарованiи, быть строгой к отрицательным сторонам его произведенiй, из которых я тогда многое еще не прочла. Поэтому, оказывается, нѣсколько высоко сказала я о его дарованiи. Один из тѣх кому я подавала мои рукописи, словом, один из писательской братiи, когда мы разговорились о писателях и я сказала: Ч. в нѣкоторых своих произведенiях (напримѣр, „Черный монах“) большой художник — воскликнул: „Ну уж не такой художник!“ ... — А как человѣк? — спросила я послѣ разговора о его талантѣ. „Он какой-то вырождающiйся, и болѣзненный; и физически мизерный. Я его хорошо знаю. Он наш сочлен“. И закончил так: „А каждый писатель может дать только то что носит в себѣ, что в нем есть“. А для публики всѣ они, льстецы, не то поют. Все вздувают, всякое даже дрянцо взмуссируют. Потом уже, читая его сплошь все изданiе и встрѣтивши так много антихудожественнаго, пошлости и шаржа, или просто отвратительное как его разсказец „Володя“, я много раз вспоминала слова коллеги. И пришла к заключенiю что никогда не был бы Ч. способен написать что-нибудь поистинѣ крупное, великое. Ибо очень богатых сил у него не было. Было в нем что-то невыразимо-мизерное в самых нѣдрах

его (не скажу — жалкое, ибо жалость прочную чувствовать трудно к тому кто зол и вмѣстѣ шутлив) — что-то невыразимое, что-то не давшееся ему, быть может, от неудавшейся личной жизни (как впрочем и говорили тѣ кто знали его многіе годы) что̀ и лишило его способности относиться иначе чѣм с нытьем либо глумливо-злобно к крупным явленіям жизни, к сильным чувствам, к цѣльным обликам, к чудным типам людей, мужчин и женщин, лишило его всякой отзывчивости, всякаго отклика на столько и столько в жизни великаго, трагическаго, благоухающаго, нѣжнаго и прекраснаго... не дало ему стряхнуть с своего пера этот его обычный пошлый тон, каким он писал сначала в шутовских органах, и низвело до роли описывателя почти исключительно мелкаго, пошлаго. Так приблизительно разобралась я (лично никогда не знавши его) в его психологіи. Да они, его льстецы, подбавили сюда кое-что, чего впрочем повторять не стоит... Но вот „не любимая им за-граница", — читаю в газетѣ. Спрашиваю себя — за что такая немилость к за-границѣ (я вѣдь ужасно люблю Францію и Италію). Не за то ли не благоволит к за-границѣ, что задумал стать русским Мопассаном, да не вполнѣ удалось, ибо не мог сравняться с Мопассаном, талант котораго могучѣе. Французы не особо признавали его. Еще бы, имѣя Мопассана! Но и зачѣм русскому быть непремѣнно ниже, т.-е. зачѣм русскому непремѣнно стремиться быть знатным иностранцем. В искусствѣ сам собой будь, ни сколком не стремись быть, ни даже похожим. Так и не будешь ниже. Еще одно замѣчаніе: льстецы ламентируют по поводу какого-то замалчиванія и непониманія критиками Ч. в первыя времена

его литературной дѣятельности. Смѣшно это читать, и готова я на этот раз вступиться за критиков. Ибо в первоначальных произведеньицах его и понимать нечего было и говорить не о чем — никакого значенія эти произведеньица не имѣли, и сейчас, я полагаю, se délecter ими могут развѣ только любители игривых и двусмысленных фельетончиков. Да и сам он понял это, для недавняго изданія иные разсказцы передѣлал, нѣкоторые и совсѣм выбросил... Это я только — как продолжаю, так и начала. „Вы так начинаете как наши писатели" (назвал Достоевскаго и еще кое-кого из крупных) „кончают", т.-е. крупно, серіозно, содержательно. „Кто же вам даст ход! Не дадут ходу. Сразу хотите занять первое мѣсто. А у нас обычай — сперва пиши пустячки, чтобы никому не было завидно", сказал мнѣ один из пишущих. Вот о таком замалчиваніи поговорили бы льстецы. Но на то они и льстецы, чтобы хвалить гдѣ не стоит и замалчивать лучшее. Сюда же и это: когда я написала что Ч. ноет там гдѣ в дѣйствительной жизни ничуть не ноют, а, напротив, энергично борются и добиваются — в печати объявилось сантиментально: „Ах! нытье одна из красот нашей жизни". О, несчастные! отмѣтила я. Мокрыя курицы, что̀ не мѣшает им жуировать, даже и грабить для того чтобы жуировать.

Крах как писателя уже многіе годы бездарнаго г. Горькаго они теперь спасают политическими штучками. И тут же: „Несчастный писатель!" И это опять о г. Горьком, который милліонера*) называет своим „другом". Чѣм же он в таком

*) С. Т. Морозова.

случаѣ несчастен? С голода не помрет. Друг выручит. А что посидѣл толику, так кто же в своей жизни не сидѣл за политическое. Каждый „пострадал“, как говорилось в годы моей юности в кружках молодежи в которых и я принимала участіе. Но только я того мнѣнія, что — раз пришлось саночки повезти — стыдно хныкать. Но вот еще что̀. Уже не смѣют они сами разводить разговоры о его „талантѣ“, так внушают от лица „за-границы“. „Францiя, мол...“ Но вѣдь надо брать отзывы данные в спокойное время, а не тогда когда ходатайствуется о помилованіи и с любезной готовностью муссируются „заслуги“, „талант“ etc., etc. А в спокойное время французы мило сказали: „Le terrible Gorky“ — одним словом опредѣлили... ни для кого не страшную раскатистость претенціознаго фразера. А в послѣднее время мнѣ попался (в переводѣ) еще отзыв о нем одной французской газеты: „...банальный, тривіальный, скучный, ненужный выскочка, так мало имѣет в себѣ правды и породы как хулиган причесанный и одѣтый на манер франта с предмѣстья“. И это за неумѣстную амбицію „тоже“ писать об интеллигенціи, в которой (давно уже я сказала) не понимает он ни бельмеса. Но они всего больше любят ссылаться на нѣмецкія похвалы. И нѣкоторых из публики так обезличили, что тѣ высшую рекламу видят в отзывах из Германіи. А между тѣм сколько же есть из них же что̀ передают из Берлина и то что фабрикуют здѣсь, в берлинских газетах компонуют рекламы и таковую отсебятину, но напечатанную в иностранном органѣ развязно выдают за мнѣніе иностранцев. Это мнѣ говорили люди пера.

„Переходное время“. Этими словами они постоянно оправдывают что-нибудь чего не должно происходить ни в какое время. И я замѣчаю, что для них вѣчно переходное время, от дурных дѣяній к другим дурным дѣяніям. Когда же совершится переход к хорошим дѣяніям? Этими же глупыми словами оправдываются и тѣ которые не хотят трудиться, работать. Энергія, наоборот, обнаруживается в трудное время, сила воли, характера, если она есть, в трудные періоды жизни объявляется. А это тряпки, которым чтобы творить, созидать, полезно работать — нужно все в хороших условіях. Это как тот субъект, который чтобы учиться считал необходимым прежде обзавестить портфелем.. (см. мое произведеніе Семья Никитиных).

Я прочла ужасную вещь. Я больна прочитавши. Если это правда, взвоешь от всѣх этих ужасов людей над людьми, над человѣком. Но я не вѣрю. Нѣт, я не вѣрю газетам. Газеты столько раз врали, газеты столько выдумок насочиняли и во время войны, и даже в мирное время. Нѣт, я не вѣрю газетам. Газеты, писатели и даже писательницы столько раз дали мнѣ доказательство своей неограниченной фантазіи что̀ до жестокостей и мерзостей всякаго рода. Стоит лишь вспомнить ярую игру этой дегенеративной, преступной фантазіи по отношенію ко мнѣ, всѣ эти притчи — описанія жесточайших гадостей и истязаній каким они подвергли бы меня попадись я им в руки — а также и то что ни один из критиков не возмущался читая эти нелѣпые разсказцы и фельетошки послѣдняго почти десятилѣтія, которыми писательскій цех стремился запугать меня, застращать, заста-

вить меня перестать обличать их в мародёрствѣ. Наконец, у нас столько развинченных и внѣ писательскаго цеха, столько ненормальных, вырождающихся (напримѣр, какой-нибудь здоровенный крестьянин, и смертельно боится дать себѣ прорѣзать нарыв), а политика и окончательно растрепывает многим нервы и расшатывает психику. И не выдерживают поэтому бѣдняги ничего чтѐ постигает их лично — неудачи, горе, тюрьма...

К чему уже и этот вздор? — ерунда вродѣ будто бы продажи правительством евреям Исаакіевскаго собора (прочла в одной из еврейских газет). Безсмысленная шуточка, могущая только дразнить— разжигать обезумѣвших и одичавших. Вѣдь только это остается у темных читателей, легко вѣрящих всяким темным писаніям. Все это лишнее и недостойно сколько-нибудь не злoжелательных странѣ и не окончательно идіотов.

Или: по поводу глупаго, притом анонимнаго „письма“ „турка“ взывать—косвенно, возбуждая панику — к истребленію вполнѣ мирной народности. Вѣдь знают, что анонимы всегда клевещут. И нерѣдко конечно под анонимами прячутся провокаторы, сыщики, в лучшем случаѣ — интриганы. Вѣчно что-ли жертвы нужны им? Тут кончилось, там чтобы началось. Этого хотят?

Или: лесть рабочим, которою прямо сорят и засаривают головы, в которыя ничего еще свѣтлаго не потрудились вложить. Но они не о пользѣ рабочаго думают. Они личные планы имѣют, в виду имѣют свою популярность, о своей выгодѣ заботятся. Поэтому льстят, поддѣлываются, заискивают. К тому же все больше и больше трусят. Страх на-

растает, и нарастает слой патоки, которым покрывают народ, всего опять вываляли в патокѣ. Тошно! Гнусно! Говоришь и говоришь им, вѣдь читают мои книги, нѣт, опять за свой шаблон: чтó лучшее обмазывать грязью, чтó часто худое пока, хотя и вполнѣ жалкое, ибо не по своей винѣ плохое,—засыпать сахарком. „Не обмануть, не продать“ (газет). А рабочему и крестьянину никакого обмана и не нужно. Теперь, когда нарождается и развивается и сознательная часть молодежи крестьянской, которой страстно хочется стать лучше, свѣтлѣе, они их и не соблазнят лестью. Они сами говорят, что темный народ в общем плох. За исключеніем нѣкотораго числа прекрасных личностей в их средѣ, из остальных в очень многих сидит кулак, хищник либо невоздержный озорник. При малѣйшем благопріятном поворотѣ фортуны переход от бѣдности к кулачеству, к высасыванію своего же брата, крестьянина, очень легкій для них. Они часто ужасны, и ужасны прежде всего в своей собственной семьѣ; они затѣм ужасны во многом другом. Им прежде всего нужны руководители, воспитатели, сѣятели добра в их душѣ и поступках. Им нужен свѣт, образованіе, знанія. А лучшим из них лесть и совсѣм не нужна. Льстецы им враги. Льстецы никак не друзья. Не доброжелатели народа — льстецы. И это им говорит сердце и ум. Невѣжественны, темны, но я же с тѣх пор как пишу (с Деревни нашего времени) требую для них широкаго, всесторонняго образованія, такого же какое до сих пор лилось только на немногих счастливых. Также — бѣдны они очень часто. Но тут тоже есть чтѐ сказать или повторить из уже многократ сказаннаго мной. Всѣ мы бѣдны одинаково,

всѣ трудящіеся, всѣ бѣдняки. Богачи-болтуны, ищущіе сейчас популярности у крестьянских масс матеріальное положеніе крестьянина сравнивают кажется со своим, и разница получается, разумѣется, ужасная, чудовищная. Но сравнивают они не для того чтобы свои богатства распредѣлить бѣднякам. И только будоражат зря. Зря взбудоражили алчность и жадность людей в которых эти страсти ничуть не слабѣе чѣм в богачах-болтунах. Сравнивать их положеніе надо, повторяю, с положеніем бѣдной трудовой интеллигенціи. Если бы мы всѣ, бѣдная трудовая интеллигенція, обладали их отрицательными свойствами, мы всѣ давно бы обратились бы в нищих. Работать они не любят, работают больше по принужденію, по необходимости, работа это что-то непріятное для них, а работа это должно быть фундаментом жизни. А у наших пишущих труд тоже не в авантажѣ. Так оно пятном и ползет по всей націи, порождая и вызывая многое что губительно для страны... Но работают плохо еще по невѣжеству, что поправимо, конечно. Только пора же приложить свои старанія, на этом полѣ начать работать всѣм тѣм кто ошибочно ограничивается только политикой. Политика уже и вовсе отвлекает от труда. Политика всегда любезна тѣм кому она дает положеніе и непрерывную выгоду. Им же она в концѣ концов надоѣст и пріѣстся, но от труда, быть может, еще дальше отчудит. А причина грязи, в которой живут и богатые крестьяне, есть тоже темнота и нелюбовь к труду и лѣность, любовь к ничегонедѣланью. А кромѣ того трат безсмысленных для бѣдняка у крестьян множество, трат считающихся у них обязательными в силу деревенских обычаев. Затѣм — безконечное

количество праздничных дней. И нищают и такіе крестьяне у которых земли мало и такіе у которых земли совершенно достаточно.

Они народ совсѣм, совсѣм не знают. Начиная с того что будто бы Аленка, Наташка, Ванька, Олька, означают презрѣніе. А это часто ласкательныя у народа (вообще так называемыя уменьшительныя). И ничего-то они не знают.

Бѣда от усиленнаго употребленія пишущими иностранных слов. Жизнерадостные извозчики болтают в ожиданіи сѣдоков. „Пролетарій!“ внезапно вскрикивает один и весело заливается брошенному слову. Хохочут и другіе извозчики, и тоже бросают в морозный воздух очевидно не понятое ими слово, очевидно, смѣшное для них своим звуком. И напоминает мнѣ это г. Горькаго с его вдруг ни с того ни с сего глупыми выкриками слов, например: „фата-моргана!“ И грустно мнѣ дѣлается за всѣх их: слова только приводят их в игривое настроеніе, не понимают их. А сколько же раз я наставляла писателей и прессу: народу говорите словами его языка, словами ему ясными. Но дѣло в том, что по-русски это не вышло бы. Ибо — какой же это пролетаріат — собственники! — крестьяне у которых собственность есть — и земля, и скотинка, и изба. Пролетарій — это тот кто живет исключительно личным трудом, кто ничего не имѣет и, лишившись заработка, лишается и хлѣба, и крова, и не знает куда преклонить свою голову. Так оно за границей. А наши фабричные безработицу на худой конец отправляются переживать в деревнѣ у родителей. Вѣдь на праздники и то уѣзжают гостить — как студенты. Это сыновья тѣх что землю имѣют.

Еще из области пристрастія к иностранным словам. Вездѣ грабеж и грабежи. Грабят имущіе, грабят бѣдные. А они говорят „аграрное“, „экспропріяція“, „революція“, словами облагораживают, для Европы что-ли. Не понимают того, что если послѣ „революціи“ грабить по их мнѣнію стало благородной профессіей — это значит, что совершенно пал их нравственный уровень. А быть может им кажется — ярлык налѣпить, иностранное названіе дать, этим словом прикрыться, и уже вся мерзость если не станет, то сойдет за нѣчто самое лучшее... То же вот и с „Художественным“ театром (ибо иногда для той же цѣли пускаются в ход и отечественныя слова), в котором в теченіе нѣскольких лѣт ставилось преимущественно антихудожественное, дрянцо исписавшихся писателей-мародёров или бездарных.

„Самые интеллигентные люди сидят в тюрьмѣ!“ Как же так! — вѣдь там множество за грабеж, убійства, насилія и как-раз множество еле грамотных. Впрочем, нѣкоторые из них уже восторженно называют грабежи — „размахами“ и „подвигами“, а другіе держатся игриваго тона: „Пошаливают экспропріаторы“. Или еще — слова: „В тюрьмѣ сидят наиболѣе уважаемые граждане, все что есть у нас порядочнаго“. Несчастные льстецы, задрожавшіе за свою шкуру. Все у них пошло на смарку, одна политика осталась цѣной пролитія крови (не своей, чужой) пропихнуть во власть каких-нибудь своих фаворитов. Но, увы, и эта лесть-паѳос не дала им популярности. Отвѣт же на их эту льстивость, дурную, провокаторскую, истинно интелигентный человѣк может дать такой: один жизнь свою полагает в шумную политику, а другой в труд,

в созидательный труд. Игра в политику почти что болтовня: рѣчь смѣняется рѣчью и всѣ онѣ с вѣтром уносятся... Один труд созидает. Один труд горы с мѣста сдвигает. Один труд приведет народ к обновленію, к счастію, к культурѣ и справедливости, к довольству и матеріальному и нравственному.

Только что прочитанныя мною фразы женщин о „наших инородцах“ свидѣтельствуют, по-моему, что онѣ не готовы еще служить нравственному поднятію родины — как, впрочем, и многіе мужчины. Я сама женщина, но мнѣ вопрос о свободѣ и политических правах представляется так: чего лучше и идеальнѣе — чтобы женщины были во всем равноправны с мужчинами, тѣм болѣе что множество есть женщин стократ выше нравственно, умнѣе и одареннѣе множества мужчин (не говоря уже о тысячах мужчин-прохвостов и порочных и пр. обладающих всѣми правами и крайне вредных для родины). На моем поприщѣ служенія искусству и служенія родинѣ печатным словом как художник и серьезный писатель, и как человѣк я себя чувствую неизмѣримо даровитѣе и неизмѣримо полезнѣе для моей родины чѣм сотни моих коллег добившихся для себя всяких прав. Но если дѣло обстоит так, что всего и для всѣх сразу добиться нельзя, я предпочитаю подождать моих прав, но чтобы именно „инородцам“ *) права были даны, так как в числѣ их есть націи высококультурныя, например поляки, нація труда, нація стремящаяся развиваться и развиваться культурно, тру-

*) Слово „инородец“, мнѣ кажется, иногда не идет, звучит у них как что-то умаляющее.

дом, и тормозить свободное развитіе и других народов стремящихся мирно работать и развиваться и продолжать угнетать их наносит моей родинѣ и нравственный огромный, стократ бóльшій чѣм временное лишеніе женщин избирательных прав, ущерб, упрочивает собственную деморализацію.

„Самоопредѣленіе", „самоопредѣленіе" твердят сороки Якова. Но разберемся в словѣ. Я еще за нѣсколько лѣт до заманивающих рѣчей прессы сказала о себѣ так: я себя опредѣляю (и пр. См. Мои письма в моей книгѣ Поэмы без слов). Мнѣ для этого никакого разрѣшенія, позволенія... словом, свободы не надо. Т.-е. эту свободу опредѣлять себя никто у меня не отнимал и никто отнять не может ни при каком гнетѣ, ибо это мой внутренній процесс, чувства, мысли и т. д. То же и для національности, я полагаю. Поэтому глупо дѣлают газеты говоря о разрѣшеніи „самоопредѣленія". Разрѣшать, так разрѣшать большее, чего нѣт, но чего хотѣл бы истрадавшійся народ — автономіи — для полнаго своего развитія, полнаго расцвѣта и полной без всякаго порождаемаго завистью или иными какими злыми чувствами тормоза свободы воплотить в мирное культурное дѣло всѣ заложенныя в нем возможности, всѣ дарованія которыя он в себѣ чувствует и способность к творческой работѣ на благо родины и всей страны. А сороки Якова только охорашиваются безсмысленным в данном случаѣ словом.

Газеты опять ругаются друг с другом, „Рус. вѣд." с кѣм-то. Но... cela ne tire pas à conséquence, коршун коршуну глаз не выклюет, и опять настанет у всѣх этих коршунов трогательное сговариваніе сообща травить все хорошее, а также мародерствовать

в моей новой книгѣ и в благодарность выклевывать мнѣ глаза.

„Ночные сторожа получают 13 руб. на своих харчах" объявляет „Пр. Б." А между тѣм это есть самое дешевое жалованье чернаго дворника. А ночному всегда платится дороже да доход в нѣсколько рублей имѣет он, за „стережбу", от магазинов, иногда и частных квартир. Я беру первое попавшееся свѣдѣніе. Но их милліард в этой газетѣ — невѣрных, ложных. Зато много в ней насажено комплиментов по адресу коллег-газет — взаимные комплименты-рекламы: „Мужик выписывал „Рус. Вѣд." Этому весьма трудно повѣрить. Зачѣм ему этот орган в котором он мало что и прочел бы, притом такой дорогой для крестьянина, который туг в расходованіи рублей, если его к этому не склоняют обычаи. Вѣдь я-то деревню знаю. Впрочем, чѣм чорт не шутит! Я только хотѣла еще раз сказать, что газетка предназначавшаяся для народа привила себѣ всѣ пороки газетнаго тріо, а могла быть полезна народу только очень немногими своими статьями, знакомящими что-ли с географіей народ, с тѣм что есть-де на свѣтѣ еще народы и страны... (хотя иной раз и тут перевирали, например, со словом фольварк. Фольварк значит по-польски маленькое помѣстье, мыза, хутор. А он говоря о латышах употребил это слово. Совсѣм ни к чему. Это как то что на Литвѣ будто бароны, когда бароны в Остзейских провинціях). Вся же „беллетристика" какую мнѣ пришлось просмотрѣть почти сплошь вранье, растлѣвающая игривость, лесть и хвастливость. А ложь и лесть, уже говорила, не всѣм им нужна, лучшим из народа совсѣм не мила, и поучительный примѣр приводила — отношеніе

к моим произведеніям и к моим о народѣ суровым строкам, в которых они чувствуют мою искреннюю любовь к родинѣ, к ним же, желаніе поднять их духовно, нравственно, сдѣлать их всѣх свѣтлыми и хорошими, и образованными, увидѣть их на высотѣ трудящейся интеллигенціи, той части интеллигенціи которая сама много трудится, в сытости не утопает и не заражена никакими пороками.

„Фабричные выгадливые доктора“ — опять ложь из пресловутой „Пр. Б.“ Исчерпывает свой шаблон, программу по истрепанному шаблону истрепаннаго тріо: тут нальстить, там нахвастаться, хоть разок мазнуть тружеников врачей или соврать про поляков, разрекламировать подрядчика-коллегу и умолчать о моем романѣ-хроникѣ (и всѣх прочих моих трудах) словом, все как в прочих газетах. Обновленіе, так обновляйтесь же и вы, свѣтлѣйте, очищайтесь, хоть кто-нибудь из вас пусть выходит на путь истины, правды. Всегда и во всем да будет наконец одна правда и честность.

„В заплатанном платкѣ матери итти в школу — до просвѣщенія ли такому мальчику!“ восклицает все та же газета. Плохое внушеніе, батюшка, помоему. В чем горе? В том что платок матери? Но это слава Богу. Такой платок обыкновенно очень теплый и чудесно закутывает ребенка и чудесно оберегает его от деревенской стужи. Горе, быть может, в том что платок заплатанный? Но во-первых это фантазія плохо освѣдомленнаго автора. Крестьянка никогда не станет заплачивать свой платок. Она его превратит в рваную тряпку и тогда бросит, но заплачивать не будет. В самих же заплатах большого горя нѣт. Ибо всѣм, и нам, трудящейся интеллигенціи, приходится носить за-

платанное. Не к чему будоражить народ такими пустяками богатым писателям, которые и заплатаннаго не носят, и деньгами своими с народом не дѣлятся. Пока существуют богатые и бѣдные не это надо говорить. Богатому писателю надо говорить так: и в заплатанном учись, и выучись. Смотри на японцев хотя бы: и работает, и учится, и бѣдно живет, а умом перерастает меня, богача. Потому что шибко трудится и учится... Сюда и дряблое аханіе из „Рус. вѣд.“ по поводу того, что в школу итти — три версты пройти надо. 3 версты пройти — пустяки, особенно деревенским, которые большія разстоянія проходят пѣшком. И не два часа нужно на три версты, а три четверти часа, максимум — час. По их остается только всѣх обложить ватой и посадить под стекло, т.-е. воспитывать так, как воспитывали несчастных барченков. Врут они и то, что будто бы „бѣдняку не меньше рубля стоит совѣт у врачей“. Бѣднякам совѣты у врачей не стоят ни копейки, даются даром, всѣ врачи-бѣдняки лѣчат бѣдняков даром.

Подлые мужчины! „Дочери полковника Рутковскаго не дѣти“. Это 16-ти и четырнадцатилѣтнія дѣвочки! А двадцатидвухлѣтних убійц они называют дѣтьми, малолѣтними и мальчуганами. Я до глубины души возмущена подлым набором гнусных фраз отвратительной газеты (нынѣ „прогрессивной“, говорят о ней „Р. вѣд.“) — по поводу гибели этой семьи. Нечистоплотныя перья и касаться не должны бы этих бѣдняг. Не их это область. Их область и из скандалов дѣлать рекламу г. Гор. Их область якобы негодовать на игривыя публикаціи в Петербургѣ, кричать о них с единственной цѣлью заохотить к таковым и москвичей и

помѣщать оныя у себя. Их область выхваливать мерзости („красивое пьянство", прочла у одного из беллетристов-мародеров); их область восхвалять сквернословіе, безобразіе, всякую пакость, всякую гнусность. „Ходко идет порнографія, торгуйте ею... порнографируйте..." Это говорит один, который при этом тоже якобы негодует на порнографов, но говорит так много о них что выходит только реклама. И прочіе вѣчно и вѣчно возвращаются к „критикѣ" порнографических произведеній, приводят грязныя цитаты, хлопочут, суетятся пером, и этой своей хлопотливостью зарождают во мнѣ надежду что общество и не думает гоняться за этими мерзостями и что они как гг. Горьких, Андреевых и прочих — так теперь хотят навязать Россіи и новыя гнусности и злятся на свое безсиліе утопить всю страну в пакостях, в дебошах. Храни Ты мнѣ, Боже, мою родину от всѣх ядов и пакостей... Кстати: они для оправданія своих подлостей или гадостей любят иной раз сослаться на первых в литературѣ, искусствѣ и т. д. Так, например, в вопросѣ о мародерствѣ они ссылались на Пушкина, что Пушкин-де не осуждал, даже совѣтовал. Они, быть может, сошлются на Пушкина же, что он мол, извѣстно, тоже писал порнографическіе стихи. Но вѣдь есть примѣры иные. Мицкевич, например, *никогда* не писал ни порнографических стихов, ни двусмысленных. И как человѣк — благородный и чистый облик без капли примѣси даже игриваго либо пошло-шутливаго... Итак, 16-ти и четырнадцатилѣтнія дочери полковника Рутковскаго „не дѣти", а к себѣ и к своим фаворитам приторны... Тоже г. Боб.: назвал себя „юным" описывая свой далекій возраст, когда имѣл под тридцать лѣт.

Газеты не могут без хвастовства. Нынѣ отвратительно хвастаются спекулируя на „революцію". А то примутся тенденціозно навязывать: „Мятежный край". „За усмиреніе возстанія въ Варшавѣ". Эх вы! Вѣдь возстанія не было, несмотря на ваше ярое желаніе и даже втравливаніе. И не стыдно быть провокаторами! Не чувствуют в себѣ творческих сил, не чувствуют в себѣ сил соревновать в хорошем, в культурной работѣ, и лгут, клевещут, опять чужія вины валят на поляков, опять натравливают на них. Постоянно тычат в них перьями, как тыкали было во врачей, хотя врачей активных в политикѣ было значительно меньше, чѣм других профессій. Но у них цѣль оправдывает средства, а цѣль у них шулерская, поэтому и средства таковы же — общество не понимает пріемов газетной игры, но понимаю я. И тут же всякій день опять предвѣщают рѣзню и пр. пр... Безчестнѣе быть невозможно чѣм всѣ они по отношенію к несчастной, честной, стойкой, умной, трудовой, прекрасной націи. Без конца треплют слово: Поляки. Темный народ — и тот прозрѣл уже в этом шулерствѣ отношенія газет к Польшѣ. Правительство же тѣм паче, надѣюсь, — не обмануть. Для кого же играют свою политическую игру, для которой и слов бичующих не подыскать, всѣ эти сегодня волки на-чистоту, вчера еще прятавшіеся в овечью шкуру. А претендуют — что честные, что честнѣе той прессы, которая открыто исповѣдует свою ненависть. „Польскія деньги"... А вѣдь знают что и чернь не говорит этого... Да поляки никогда и не слыли за людей имѣющих деньги... И развѣ же можно быть шулером во вторник и слыть за честнаго если не наплутовал в понедѣльник! И об

одном молю Бога чтобы Царь от Себя дал автономію Польшѣ. Неизреченное благо вышло бы, за которое благодарность в благородном народѣ не умерла бы вовѣк.

„Поляки, мол, землю себѣ, а культуру крестьянам“. Это „Рус. вѣд.“ разражаются еще новою глупо-коварною травлей. На себя бы кумушки оборотились, собой бы занялись да покаялись и в том, что ограбили и без куска хлѣба оставили меня, женщину, писательницу и соотечественницу, и моего мужа, поляка, отдавшаго на изданіе моих произведеній свои послѣднія деньги. Нѣт, они и правительству выкрикивают ерунду с паѳосом: „Не изведут Государственную Думу измором!“ 10 рублей в день на человѣка, и говорить об изморѣ. Некстати — как и всѣ их трагическія слова и иныя. Богатые депутаты могли бы послужить родинѣ так, за один почет. Кто-то так и сдѣлал, кажется. Будь я со средствами и выбрана в депутаты — тоже ни за что не брала бы свой пай (а теперь маненько оговорюсь: я, разумѣется, поняла что вскрик об изморѣ есть только риторическая фигура, показавшаяся сильной начертавшему ее. Но мнѣ она не понравилась, ибо играет тут роль гороха отскакивающаго от стѣн... употребленная некстати не чувство (сильное) вызывает, а только смѣшна. А в этом вот уже и смысла не видно: „копить силу Думы“. Развивать? Стремиться чтобы наростала? — (творческая) сила (и тотчас же претворялась в созидательную работу). Так написала бы я. У него же неподходящее сочетаніе слов и эти слова воздымаются точно столб пыли в глаза читателям... (предвыборный?). Надо же наконец имѣть побольше уваженія к читателям. Положим, найдется кто скажет: „Моей головѣ не понять. Но навѣрно премудрость.“ Но другіе, пожалуй, поспѣшат отвернуться, чтобы опять не засорило глаза... Я же слышу такія слова: „Сорока увидала блестящее, не вытерпѣла, схватила... зарыла. Талантливыя и искреннія слова систематически зарываемыя ими в скучных статьях. Перлы вставляемые ими в фальшивую оправу“. Этот перл, как выражаются и про это мое слово: великую силу копить — читается у меня на стран. 273 Невеселой книги (Молитва). Это слово не отдѣлимо от предыдущих моих строк и послѣдующих... Здѣсь же эти слова совсѣм, совсѣм не у мѣста. Из того, что я сейчас написала, однако, еще не слѣдует чтобы я думала, что выраженіе взято автором непремѣнно в моей книгѣ. Быть может, моих книг он и не читал. По крайней мѣрѣ, когда я к нему принесла мои книги — он отказался купить что-либо из моих произведеній. Но все что я даю в каждой моей новой книгѣ тотчас подхватывается пишущими, „пускается в оборот“ ими (приклеивается ни к селу ни к городу), затрепывается нечутким повтореніем, до иных доходит уже от десятаго пера, а остается тѣм не менѣе мое, ибо в первый раз дано мной).

Ужасающе громадные оклады вотируются в Гос. Думѣ. И это теперь — когда страна нищая!

Зарядила сорока Якова одно про всякаго. Это у меня вырвалось когда я в тридцатый или сороковой раз прочла все то же о министрах и пр. и пр. и пр. Все тѣ же слова, та же форма, тѣ же фразы... до тошноты. И кромѣ того: произведши умственно тщательную анкету приходится сказать, что „Р. вѣд.“ есть сейчас говорильня нищенствующая в политикѣ, только выпрашивающая порт-

фели всѣми этими то лисьими то волчьими словесами.

А та газета уже совсѣм мелко низменна: с малых букв пишет... Поневолѣ выскакивает пословица: Порося за стол, сейчас он и ноги на стол. Все что неумѣстно и грубо — глупо, и моей душѣ претит до тошноты. Но я вспоминаю при этом еще сказку о золотой рыбкѣ, о возвратѣ неблагодарнаго черезчур задравшаго нос к своему старому корыту.

„Ну так работайте по двадцать четыре часа в сутки“, восклицают газетные провокаторы, разумѣется, мнѣ (см. мою Невеселую книгу, гдѣ я, в Молитвѣ, сказала что трудовой интеллигенціи, труд которой тоже страшно эксплоатируется, часто приходится работать по 24 часа в сутки). Отвѣчу. Предпочитаю до гроба работать по 24 часа в сутки и все-таки не имѣть куска хлѣба чѣм мои чистыя руки прикладывать к вашим дѣяніям вызывающим к жизни порочные и преступные инстинкты дурных элементов родины. Так и знайте.

Сколько вздора нагородили они лицемѣрно ухаживая за народом. Например: „У итальянцев говорится voi солдатам, у нас же их тыкают“. Ибо они не знают, что итальянское voi (вы) равносильно нашему такому ты. В изысканной формѣ voi не говорится. Voi сказать кому-нибудь мало знакомому, дамѣ, мужчинѣ считается невѣжливым. Но они ровно ничего не знают, и болтовня их по поводу всего о чем бы ни заговорили — зрящая, как выражаются наши крестьяне. А щеголять им хочется. Еще раньше наставляли они граждан при помощи французскаго вы. Французы-де извозчикам говорят vous, а у нас все ты. Но русскій язык говорит Ты

и Царю, и Богу, великорусскій крестьянин и крестьянка сами, пока не переродились на городской лад, и не сумѣют сказать вы ни „господам“, ни „начальству“. Я, положим, абсолютно за вы всѣм чужим, еще 10 лѣт тому назад дала примѣр (см. мою книгу: Деревня нашего времени) мы каждому в деревнѣ говорили вы, а нам всѣ говорили ты. Но пресса ничего не знает, ничего не обдумывает, переливает из пустого в порожнее, занимается пустяками.

„Почему, почему никто в печати не осуждает пролитіе крови политическое!“ Так приблизительно восклицает „Нов. вр.“ А я развѣ не писала об этом, начиная с убіенія Драги и короля и еще гораздо раньше? То-то лицемѣры и вруны. Тоже разрекламировали только мародёров и т. п., а теперь вопите. А мои произведенія продолжаете замалчивать, но не перестаете в них мародёрствовать.

Прямо невозможно читать газеты. Знают что такіе-то и такіе слухи ложные, сами же опроверженіе печатали, и все-таки на фонѣ этой лжи — болтают, болтают болтают.

„Разруха“. Вѣдь по-русски это значит волненіе: Rozruch — волненіе. Нѣт, он кривляется с чужим языком, пишет прекрасно - переводимыя польскія слова русскими буквами да еще шутовски искажает. Или: „Бискупы“. Какое неуваженіе! Вѣдь это же значит: Епископы. Пережиток старинной злобной травли поляков. И неприличное гаерство. И неумѣстное. Но это его звоночки — словечки... ди-ди-ди... А без звоночков он не умѣет. 70 лѣт возраст почтенный, но и закостенѣлый. Требовать исправиться — безполезно (о г. Боб.).

Г. Короленко, сахаристо хвалящій, сахаристо

обличающій по какому-то поводу рѣшительно афиширует, что он „не считался с законами, а руководился своей писательской этикой“. Писательскую этику г. Кор. я знаю, неоднократно испытала ее на его неблаговидном отношеніи к моим литературным трудам. Дурная этика, некрасивая, говоря мягко. И с законностью никогда не считался. Старожилам литературы сугубо не подобает считаться только со своей скверной „этикой“, за литературными кулисами творить беззаконія.

Опять будет икаться „Рус. вѣд.“ Но кто же им виноват! Настрочили іезуитскую статью — „почему“ мол „мы не осуждали убійства и только за Гер.“ *) начали негодовать. „Потому-де что свободы печати нѣт“. Что за выверты! А в період аршисвободнѣйшей печати? а? вѣдь такой період был. А на что уходила эта свобода печати? Да и полезныя эти для родины слова никто никогда и не запретил бы. Я гораздо раньше свободы печати открыто говорила против насилій и прочаго. Мол, „безплодно говорить против“. Это когда печать и не пыталась

*) Должна сказать что мнѣніе нѣкоторых интеллигентов не сходится с убѣжденіем „Рус. вѣд.“ кто убил Г. Я тоже подумала лишь прочла... странное изложеніе убійства. — С какою цѣлью?.. Какая причина?.. Да, тоже приходили мысли... Я в политикѣ не претендую ни на первое, ни на десятое мѣсто. Я политикой заниматься не люблю, охотно соглашаюсь заранѣе что, быть может, каждый из сующих и свое зелье в раскипѣвшійся котел (т.-е. из пишущих политическое) — в этой области смыслит больше чѣм я, но... во мнѣ есть кромѣ наблюдательности, вдумчивости, ума, искренности и т. д. какая-то интуиція, дар проникновенія, угадыванія людей, иногда и событій; я этого доказать не могу, потому что пресса лишила меня возможности печатать мое часто, изо дня в день когда нужно; но окружающіе меня знают как часто сбывались мои слова что̀ до событій нѣскольких послѣдних лѣт. И вот, мнѣ кажется, что, например, и „Рус. вѣд.“ сами не вѣрят в то что утверждают... Чего стоят также эти странные анонимные отчеты засѣданій суда в Финляндіи!.. Относительно Іол. мнѣ думается тоже совершенно иное...

говорить против. Что за іезуиты! А хитрить изо дня в день, хитро льстить, хитро замалчивать одно, хитро раздувать другое, тысяча тончайших хитростей посредством которых хитро велось к тому чтобы чужими руками жар загрести для себя. Это, мол, не безплодно. Хитрость, мол, первая степень ума (что̀ впрочем сказали не газеты, а читается в одном из моих произведеній), хитрость есть переходная ступень к уму. Не самый ум. Вот в чем горе. Посему и проиграна для них и эта хитроумная игра. Послушали бы тогда моего совѣта, когда еще только против меня вели шулерскую, опасную для себя же игру. Не хитрите, не блудите, говорила я газетам. Честно и открыто выступайте или за или против меня. А этак для вас же первых худо: запутаетесь, репутація ваша погибнет. Но у них только хитрость, не самый ум. И поэтому...

„Жертвы убійств вызывали в печати искреннее сожалѣніе“, читаю еще в хитрых газетах. Гдѣ? Когда? — отмѣчаю. Тартюфы! Если бы сожалѣли — навѣрное и жертв было бы в сто раз меньше. Вот и наш один (дальній) родственник на зарѣ жизни безвинно погиб в пріемной Министра.

Одно время они были ужасны со своим размазываніем грабежей, преступленій. По сто раз повторяли тѣ же событія, по много раз преступленія о которых уже читалось, нѣсколько дней под ряд разсказывали об одном и том же разбоѣ. Я написала в дневникѣ: вчера, слава Всевышнему, никого не ограбили, никого не убили, но они дали то что дали вчера и вышло опять: убили, ограбили. Вѣдь этак дойдем до того, что quand il n'y aura plus, il y en aura encore. К чему муссировать и тут! Довольно и того что̀ есть. Еще замѣчала... выступленія не вовремя: за-

тишье в преступленіях дней 5-6 — уже жди стереотипную фразу: „Теперь, когда преступленія учащаются“...

Они ужасающе ужасны с этими своими подлыми внушеніями: „Жизнь дешева“, твердят они. А в „Р. сл.“ нахожу и такую гнусную фразу: „кровь дешевѣет как клюквенный сок“. Фи, какое безстыдство! Или еще бульварный подбор слов: „кровавая клякса“ и т. п. Точно не знают что „дешева жизнь“ только ворам и убійцам и то только чужая жизнь (рѣдко. рѣдко — своя). Ни единаго благороднаго слова ни у кого, ни единаго созидательнаго слова. Боже Милосердый, и только их слышит моя несчастная родина...

„Откуда оружіе у грабителей?“ нелѣпо и тенденціозно воскликнули „Рус. вѣд.“ Тенденціозно, ибо инсинуацію куда-то неумѣстно припустили. Пора бы кажется всѣ эти выходки — а их легіон — сдать в архив.

„В Россіи нѣт довольнаго“, сказали „Рус. вѣд.“ Кто кѣм однако — недоволен, я например „Рус. вѣд.“ прежде всего — за сочетаніе в них показных слов и непоказных поступков. Недовольна и за их манеру говорить всегда от лица якобы всего общества, всей Россіи. „Пользуется всеобщим уваженіем“, любимая их формула по отношенію к своим фаворитам. И часто приходится прибавить: минус моим и еще многих других из лучших людей. Трудящихся, но не сытых интеллигентов, хотѣла я прибавить, но вспоминаю что по словам „Рус. вѣд.“ онѣ (или их денежные фавориты?) суть сытые в кавычках. Каково! Куда только не заводит зависть. Всѣ хорошія человѣческія свойства какая-то манія у них нанизывать на себя и на

своих сытых фаворитов, но так как у истинных людей особое уваженіе и преклоненіе пред борьбой и нравственной чистотой и высотой в условіях бѣдности — они хотѣли бы осіять себя и ореолом бѣдности, но... без бѣдности конечно. Но как это сдѣлать, раз недостает бѣдности? И они нашли. Мы „сытые“, сказали. И капитал при них, и невинными голубями назвали себя. И довольны: вон сколько выпекли на одном огнѣ!

И опять внушают, за всѣх говорят. А для меня, например, жизнь вовсе не заслонилась ни политикой, ни даже этим упадочным поведеніем части людей нашего времени.

Это вовсе не „неизбѣжное зло“ — все что творится нынѣ. Если бы к творчеству способны были, сразу принялись бы за созиданіе. А за неимѣніем руководителей и учителей дали то чего много — алчности, стремленія использовать минуту и нажиться хотя бы преступленіем. Ибо это вовсе не революція да еще великая как помпозно квалифицируют газеты. Внушеніе и болѣе ничего разных гешефтмахеров в политикѣ, потому и гешефтмахеров, что всѣ они страдают одним и тѣм же недостатком — каждый себя только имѣет в виду.

„Лучше пишут старики послѣдніе десять лѣт“, объявляет какой-то критик о русских писателях извѣстных в литературѣ лѣт тридцать, если не больше. Это „лучше“ сложилось из моего — образов, стиля, мыслей, выраженій, описанія природы, психологіи etc. etc., словом, из матеріала нахватаннаго из девяти томов моих произведеній.

„Удивительная, несокрушимая энергія Боборыкина“, говорят „Рус. вѣд.“ уже не зная как захвалить своих сотрудников. И как всегда слова у них

не к мѣсту приложены. Ибо никому не вѣдомо в чем энергія, если ее и предположить, выражается у жирно обезпеченных мужчин, ни с чѣм и ни с кѣм не борющихся — не борющихся даже со своими аппетитами (хоть и пора уже о грѣхах своих думать) еще и еще обогатиться насчет матеріально неимущей коллеги.

Зачѣм говорить „позорнѣйшая“ война! Пора, пора, кажется, прекратить выкрикивать разныя сенсаціонныя слова, спекулировать. Никто и не думал позориться. Каждый навѣрное свое дѣло дѣлал, давал труды, давал свою жизнь, а если условія и дарованія оказались не равны — никто по-моему за это оскорбленій не заслужил. Заслужили скорѣй выговор все тѣ же близорукія или спекулирующія на все газеты. Даже уже послѣ проигрыша не унимались иныя, подзадоривал кто-то итти захватить „Монголію. А то еще есть земли...“ Им, угнетателям и много паразитам, грябская в своих кабинетах, захватить чужія земли представляется тѣм же дѣлом — что захватить себѣ матеріал моих книг. Вытекающее из захватов кровопролитіе дѣло естественное, а слагать с себя впослѣдствіи часть отвѣтственности за побужденіе к захватам дѣло совсѣм не естественное, а дѣло хитрое.

Кто-то, из занимающихся политикой на короткое время, сказал, что борьба за возможность имѣть от своего труда кусок хлѣба не считается, не есть борьба за свободу, что борцы суть они, политики. Что за самомнѣніе и самохвальство! И какая же это борьба в открытую дверь ломиться (в данном случаѣ)! Это не борьба, а буянство. Вот этакіе „борцы“ сейчас же сами превращаются в „бюрократов“, не успѣли сѣсть на мѣста и уже свои желанія на-

вязывать... А работать для новаго строительства жизни, для прекрасной, справедливой жизни и счастія для всѣх людей и состоит в том чтобы бороться не с частичкою гнета, а с общей тираніей — с гнетом который обуял у нас и прессу и рѣшительно каждаго у кого вспухла мошна хотя бы от награбленнаго добра.

„Что-то слившееся из трона и того мѣста, которое сидит на нем“. И... „надо положить 50 тысяч жалованья“. Это одна из „прогрессивных“ газет начертала на бывшаго предсѣдателя первой Г. Д. Услужливый медвѣдь опаснѣе разгнѣваннаго благороднаго льва, и комментаріи к лести пусть уж дѣлают сами читатели. Я бы могла посмѣяться начав хотя бы со слова: Оторвали... Но я терпѣть не могу всяких таких шуток, притом же все это теперь не столь смѣшно как печально, родину мою сбила с толку вся эта газетная суетная болтовня, привела к нравственному дефициту в странѣ.

Со времени 2-й Г. Д. газеты переливают из пустого в порожнее, ворошат пустяки, почти только о мелочах глаголят. А в „Р. вѣд.“ кромѣ того замѣтен раздражительный тон — что и лѣвые попали в Думу. Куда дѣлись былые реверансы! А я бы охотно выбрала от Москвы двух бѣдных рабочих.

Прочла, что какой-то журналист „Курьера“ застрѣлился. Не счесть сколько зла матеріально сдѣлала мнѣ эта газета-интригантка. И говорю себѣ: и сколько же вообще их провалилось! Ужасно подумать — выползут откуда-то, натворят мерзостей, исчезнут, сейчас же на смѣну новая мародерческая компанія и продолжает позорную мародерческую кампанію... Господь вѣдает, куда тоже дѣлись еще разные — гады и гадики московскаго газетнаго квар-

тета, напримѣр, былые (тоже без счета надѣлавшіе мародерческих свинств) сотрудники той гнусной газеты, которая было разрослась во всю питаясь моими книгами, а остервенѣло рекламировала всѣх этих Андреевых, Горьких, Найденовых etc., и нынѣ, читаю, не платит своим наборщикам.

Ай-ай, как он мало умен, этот Г... тупѣет не по дням, а по часам. Куда годится его ерунда об Америкѣ! Или — взывать к французам, которые его никогда не признавали. А уже дальнѣйшій перл (о Франціи) — озорство обозлившагося кота для котораго масленица, увы, должно быть таки кончилась. Могу дать и образ: нѣкое четвероногое явилось в чужую страну, не нашло своего корыта и — осерчало.

Поистинѣ дивишься фокусным штучкам газетных дѣятелей и проникаешься омерзѣніем к самой политикѣ. Какой-то политическій разврат и блуд. Народы ждут свободы трудиться и культурно развиваться, а они...

И все тѣ же каверзы и в политикѣ. „Опечатка", мол. Знакомая процедура — всѣ эти их „опечатки" и клеветы. Разница только в том что, пользуясь моей кротостью и тѣм что я бѣдная, меня они клеветали десять лѣт непрерывно, теперь же спѣшат просить прощенія, ибо шантажируют все больше богатых, „недостовѣрныя" извѣстія подают, сладко выражаются они о завѣдомо лживом. Недаром газеты уже перезванивались было насчет законопроэкта о клеветѣ в печати — что-то чрезвычайно для себя покладистое придумывали.

Надоѣли мнѣ всѣ эти шекспирщики. Если какой-нибудь фразой и соригинальничает — а все остается шаблон уже по одному тому, что опять о Шекспирѣ.

Хоть бы один поговорил по поводу того что критика дурачит общество с фаворитами и шекспирщиков.

По поводу сплетен о Тургеневѣ, которыя я прочла в двух-трех русских газетах, хочу сказать два слова. Давал ли он свои личныя средства бѣднякам русским (молодежи) — не знаю. По всей вѣроятности, раньше помогал, потому что Тургенев был вообще отзывчивый человѣк и помогал тѣм кто к нему обращался. На читальню в Парижѣ давал (уже говорила: в Семьѣ Никитиных). А в самые послѣдніе годы его жизни (когда я поселилась в Парижѣ) я слышала что он оказал существенную денежную поддержку нѣскольким недостаточным русским, для чего устроил чтеніе и концерт, а другим помог обратившись с ходатайством за них к богатым друзьям своим, между прочим называли мнѣ банкира Гинзбурга, который по просьбѣ Тургенева оказал одному русскому учащемуся пособіе в нѣсколько сот франков. Про себя же лично в это послѣднее время Тургенев всѣм говорил что он разорился и что оставшееся у него должно все итти на его дочь, муж которой совсѣм разорился. Его дочь была замужем за французом, собственником типографіи (так я слышала), фамилію тоже слышала, но не помню.

Теперь когда кровью залита родина и всѣм бы думать и думать как не допустить страну до окончательнаго разложенія, нравственнаго гніенія поколѣній, — они свободу печати не используют для чего-нибудь путнаго, нужнаго, а разводят одно только сало (или же напыщенный мертвый паѳос). Сальныя газетки, сальныя повѣстушки, сальныя пьески, и окончательно разнуздали свое развращенное воображе-

ніе, порнографія, сальности, даже площадная ругань вводится ими в литературу. Для чего все это на страницах книг и журналов? Чтобы „просвѣщать“ „юныя созданія“? Чтобы самим уподобиться подонкам? Вѣдь в деревнях иной трезвый уважающій себя мужик старается отвыкать от грязной ругани, иного же его баба удерживает от сквернословія, а русскіе писатели парад из циничностей дѣлают. То все вши приводили их в умиленіе, теперь и это. Чисто — неопрятные юродивые, а никак не писатели. Сюда же относится и еще новая их пакость без названія. Они пишут об „останавливаться по своей надобности на могилах“. Свобода печати нужна им была для того чтобы оголить пред Россіей свою червивую душу. Возможно ли доходить до такого цинизма! Читаешь, и глазам не вѣришь — до какого паденія и разложенія дошли они, сальники. И — идіотства. Потому что вѣдь за грязное безчинство (преступленіе против нравственности и приличій) каждый городовой или сторож повлек бы в участок. Вѣдь вот сотрудник „Руси“, читаю, отведен же городовым за какое-то свое нечистоплотное или похабное поведеніе на улицѣ. Читаешь, и глазам не вѣрится: гніют наши писатели, на всю родину смердят, точно при сорокаградусной жарѣ — разлагаются.

Цѣлый пук реклам. Во-первых редактору „Пр. Б.“ „...с самоотреченіем примиреніе партій внес бы“. Какой фразистый паѳос! Мнѣ думается, если бы этот дар был в человѣкѣ — он силу его испробовал бы на коллегах-журналистах, с которыми слился пером и душой... „Радость с какою привѣтствовал всякое новое юное дарованіе“. Это уже г. Гольцеву посмертные сладкіе комплименты. Я же знаю —

что и он был удавом для новаго дарованія. „Біографія его, это — исторія сплошной травли, гоненій“. Ну, можно ли так врать! Это он вкупѣ с прочими журналами, газетами и писателями травил — меня — и рыл могилу мнѣ и моим произведеніям. „Многострадальный борец“, „многострадальное существованіе“. Это как „мартиролог газет“. Тошнотворный паѳос, потому что всѣ эти существованія были и суть сытыя, арши-сытыя, утопающія в довольствѣ, а лица таких „многострадальных борцов“ обыкновенно напоминают червонную луну. „Померк журнал“ („Р. мысль“). Он давно померк, потому что превратился в лавочку. „Вѣдь наш журнал для маленькой интеллигенціи, для тѣх кого французы называют большой публикой“, безхитростно и безпретенціозно признавался один из его сотрудников. Но оказывается что и эта оцѣнка снисходительна для журнала и обидна для подписчиков: „Только „Р. мысль“ печатает таких бездарных“, прочла я на полях одной из взятых мной для просмотра в одной из читален книг*) журнала. И в самом дѣлѣ: беллетристика там попалась вродѣ дамской, вродѣ произведеній полных многословной сантиментальности и фальши нѣкоторых „знаменитых“ писательниц. Критика — все о тѣх же своих фаворитах, бездарных модных сіамских близнецах (гг. Андр. и Гор.) — безконечный толк о сочиненіях о которых и говорить-то не стоит. А вот газетное восхваленіе г. Іол... И снова не правда, а также наклейка из моих книг слов к нему совсѣм не идущих. „Требовательный к самому себѣ“. В том то и дѣло, что нѣт.

*) Смѣшно со стороны „Рус. вѣд.“ — называть их „книжками“. Вѣдь онѣ формата моей Семьи Никитиных, но мои эти книги тоньше всѣх толстомордых журналов.

Вѣдь я его знаю еще по „корреспонденціям из Берлина“. Тоже задѣвал мои произведенія, тоже выраженія и пр. переносил в свое и т. д. (хотя „кор. из Лондона“, кажется, больше одно время). А затѣм мое втискивал в нѣкоторой дозѣ в свои редакціонныя статьи и столбцы. Я теперь знаю, что всѣ эти анонимные столбцы были его пера, потому что с его смертью исчезло пока (говорю: пока, так как может быть еще кто-нибудь изучит мой стиль и пр. и примется опять „украшать“ „Р. вѣд.“) — исчезло пока все то что вызывало мое негодованіе и гнѣв, потому что я десять раз сказала им всѣм чтобы и слова не смѣли брать из моих книг раз замалчивают мои книги, сами давятся золотом, а я из-за них с голоду умираю. Теперь они собирают капитал его имени при „учрежденіи ставящем себѣ цѣлью поддержку литераторов“, из котораго однако не вытянешь пособія хоть умри голодной смертью у них на глазах. Так-то, несчастные удавы-фразеры, у которых пропала и совѣсть и сердце... И все-таки ни за что бы и ни за что бы не отнимала я жизни и у этих людей. Презрѣніе лучших людей ко всѣм удавам, этим быть может и исправишь хотя одного. Но никогда, и никогда не должен и не смѣет человѣк отнимать у человѣка жизнь — Божій дар, не должен и не смѣет человѣк умерщвлять человѣка ни той смертью, моментальной, какою погиб и этот несчастный, ни той смертью, голодной, длительной, на какую меня, женщину, писательницу и труженицу, сговорилась обречь темная тысяча газетных и журнальных дѣятелей в составѣ которой находился и он. И да простит ему Бог! Я же прощаю, и даже жалѣю что нѣт ему возврата к жизни, быть может, к обновленію...

Это ужасно — эта редакціонная статья „Р. вѣд.“ по поводу холеры: опять ни одного созидательнаго слова, и ни одного успокоительнаго слова, ни одного добраго совѣта, опять какія-то темныя, хитрыя слова. А вѣдь знают невѣжество масс и что дѣлалось в прошлыя эпидеміи. Господи, неужели же начнут теперь газеты спекулировать и на этой бѣдѣ. Когда же наконец кончится этот гнилой кошмар и начнется возрожденіе прессы!

Несуразно, и смѣшно! — котел над горшком насмѣхается: над г. Гор. „Нов. вр.“ или вообще газеты или журналы, наконец-то признавшіе („Р. мысль“ хотя бы) крах г. Гор. как писателя. Но опоздали, батеньки. Я уже давно расшатала раздутыя вами же репутаціи. Да, вчера всѣмъ своим поведеніем в печати портили страну, а сегодня, когда уже поздно, болтаете наоборот... „Нов. вр.“ тоже все мое перетаскивает к себѣ. Раз десять брала номер — все моими образами питаются. Даже г. Суворин щеголяет моим. А когда написала ему, чтобы повліял на „Лит. фонд“ дать мнѣ пособіе, потому что ѣсть мнѣ нечего из-за них же всѣх, мародёров и удавов, он, со свойственной им всѣм некультурностью, даже не потрудился отвѣтить. А мародерствовать продолжают. Вот и сейчас г. Меньшиков с моих слов (см. мой 9-й том: Невеселая книга) захлопотал о гибели талантов в Россіи*) и о том что в Россіи больше всѣх работает бѣдная трудящаяся интеллигенція. Свое прибавил — включил сюда же

*) (не совсѣм кстати называя Менделѣева, котораго никто и не воображал затирать и губить. Но у всѣх у них манія приводить примѣры неподходящіе — все только тѣх которые болѣе или менѣе все должное получили. Так и сотрудник „Рус. вѣд.“ тѣ же слова налѣпил — на Пирогова!).

журналистов. А журналисты — это как-раз не работа, это паразиты, трутни, удавы — тѣ из них, которые питаются чужими мыслями и чужим матеріалом и при этом заваливают собою путь к заработку истинным творцам на литературной нивѣ.

Стремиться ввести передержки даже в совѣсть людей — это уже самое послѣднее дѣло. Поясню: послѣдній шум вокруг имени гр. Т. я сначала приняла за обычную газетную рекламу, періодическое напоминаніе о маститом писателѣ, что̀ я считаю дурным тоном (как выражаются французы) т.-е. ненужным поступком в отношеніи великаго писателя, произведенія котораго и так всѣ знают и помнят. Еще я подумала что это, может быть, газетный пріем дабы вызвать приток денежных пожертвованій, о которых упоминается в письмѣ гр. Т. Но так как все это мало для меня интересно, то я и ничего было не отмѣтила в дневникѣ. Но я, очевидно, ошиблась. И уже не могу пройти молчаніем тѣх газетных столбцов, в которых пишущіе стремятся внушить — что читатели и писатели должны позволять себѣ обсуждать гр. Т. только как писателя. Чтобы достичь этой цѣли, мнѣ кажется, прежде всего не надо печатать ничего подобнаго его письму. А раз оно напечатано — естественно, что чуткая и свѣтлая совѣсть людей, даже таких которые преклоняются пред писателем, заволновалась в недоумѣніи, смутилась, возмутилась и запротестовала, как моя совѣсть еще тогда когда лѣт 15 тому я в одной из его статей прочла его фразу, что — каждый человѣк имѣет хлѣб, а нужен людям только хлѣб духовный; или, например, позже — газетное сообщеніе, будто какой-то провинціальный бѣдный учитель попросил у него денег на цѣль — обвѣн-

чаться со своей невѣстой, и он ему в них отказал. Ссылка на Виктора Гюго и Францію тоже неудачна. В. Гюго как писателя хоронил с королевскими почестями весь Париж (мы с мужем тоже были на этих похоронах), но о В. Гюго как о человѣкѣ говорилось немало и при жизни его и послѣ смерти... Вспоминается мнѣ и мое слово — уже по поводу матеріальнаго богатства Zola*), о котором сообщали газеты. А вѣдь как писателя я считаю Золя первѣйшим.

„Заѣдки“, читаю в престарѣлой газетѣ. Но тот, который и это народное слово похитил очевидно у меня — услышал звон, понравился ему (звук), да не знает гдѣ им звонить. Заѣдка значит какое-нибудь кушанье которым заѣдается обычная крестьянская пища, т.-е. щи. Во множественном числѣ не употребляется крестьянами, причина понятна сама собой. Я это слово дала в Поэмах без слов: намнешь картошечки на заѣдку... А в смыслѣ закусок к водкѣ вовсе не это слово употребляется крестьянами. Но так неумѣло каждый из пишущих зѣвает (крестьянское слово, значеніе его кричать, орать, тоже данное мной в Невеселой книгѣ) — зѣвает чужими словами, быть может прикрывая свое мародёрство. Или: в 9-м томѣ моих произведеній (Невеселая книга) в разсказѣ Роды читается, что деревенская баба-повитуха только что народившагося младенца еле дышавшаго шлепала, дабы вдохнуть в него жизнь. Теперь же (кажется, в „Р. сл.“) кто-то, кому понадобилось для краснаго словца сравненіе, преподносит читателям, что „опытныя акушерки“ шлепают младенцев, дабы их оживить. Позволи-

*) См. мою книгу Поэмы без слов, стр. 229 и 230 (и предыдущія — о Zola).

тельно ли преподносить такую чепуху! Акушерки и врачи совершенно иными способами оживляют младенца (упомянуты в моей книгѣ Любовь-ли? в разсказѣ: Горбунчик). Кстати и это: 10 лѣт тому назад в моем трудѣ Деревня нашего времени я дала особенности выговора крестьян: бѣгат (вм. бѣгает), ругат и т. д.; а также дала я мягкій их выговор таких слов как кричит, бѣжит (они: кричить, бѣгить) и пр. Но вѣдь так выговаривает отнюдь не вся Великороссія, только в опредѣленных мѣстностях такой говор. Поэтому в других моих крестьянских разсказах встрѣчаются уже другія особенности, вѣдь я матеріал собрала огромнѣйшій и из разных губерній Великороссіи, а отношусь к нему, как видят, с крайней тщательностью. А сороки Якова опять одно про всякаго: уж что подхватили из моих книг — тὸ суют всюду, и в тѣ мѣстности гдѣ вовсе не так говорят. Галки самих себя украшают чужими перьями.

Моя каторга.

Documents humains.

Мнѣ: „Здорово же выѣла печать сердце и этику из извѣстностей!“

Я: Все-таки не у всѣх. Жемчужины посреди фальшивых перлов еще находятся на каждом поприщѣ.

За двух-трех праведных в средѣ литераторов я пощадила бы и все скопище модных беллетристов. Но уважать можно конечно только людей хороших, тѣх о которых менѣе всего трещит печать, которых никогда не славословит печать.

Я и вообще знаменитостей не люблю как людей. Как люди — они обыкновенно уже худшіе люди: добившись своего — славы, положенія, денег, уже не стѣсняются нигдѣ и ни в чем... становятся вѣроятно сами собой, ибо я думаю еще и то, что как и отцы тѣх кто с колыбели уже несет с собой богатство и связи — славы, положенія и огромных денег достигают обыкновенно только не идеальные, проныры, пройдохи, интриганы, покладистые, угодливые и т. п. И достигши всѣх матеріальных благ — им уже ничего внутренняго в себѣ не нужно. Не нужно внутренних качеств, не нужно внутренняго совершенства. Дурными быть выгоднѣе, а славу будто хорошіе дадут газеты, онѣ же эту славу раз-

дуют, выпустят во всѣ концы міра свои крикливыя, всегда лживыя рекламы. И естественно, что при таких порядках фабрикаціи „удачников“, раздачи славы, денег, положенія, дарованіе удачников тоже часто лишь дутое. Я убѣждена, что бо́льшие таланты так и погибли для родины, вездѣ и всегда затертые дутыми и не получив возможности развернуться во всем своем солнечном блескѣ. Горѣвшие истинным небесным огнем они гасились сопками с озорством извергавшими на них свои остывшіе, часто вонючіе пары, свою грязь, все то, что способны выбрасывать из себя потухшіе вулканчики. И такое озорство существует для всѣх родов искусства и, я думаю, между „жрецами“ всѣх родов искусства.

Мнѣ и вообще черезчур восхваленныя знаменитости не нравятся. Патти, напримѣр, не понравилась мнѣ. Ея голос не западал в мою душу... Но возьму позднѣйшій примѣр: ...,расхваленный газетами, любимчик всѣх психопатов, всеобщій фаворит... и я опять „имѣла дерзость“ (лѣт шесть тому) не восторгаться им... Я только за красное ухо простила ему холод, отсутствіе чувства и темперамента, когда в одной сыгранной им вещи от этого краснаго уха внезапно повѣяло волненіем и от рук чѣм-то большим чѣм искусный ремесленник. А Падеревскій (котораго московская пресса замалчивала) — это мое. Так всегда и всегда не то люблю я что̀ превозносят газеты.

А каковы люди — превозносимыя извѣстности — это я воочію узнала, как начала продавать мои книги.

Мір художников кисти, то что я видѣла — что-то ужасное, жестокосердое, порой невоспитанное как

ломовики, что̀ бюрократ в их средѣ, т.-е. директор какой, что̀ „вдохновенный“ портретист или художник.

— Если пресса замалчивает, надо бросить писать. Я разбил свою палитру.

Паѳос этот разумѣется вызвал во мнѣ только насмѣшливый отклик. А странная покорность гнусной „силѣ“, именуемой прессой — негодованіе.

Или еще знаменитости... о, Господи, до чего они ординарны, до чего также ужасны, сухіе и черствые, и наружным видом подобен такой купеческому мѣшку с деньгами, а никак не художнику, безучастный и грубый, грубостью маскирующій свою ужасную жадность. И каждый такой во взаимных реверансах с прессой: для него газеты и авторитет, и безгрѣшныя кругом угнетенныя невинности; он же для газет, как помрет, и как человѣк — „знаменитость“.

У самых ужасных я в долгу не осталась: высказала правду в глаза.

— Вы пришли чтобы я помог вам и дѣлаете мнѣ наставленія.

Так нехорошо смотрят они, многіе, на то простое дѣйствіе, которое состоит в том чтобы у писательницы купить какое-нибудь ея произведеніе, подчеркивают это как благодѣяніе с своей стороны и оскорбивши подобным отношеніем *все же не покупают и рублевой книжки*. Ну гдѣ же тут человѣческая душа, которую должно бы дать человѣку общеніе со святым искусством!

Только и видѣла между ними человѣка — женщину, труженицу и бѣдную, совсѣм не рекламируемую, да двух-трех из мужчин. Одному из них я сказала:

— Вѣдь вот вам, художникам, легче выбиваться чѣм мнѣ. Вас поддерживают, художников. Для ваших картин есть выставки. А кромѣ того, я знаю что для вас есть меценаты, нужно-ли, не нужно-ли, а все-же покупают, сами художники полуголодные как я мои книжки — носят продавать свои полотна. И меценат покупает картину и либо вѣшает у себя, либо кому-нибудь дарит. И мнѣ страшно жалко таких бѣдняг, и я рада что для них все же имѣются люди не дающіе художникам умереть с голода и даже дающіе им возможность работать и далѣе на выбранном любимом поприщѣ. А для меня никого не существует. Кажется, милліонный город Москва, сорят деньгами как песком, а не только поддержки — на изданіе книги или на лѣтнюю поѣздку, или на лѣченіе кумысом хотя бы, не найдешь ни у кого, а продать хоть рублевую книгу и то иной день три тысячи лѣстниц продѣлай, пока найдешь, купит бѣдняк почти такой же как я*). Это газеты прогноили и тут. Ибо впоили чтобы не только лѣвая рука знала что помогла правая, а чтобы весь свѣт знал. Вызвали к жизни только тщеславіе. И вышло: и меценаты что „общественные дѣятели“

*) Ради полной правды должна сказать и это. Особенно послѣ московских событій приходилось мнѣ недѣлями напрасно мучиться с книгами. Цѣлые раіоны обѣгаешь, всѣх кто с вывѣской, и все это евреи. Никогда не воображала себѣ что их так много в Москвѣ. Я разницы никогда не дѣлала, носила книжки ко всѣм, лишь бы интеллигент. Но евреи в 9/10 случаев, если не чаще, отказывают купить и одну книжку. Я только дантистам и дантисткам (которых тоже масса евреев) одно время продавала сравнительно довольно успѣшно отдѣльными книжками. Из остальных профессій очень немногіе отозвались, симпатичные и славные, нѣкоторые из них взяли все изданіе. Кто никогда не отказывал купить книжку — другую, это — татары-интеллигенты (но я их встрѣтила очень мало) а также армяне, грузины (минус какіе-нибудь сотрудники например „Р. вѣд.“), черкесы, персіяне и т. д. (которых, к сожалѣнію, тоже очень мало).

имѣют в виду только себя. Движимые тщеславіем сорят даже в толпѣ (подношенія пѣвцу, актеру и пр.), а так ни меценатов нѣт, никого. Ибо дай мнѣ кто на изданіе книги, новаго драгоцѣннаго вклада в родную литературу, или на переизданіе моих предыдущих трудов, никто из газет и не заикнется об этом. Поэтому-то и книги продаешь только с надрывом. „Мы читаем то, о чем трещится в газетах“.

Но все-таки Бог миловал — самую большую знаменитость не имѣла неудовольствія видѣть. Говорю самую большую, ибо о нем-то больше всего кричали „Р. вѣд.“. Даже в сотрудниках фельетонистах у них состоял. И потому что читала его фельетоны, и потому что усердная рекомендація этой арши-тенденціозной газеты всегда падает не на лучших, и потому что его безчисленныя картины я всегда находила по техникѣ великолѣпными, но бездушными — я рѣшила книг моих к нему не нести. И сами же художники укрѣпили меня в этом рѣшеніи.

— Носили к...?

— Стоит ли нести к нему?

— Он как человѣк... не носите к нему, — сказали мнѣ немногіе отзывчивые.

Вот как не сходятся отзывы тѣх кто знает и отзывы газет дающихъ рекламы. Для погибшаго, быть может, считается обязательным пересахаривать некрологи. Но вѣдь так погибнуть мог и каждый другой. Это несчастная случайность и только. И ни моего взгляда, ни правды не измѣнят и посмертныя рекламы (мол, заграничные богатеи раскупят картины, если не раскошелитесь вы, москвичи), ни французская любезность Claretie.

Комплименты говорить, и льстить, ничего не стоит газетам, газетная бумага все терпит. Но души это в его картины не вдохнет. Ни в его ненужные фельетоны. И в особую заслугу не зачтется ему, богачу, что он написал много картин (за что прославляют его „Р. вѣд.“). Я — бѣдняк, а вон сколько дала, и неизмѣримо глубоко творю. А дай мнѣ хоть сотую часть его матеріальных средств — сколько бы я еще сотворила дивнаго!

И насколько же для меня болѣе интересен и дорог тот художник, например (тоже не извѣстность) и добрый и забавный со своим: „Это ничего!“

— ... А подлая пресса замалчивает.

— Это ничего!

— Из-за них мучься теперь, бѣгай с книжками.

— Это ничего!

И наконец:

— Вы свое дѣлаете. И дѣлайте. Вы молодец. Желаю вам успѣха, и побольше продать, и побольше написать.

Таков же приблизительно и мір звуков столь любимых мной и мір театральный со введеніем мародерскаго репертуара переставшій интересовать меня.

Как тот мір — красок, так и этот послѣдній я быстрёхонько бросила, безплодно обѣгавши десятка полтора, а может быть больше: богачи-актеры не покупающіе ни одной книги или знаменитость покупающая Деревню нашего времени как самую дешевую из всего изданія, покупающая со скверными пріемами неумѣстной милостыни, будто только оттого что я голодаю. И за это опять, гдѣ только могла, в долгу не оставалась, платила по-своему. Так мнѣ

был противен тот рубль хоть и за книгу полученный, что я по почтѣ послала даром 8-й том моих произведеній, приглашая прочесть мою в Ars longa, vita brevis послѣднюю статью.

Или актрисы.

Сердито:

— Ничего я не куплю. С нас сейчас собирают Чехову на вѣнок.

Хотѣлось сказать: оставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. Но пока это был еще только юбилейный вѣнок.

Но вѣнок мертвому тоже кому-то помѣшал купить у меня и рублевую книгу.

— Ни одной книги не возьму. С нас сейчас собирают на вѣнок Z. Разоряют нас этими вѣнками.

И так без конца: все одним, все тѣм же. И так вездѣ и во всем.

А уж к этим знаменитостям, которые обставляют себя отвратительной обстановкой petit-maître'ов, и устраивают свою жизнь как petit-maître'ы со своими лакеями с наглым лицом — тщетно пытаться проникнуть. То „они еще изволят почивать“ (в два часа пополудни), то „они...“ Словом, некрасивая жизнь эгоистов, обсыпанных золотом.

И читатель уже чувствует мое отношеніе к фразѣ, пресмыкающейся пред деньгами, прессы: „Расходовать на войнѣ надо обыкновенных людей и не расходовать“ мол „знаменитостей“. В дневникѣ я поставила одно слово, выраженіе даже уже не негодованія, котораго не стоит расходовать на всѣ эти подлыя фразы, а — моего крайняго презрѣнія к печати издѣвающейся над общественной совѣстью, развращающей ее.

Удачники помельче, т.-е. тѣ что не купаются в золотѣ, но зарабатывают денег все-таки много, — сплошь и рядом тоже такіе же. Какая, например, огромная разница — иныя сильно нажившіяся женщины-врачи и просто труженицы или, например, просто женщины: жоны тружеников-врачей, присяжных повѣренных и т. д. Каких я ужасных, каменных встрѣтила из числа самых извѣстных, и каких я сердечных, чудных знаю в средѣ этих. И все это лишь подтверждало сложившееся во мнѣ мнѣніе о людях, что лучшіе люди суть посреди просто публики, общества, перлы не вправляются в рамки газетныя, а усиленныя рекламы при жизни и панегирики-некрологи по смерти как фальшивые брильянты навѣшиваются только на фальшивые брильянты.

А теперь дам нѣкоторыя детали.

Года за три-два до напечатанія моего перваго произведенія (Деревни нашего времени) к моему Флорентію явился за докторским совѣтом один из писателей (нынѣ умершій). Случилось так, что это я впустила его. Тогда мы не были такіе бѣдные как теперь, имѣлись деньги моего мужа, которые потом ушли всѣ на изданіе моих произведеній, и прислугу мы держали. Что пришедшій к мужу господин — писатель, опредѣлила я сразу. У меня всегда было необыкновенное чутье и проникновеніе в людей. Если мнѣ приходилось отперeть дверь паціенту мужа, я в важных случаях не ошибалась и... предупреждала мужа о быть может грозящей опасности.

В 1894-м году:

— Floruś милый, будь, ради Бога, осторожен, смотри ему на руки. Я буду по-близости. Мнѣ кажется, это сумасшедшій, — шепнула я мужу.

— Доктор, ради Бога, вылѣчите. Я погибаю, я чувствую, что наполовину с ума сошел, я видѣл всѣ эти ужасы... С тѣх пор галлюцинирую и ночью, и днем, — говорит пришедшій моему мужу.

Еще:

— Что-то несчастное, ужасное, должно-быть, ненормальное.

И так и оказывается: требует рецепт для морфія. Морфиноман или морфиноманка.

Не дам. Не могу, — говорит муж.

Умоляет. Бросается на колѣни:

Ну, хоть вспрысните. Я заплачу сколько велите.

— Не могу. Не выдержите. Умрете. Не могу. Это было бы преступленіе. Не могу. Отказываю.

Или:

Юноша. Мужа нѣт дома.

— Вы на консультуцію? — спрашиваю, — скоро будет.

Нѣт... то-есть... мнѣ тут один рецепт нужен. Можно подождать?

— Садитесь, вот стул, ждите.

Гляжу на него. Вид у него... отчаяніе, которое прячет. Что-то страшное начинает рисоваться перед глазами. Дай Бог, чтобы я ошиблась.

Гляжу на него, хочу спросить, но юноша упреждает, заговорил первый:

— Я вас знаю, вы писательница. Я только вашей послѣдней книжки не читал.

Я тоже присѣла, на кресло, и осмѣливаюсь.

— Так вот что. Может быть напрасно прождете мужа. Вѣдь вам не лѣкарство. Какой вам рецепт нужен? Я вам скажу, стоит ли ждать.

— Мнѣ, видите ли, нужно... ціанистаго кали нужно мнѣ.

Как-то весь потух, глаза прямо не смотрят, сам нервный, но старается не дрожать.

Так и есть! О, ужас!

— А вы имѣете-ли понятіе, что̀ такое ціанистый кали? Думаете вы, что это возможно, чтобы доктор выдал вам рецепт на ціанистый кали! Сколько вам лѣт? Двадцати нѣт? Что же, вы думаете, что мой муж возьмет на свою душу такое дѣло...

Покрывается красными пятнами, голос дрожит, но бравирует:

— Ціанистый кали употребляется еще в фотографіи. Я тоже занимаюсь фотографіей. У фотографов есть...

— Так вы попросите у фотографа который вас знает. А еще лучше — ни у кого не просите. Муж вам навѣрное не даст такого рецепта. Не стыдно-ли! Вся жизнь впереди. Навѣрное из-за какой-ибудь ерунды. Пройдет печаль, и воспоминанія, быть может, не останется... Мнѣ больно смотрѣть на вас. И думать бросьте. Слышите!

В это время вернулся муж.

Юноша упорствует. Просит. Теперь чуть не плачет. И все это несчастное слово их всѣх, думающих что за деньги врачи дадут всякій рецепт.

— Я заплачу.

А еще читал мои книги!

Но в Россіи как-то с колыбели они думают всѣ обо всѣх — одинаково. С колыбели никому и ничему не вѣрят.

Выбранили жестоко несчастнаго бѣднягу. И уже вдвоем говорили ему, как могли бы говорить сыну родному. Казалось, что успокоился.

Говорит мнѣ:

— Дайте мнѣ вашу книжку: О, зачѣм дано жить только раз! Можно со скидкой? — за девяноста копеек?

— Можно и так вам дать эту книжку.

— Нѣт, я могу заплатить.

Боже, дай чтоб это было не то... и чтобы не нашлось человѣка, который дал бы ему этот ужас.

— Боже, неужели это этот, который приходил к нам? Достал таки. — Говорили мы с ужасом дней через пять, кажется, прочитавши в газетах о юношѣ и ціанистом кали.

И вот еще что̀ раз было.

Звонок.

— Доктора дома нѣт. Будет через четверть часа.

— Я — лѣчиться. Позвольте подождать.

— Пожалуйста.

Впустила.

Снимает пальто и говорит:

— Я ваши книги читал.

— А!

— И сейчас читаю... кончаю семейную хронику.

— А!

Односложно — разсѣянно воскликнула, потому что, как вошел, что-то неуловимое поразило меня в этом господинѣ и мнѣ, не трусихѣ, жуть какая-то вдруг в мысль поползла.

Указала ему сѣсть на диван.

— Тут на столикѣ мои произведенія. Можете читать, — сама вышла.

Вышла, а жуть во мнѣ продолжается. Почему? Что такое? — хочу отдать себѣ отчет. А мысль говорит — кого он хочет застрѣлить, меня или себя?.. Что за вздор!

А жуть продолжается. Из пріемной ни звука, ни шелеста. Прислушиваюсь — вот, вот сейчас грянет выстрѣл. А я одна одинёшенька в квартирѣ. Пріоткрыла черный вход, выход на галлерею, все не так страшно, высматриваю, не идет ли муж. Слава Богу!

— Florusiu, сидит какой-то, ждет тебя. Я прямо замучилась: мнѣ все почему-то казалось, что сейчас будет выстрѣл, что он ищет гдѣ застрѣлиться.

Ну, и что же вы думаете. Больной с этих слов и начал:

— ...,доктор, и я на краю самоубійства. Только и думаю о том, гдѣ и когда наконец в лоб себѣ пулю пущу.

И этого пришлось мужу успокаивать раньше чѣм начать его изслѣдовать.

Та́к вот с одного взгляда угадала я и ту личность, с которой начала новый отдѣл в этой статьѣ, писательскую профессію его угадала.

Писатель этот в теченіе нѣскольких мѣсяцев от времени до времени приходил к моему мужу, но у нас была в то время прислуга и ни разу больше не пришлось мнѣ самой открывать ему дверь. И вот раз моя дѣвушка обрадованная „монетой" прибѣгает ко мнѣ в спальню и говорит: „Барыня, этот барин сейчас дает мнѣ на-чай, а сам спрашивает: „Почему я никогда не вижу вашу хозяюшку? В первый раз видѣл, а больше не вижу".

Мнѣ это не понравилось, покоробило меня.

— Что за вопросы! Ты, пожалуйста, Груша, не вступай с больными в разговоры. Ты что-же отвѣтила?

Я развѣ не понимаю обращенія, барыня! Ничего не отвѣтила. Извѣстно, прислуга дома, прислугу и видать.

Результат был тот, что я посмѣялась с мужем, а вечером мы об этом разсказали одним нашим знакомым.

— Должно быть чувствует собрат, что здѣсь восходит звѣзда, нарождается дивная соловушка-писательница.

Вѣдь это было в то время, когда я почти заканчивала мои первые два труда (Деревня нашего времени, и Семья Никитиных).

Сколько же с тѣх пор перемѣнилось — прибавилось во мнѣ и народилось, и убавилось — исчезло, всякія хорошія чувства к литературным собратам исчезли.

Безграничная ненависть к писателям, безграничное презрѣніе к ним, котораго никакими словами не выразить. Сегодня я распростилась с чужими книгами, продала мою библіотечку, продала все, начиная с произведеній гр. Толстого, продала потому что нам денег не хватает на хлѣб, но и безконечное чувство радости охватило меня что не будет их больше в нашем гнѣздышкѣ, не будут больше чужія книги смѣшиваться с моими книгами — так безграничны наше отвращеніе, презрѣніе и ненависть к этим удавам-душителям.

А вѣдь всѣ мои душевныя свойства тоже стократ выросли, развились, расцвѣли с тѣх пор как пишу, нѣт — еще с тѣх пор как залила меня любовь моего ненагляднаго. И с этой же силой росла моя

ненависть к ним, вскорѣ мое презрѣніе к ним. Так нормально должно бы быть и с каждой другой горячей душой, здоровой и справедливой. Ибо всегда можно сказать, кто погубил или причинил много зла. И не ненавидѣть все человѣчество. И удары презрѣнія направлять только на виновных. И этим обезвреживать этих виновных. И из-за безчестных не отворачиваться от честных. И насколько бы я ослабила себя, свое значеніе в литературѣ и удары какіе наношу безчестным, если бы захныкала как прочіе либо презрѣніе направила в пространство, а не на эту ужасную горсть ужаснѣйших хищников-лицемѣров уже нѣсколько раз поименованных мной. Тѣ, что хныкали на весь мір, рисовались своим мнимым страданіем, никакого зла они не видѣли, сами зло наносили и видѣть этого не умѣли и не хотѣли от своей чрезмѣрной удачи и сытости, от этого своего вѣчнаго упражненія над жирными кусками только клыки себѣ растили, которыми выкусывали живое мясо попадавшихся на пути к хлѣбу бѣдняков и страдальцев и, никѣм не любимые, хныкали, ныли и ныли...

Мой Флорентій как то раз получал с одного кліэнта гонорар сразу за все лѣченіе. У этого кошелек — бумажник набит был деньгами. У мужа же кошелек был пустехонькій. Таково же соотношеніе кошельков писателей и моего. У них туго набитый, мой — пустой. Но там человѣк дал мужу заработок, и мы ему благодарны. А здѣсь потерявшіе совѣсть всѣ послѣдніе годы кошелек свой набивали насчет моего святого труда, моей души, моих чувств, моих образов, моих мыслей, моего

творчества, словом, а мой оставался и остается пустым. И неужели же дать им замучить меня, голодом уморить!

— Драгоцѣнный, вот восемь дочек пока, восемь моих книжек. Вот что я надумала. До сих пор я дарила, теперь пойду продавать мои книги. Будет у нас хлѣбушко. Не дам этой шайкѣ проходимцев съѣсть нас „шито-крыто“ как они любят дѣлать свои преступленія, — сказала я издавши мою Ars longa, vita brevis.

Это невозможно, моя nieboga. Еще кто оскорбит. Дай, я буду носить твои произведенія. Тебѣ и не по силенкам будет носить книги. Я буду носить.

— Нѣт, драгоцѣнный. Твои силушки еще больше нужны. Вѣдь от тебя идет все, и грошик заработанный, и радость, и счастіе мое. Тебѣ изнуряться ношеніем книг невозможно. Я не хочу. Довольно работаешь. И времени у тебя не хватит. А я полегонечку, понемножку буду носить. А оскорблять себя я никому не позволю. И потом — я буду расшатывать этого удава: прессу. Как пишу, так и говорить буду всѣм. Уж я же их выведу на чистую воду!

Славный..., присяжный повѣренный, один из первых к кому я понесла мои книжки. Мои первые труды он уже знал, оказалось.

— Как жаль, что вы унижаете свое творчество, сами носите продавать.

— Я вѣдь не к сапожникам ношу. Ни к одному из беллетристов не понесу. Развѣ по невѣдѣнію попаду, так как половина их под псевдонимами

прячется. Я даже еще к большой публикѣ не ношу, только к тѣм про кого знаю кто он и что.

— У нас общество ужасное. Не дай Бог никому нуждаться в них. Как мнѣ вас жалко, что вы должны ходить ко всѣм этим людям предлагать ваши книги, — сказала мнѣ одна артистка.

— Это ужасно! Вѣдь я не к сапожникам буду носить мои книги. Только к интеллигенціи, к цвѣту интеллигенціи, и то по выбору. Я вам не вѣрю, я думаю, что хороших найдется много.

— Нѣт, они ужасны. Увидите. Мнѣ вас ужасно жалко.

Мнѣ эту идеализацію московскаго общества простить можно. Я почти ребенком уѣхала из Россіи, вращалась в Москвѣ я, правда, все больше посреди небогатой трудовой интеллигенціи, которые всѣ были славные, от людей побогаче мнѣ никогда ничего не нужно было, никакой услуги, и зла я от них тоже не видѣла. А кругом, все равно что сейчас, хвалили и тогда всѣх „видных“.

Но почти с первых шагов обнаружилось дѣйствительно что-то ужасное. Вся Москва, оказалось, пишет. Вся — не вся, это, понятно, я смѣюсь, но, о, Боже, какое ужасное множество! И это уже не покупатели у меня книг, за исключеніем двух-трех честных. Засим идут тѣ, которые не пишут, но имѣют связи в мірѣ пишущих и это тоже, за исключеніем малой группы честных, не покупатели моих книг и всецѣло на сторонѣ всяких подлостей, когда эти подлости исходят из среды богатых полезных им или могущих вредить им людей. Из остальных — милліонеров, богачей, просто успѣвших и благоденствующих — девять десятых тоже не покупатели моих книг. Мелко-скупы, ничѣм

о чем не барабанит печать не интересуются, не отзывчивы, черствы, что̀ мужчины, что̀ женщины, что̀ юноши, что̀ молоденькія дѣвицы. И, Боже мой, до чего же многіе из них кромѣ того дики, грубы по своему нраву, и напыщенны, и циничны в своей черствости! И гдѣ их пресловутая доброта. Нѣт, они не были такіе и самые несимпатичные из них. Это за послѣднія десятилѣтія сдѣлали их ужасными всѣ эти „колоссы“ на гнилых ногах и с гнилою душой. Писатели поклонники грубой физической силы и разпузданности пороков и внушавшіе что „сильные должны душить слабых“, т.-е. богатые бѣдных, наглые кротких; писатели наглые инстинктами и дряблые волей, поэтому рабы своих гадких сторон, увѣренные что и вся родина такова, вносящіе без устали одну лишь деморализацію своими писаніями, точно новую заповѣдь — навязывающіе свою увѣренность, что бѣднякам в Россіи один только путь: не успѣшная борьба с негодными общественными элементами, а путь в проституцію для дѣвушек, женщин, в воров для мужчин. Но истинные люди, люди с сердцем, лучшіе люди моей родины знают, что в средѣ бѣдняков придушенных „сильными“ есть горсть лучших людей, горсть к счастію многочисленная и для которой не этих навязываемых пишущими путей надо бояться, а надо бояться самоубійства или смерти от голода. И эти истинные люди восклицают как я: „О, подлая пресса, подлые, подлые писатели!“ Подлые всѣ которые подлы, и безконечно дорога мнѣ эта горсточка чудных людей, которая одна только мирит меня с родиной и не отнимает надежды что — раз сѣмена добра не удалось вытоптать всѣ — родина моя еще возродится.

Но сочувствіе моим произведеніям лучших людей и их негодованіе на прессу не могут дойти до публики. Не каждый пишет, не каждый в состояніи напечатать на свой счет, а газеты и журналы ни за что не дадут хода и сочувствующим. Вот фактец: года через два послѣ появленія в свѣт моего перваго произведенія (Деревни нашего времени) я узнала, что двое студентов критику на мою эту книжку подавали в газеты.

— У нас свои критики есть, — отвѣтили со злостью редакціи.

„Свои“ же „критики“ ни строки отзыва не дали, и всѣ сотрудники бросились разворовывать мои строки, страницы и из этого моего произведенія и из всѣх послѣдующих. И насчет моего жирѣли и богатѣли.

Но никто в моем несчастном отечествѣ не спрашивает кто как разбогатѣл. Разбогатѣли они — им слава, лесть и почет, и опять золото. А для меня пренебреженіе, и полнѣйшее равнодушіе к тому, есть ли у меня хлѣб или с голода мнѣ умирать из-за литературных грабителей. И даже охота навредить еще — еще подбавить зла на мою долю. Ибо в их глазах важно не то, что я женщина даровитая, интеллигентная, трудящаяся и энергичная, что я — писательница — гордость моей родины... а важны в их глазах только тѣ у кого набраны груды денег. Даже библіотеки вредят, интригуют, прячут от публики мои книги, не покупают вовсе или же, купивши, год не вносят их в каталог. А книжные магазины меньше 30% не берущіе с меня, т.-е. непомѣрной скидкой прямо кожу сдирающіе, тоже уже подчинились интригам прессы, книги мои стали прятать от публики,

потом возвращать мнѣ обратно, сплошь и рядом с испачканными обложками.

— Ну, что за гнусность! — говорю. — Всѣ книги перегадили. Вѣдь онѣ денег стоят. Никто их в таком видѣ не купит у меня. Зачѣм же вы еще убытокъ такой дѣлаете мнѣ!

— На выставку выставляли. Обложка всегда портится.

— Такъ вѣдь, если и выставляли, то один — два экземпляра. А тут на 700 руб. книг. И всѣ испакощены.

Таково отношеніе к чужой собственности и книжнаго магазина „Вѣстника Европы“.

Что за люди, Боже милостивый!

А то еще есть такіе, Грингмут, например, которые печать свою налѣпили на обложку каждаго экземпляра. И публика, эти экземпляры часто бракует. Опять, значит, убыток мнѣ.

— Дайте нам по экземпляру ваших произведеній. Тогда и продажа оживится. А то мы только обложки читаем, — говорят нѣкоторые приказчики.

— А я только заглавія вижу — разных сочиненій в журналах, когда публикацію выпускает журнал, а иных журналов и в руки не беру, — не премину к слову сказать о моем презрѣніи к модной беллетристикѣ нашего времени.

Но книги свои в подарок охотно дала. Дѣлу же это все-таки не помогло. Да, пресмыкательство всюду. Пресмыкаются пишущіе, пресмыкаются оказывается и многіе читающіе, у коих первые вытравили всѣ добродѣтели, мужество в том числѣ.

— Вы бы маленьких плутов обличали. А больших плутов не замѣчали бы. А вы дѣлаете на-

оборот. Забыли русскую пословицу: с сильными не борись, с богатыми не судись.

— У нас, увы, сильных именно нѣт, а богатство больших плутов для меня одинаково наплевать. Сим не побѣдиши меня — богатством.

— ...Ни одного адвоката не найдете, если захотите с ними судиться, — говорит мнѣ... адвокат.

— Чудесно! Что же, только неправыя дѣла защищаете? — отвѣчаю я на филиппику сего приверженца „Рус. вѣд.“ и других. — ...Этак вы кумовство и в парламентѣ заведете. Нехорошо. Плохо. Плачевно...

Возраженіе за возраженіем — дошли и до мародеров. Называю их, включая г. Горькаго.

— О, этот — воришка! — и в голосѣ адвоката по адресу послѣдняго прозвучало не негодованіе, а нѣжность, любовность, какой-то шалыганскій восторг за то что — „воришка“. А рот осклабился до ушей.

Мнѣ стало противно. Боже мой, и это интеллигент моей родины! Какое безстыдство, какой цинизм! Подошло под их натуру творчество г. Гор. Вѣдь они во всяком случаѣ умнѣе его, который совсѣм не умен. Но и они, всѣ такіе, испорчены. Поэтому и жизнь в Россіи дурная, некрасивая, а там и подлою станет.

А он уже выторговывал копейки, за книгу цѣна которой больше рубля давал только рубль.

— Берите тогда Деревню нашего времени. Она стоит рубль.

— Нѣт, я хочу за рубль вот эту (Ars longa, vita brevis).

— Да вѣдь я тут отдула прессу и Горькаго. Еще пожалуй заболѣете за чтеніем.

Пр... Я хотѣла сказать: прости ему, Господи... Но Господь ему не простил. Недолго, несчастный, носил в себѣ свою нелѣпую душу, совсѣм не идущую к его профессіи. Ну, Бог с ним, слышала, что несчастный случайно был гдѣ-то убит при „перестрѣлкѣ“.

Но и судьи московскіе не без пристрастія, оказывается. О, тоже не всѣ, разумѣется. Но вот они, тѣ, нѣкоторые будущіе „кады“ как говорят иные мужички.

— Этих строчек о газетах довольно чтобы не покупать ваши произведенія, — говорит один мировой, перелистуя Ars longa, vita brevis и попадая как-раз на описаніе подлостей прессы.

— Вы их заплевали. За это не возьму Ars longa, vita brevis, вы на „Русскія вѣдомости“ здѣсь говорите.

— Потому что они в отношеніи ко мнѣ не менѣе подлы чѣм органы Фейгина и других.

— Я возьму Поэмы без слов.

— Да уж ничего бы не брали. Вѣдь и тут есть на них.

— Нѣт, мнѣ хочется взять.

— Ну, берите.

А другой — еще болѣе заядлый.

— Ничего не желаю. Вы на газеты. Это меня раздражает. Они теперь заплеваны.

И пошел говорить.

— Какой же вы судья! А ну вдруг я буду с ними судиться у вас. Так вы этакій судья. Уже заранѣе фаворитничаете. Газеты — так им всякая подлость дозволена. Или „извѣстным“ писателям. Чудесно! У вас не правосудіе, значит, а — политика. И куда же все это растлѣніе приведет Россію! Сами все жалуются на цензуру,

на стѣсненіе свободы слова злостные болтуны, а сами сто раз хуже душат. Во всѣх душат и мысль и все. Своему шаблону всѣх стремятся поработить. И своим корыстным видам. И всѣ подлости дозволяют себѣ. А я — молчи, чтобы они могли безнаказанно дѣлать преступленія... А вы уже заранѣе рѣшаете дѣло, оправдываете и мародерство, и прочія гнусности. Чудесно!

А то еще кто-то:

Как это цензура пропустила то что вы говорите против „Рус. вѣд.“!

Вот так так!

Я улыбнулась и сказала:

— Вот когда вы призываете цензуру! Великолѣпно! Для себя не хотите цензуры, все чтобы вас присяжные разбирали. Так и мое дѣло с вами — тѣм болѣе. Пожалуйте. Я давно предлагаю — к суду на разбор. Всѣх котов — которые сливки снимали, мародерствовали, да еще клеветали.

Впослѣдствіи оказалось, что многіе из них кинулись верховодить в политикѣ. О, моя несчастная родина!

И тут же бальзам — хотя тоже не дающее хлѣба, но каплю утѣшившее удрученное за родину сердце. Письмо мнѣ пришло:

„Я давно знаю вас, с 97 года. А живя в Порт-Артурѣ прочел и новыя Ваши произведенія. Никто так не пишет. Свѣжее, новое, искреннее, горячее, всѣ изгибы души человѣческой Вы знаете как никто. Глубоко благодарен Вам за доставленное мнѣ Вашими произведеніями наслажденіе и нравственную пользу“.

И опять безысходная борьба с жадностью, глупостью.

— Я теперь только Тургенева читаю. Предпочитаю перечитывать Тургенева чѣм читать теперешних. Рекламируют всякую гадость, — говорит господин которому я принесла продавать мои книги.

— Совершенно вѣрно. Рекламируют всякую гадость. И поэтому теперь русских литераторов нѣт. Есть группа изворотливых шарлатанов, кулаков, умѣющих жить, т.-е. всѣми способами набивать свой кошель, но не годных быть писателями.

— Ну, а я не „модный“ писатель. Меня не рекламируют, мои произведенія замалчивает вся пресса... — перехожу к моим книгам.

— Замалчивает, так мнѣ и брать ваших произведеній нечего.

Варіантов этого типа безконечное множество. Навязанную рекламами гадость он презирает, но покупает, ибо — один из огромнаго панургова стада. По этой причинѣ моих произведеній не зная он их и узнать не желает.

— Я сам найду в магазинѣ чтó мнѣ нужно, — говорит с раздраженіем тоже представитель нашей обезпеченной средствами и положеніем интеллигенціи.

— Да вѣдь о моих книгах вы не знали и не искали их в магазинѣ. Вон их сколько у меня, а вы и не знали. Я вам их принесла, мнѣ дали ваш адрес тѣ которые купили у меня и считают что мои произведенія прекрасныя.

Но вмѣсто того чтобы купить — представитель нетрудящейся богатой интеллигенціи объявил мнѣ что не одобряет выбраннаго мной пути борьбы с замалчиваніем прессы, т.-е. не одобряет того что я сама распространяю мои произведенія, ношу продавать их.

— Да почему же?! Студенты носят продавать чужія произведенія, я — свои. Студентам предлагала избавить меня от этой каторги, за большую скидку, так не хотят: одни потому что прессы боятся, другіе тоже практичны — боятся что мало продадут. Ну, и ношу. И буду носить. Самый благородный путь по-моему. Вѣдь это тоже труд — носить свои труды. А все что труд прекрасно, и да служит примѣром другим. А вот другіе, ваши пути...

Но не ему одному, но, увы, безрезультатно, приходилось втолковывать уваженіе к труду и презрѣніе к их „путям", которыми я гнушаюсь. Прямо разжевывать то же самое приходилось и профессорам („либералам") и подкрѣплять словами, что за границей (которая им служит послѣдним убѣдительным словом когда дѣло идет о рекламѣ фаворитам и пр.), что за границей бороться, выбиваться, носить свои труды очень почетно. А русскіе — во всѣх слоях общества многіе стыдятся бѣдности и тянутся к куску хлѣба и цѣной попрошайничества и добиваются богатства и цѣной преступленій. Бѣдность презирается, труд не уважается, дарованіям хода не дают если с них нечего взять, оттого у нас столько бездарностей в средѣ „знаменитостей" и столько порочных: пьющих, напримѣр, без числа.

Но к счастію для моей родины у нас есть и люди. Они говорили иначе:

— Носите ваши книги, знакомьте с нами общество. За границей за ваш талант и за вашу энергію вас покрыли бы славой, осыпали бы золотом. Здѣсь же все подло. Тяжело будет, но не падайте духом. Распространяйте, не давайте им задушить ваши творенія.

— А наши убѣжденія... — начинал меня наставлять еще какой-нибудь господин, признававшійся что он сотрудник многих газет и потому не купит моих книг.

— Ваши убѣжденія!.. — говорила я ретируясь. — Знаю. Читала. Это как ваша свобода — свобода грабить меня. И либерализм ваш только показныя слова и жажда власти чтобы деньги получать и доходныя должности. У вас 99 на сто пишет сегодня так, завтра иное говорит. Ни одной цѣльной мысли, ничего опредѣленнаго, виляете хвостами как лисицы, и нашим и вашим, то вперед, то назад, вчера травили, сегодня прихваливаете или наоборот... словом, стараетесь для себя и для кумовьев.

Вот послѣ этого, увидѣвши воочію всѣх этих господ, мог ли имѣть для меня значеніе слѣдующій вскрик:

— Я! — подписать мое имя под именем... Я!

— А что?

— Да он пишет в „Московских вѣдомостях".

— Во-первых он ученый, спеціалист. А во-вторых если и пишет что — так навѣрное по своему убѣжденію. В третьих он пріобрѣл мои книги, и я ему бдагодарна. Вѣдь для чего же нибудь я мучусь, ношу мои книги. Да и какое мнѣ дѣло. Книги покупают всѣ. Для этого не надо подбирать единомышленников. Разница в убѣжденіях не при чем тут. Газеты — и то читаешь и такую и иную. А вѣдь это художественное творчество. Без всяких ваших тенденцій, т.-е. лжи. Одна правда. Всѣ должны имѣть понятіе о своих крупных писателях... Так вы не подписывайтесь на все изданіе, а возьмите книжками. Или возьмите все

изданіе, а на листѣ для подписки не ставьте вашей фамиліи.

— Нѣт, раз он купил, я не желаю покупать.

— Ну что за безбожные скоты! — сказала я вернувшись домой измученная и голодная, и не продавши и рублевой книжки. — Господи, что за люди!

Но надобно дать чуточку свѣтлаго.

Кое-кто из молодежи, студенты и учащіяся дѣвушки:

— Что̀ о себѣ пишете — тоже страшно назидательно. Случайно прочли ваши воспоминанія: Мои учителя. Замѣчательно.

Я: Вѣдь если я пишу и о себѣ, так это прежде всего потому, что это злит удушающих меня писателей и писательниц. У меня так много посторонняго матеріала, что я и не успѣвала бы говорить о нас, если бы они не душили меня.

— Нѣт, пишите и о себѣ. Все что у вас автобіографическое — для нас, начинающих жить, страшно интересно и поучительно. Вы единственный человѣк у нас. Другіе сильны только своим богатством. И порочных много. А нам нужны такіе люди как вы. Вы — гордость страны, гордость всѣх трудящихся.

А они все-таки убьют меня. Потому что мародёры, убійцы, и правды от живого не выносят.

Другим мои публицистическія статьи необыкновенно нравятся: Текущіе счеты, или Отрывки кое-каких моих дум приводят в восторг.

Очевидно, никакія мои строки художественно написанныя не возбуждали и не возбудят в „почитателях“ моих книг ненависти ко мнѣ, ни хотя бы эти:

У Иверской ждет народ проѣзда молодого Царя. Подхожу и я — взглянуть. Я хочу конечно стать в первом ряду, но ужасные городскіе мужики сцѣпились руками, оттискивают куда-то назад. Все это видит с площади офицер. Идет прямо на нас. Обращаясь ко мнѣ: „Вам угодно стать впереди?“ — Да. За ними ничего не увидишь. „Пропустите“. „Мы охрана“, отвѣчают мужчины. „Пропустите“. Тѣ упорствуют. „Я тут распоряжаюсь или Вы? Дам — вперед, а вы постоите сзади“. И прекрасно, я ужасно довольна. Я очень мило одѣта, в руках у меня ничего, ни даже зонтика, только фулярчик, по личику видно, что я пришла посмотрѣть на Царя, а эти мужчины, Господь их знает кто, только предлог им чтобы кулаками и боками расчищать для себя лучшія мѣста. И тотчас еще из разных углов тротуара извлек офицер таких же интеллигенток и проводил их сюда же в ряд со мной, мужчин приглашая отойти назад. Мы всѣ были рады, и даже нашли, что так и для глаз Царя лучше — видны и представители интеллигенціи.

А другой раз было еще интереснѣе. Против городской думы за натянутым канатом становится народ Царя провожать из Москвы. Погода чудная. Пришла посмотрѣть и я. Стою за канатом и я. Видим, я и еще кое-кто возлѣ, старшій полицейскій пройдет вдоль каната раз, еще потом раз, оглянет всѣх, и нашу группу оглянет. Вдруг — подошел:

Вам угодно стать впереди каната?

И очень.

— Пожалуйте.

Пригнулась, и — на просторѣ.

За мной выбрал еще даму, с двумя прелестными мальчиками, еще кого то, еще и наконец женщину из народа с крохотным ребеночком на головѣ. Вышла прелестная группа, букет впереди каната, который неминуемо бросится Царю в глаза. И всѣ мы очень счастливы. И это кажется даже трогательным... жалѣющим. Вѣдь во всѣх еще носится ужас и скорбь за недавнее несчастіе (1894 г.) скорбь, которую быть может смягчить предназначена наша группка. И это трогательно и хорошо... в каждом, в малом и в великом братѣ видѣть сердце, не бояться жалѣть, не бояться утѣшить чѣм в силах...

Из толпы еще масса охотников оказаться поближе, и уже напирают, рвутся из-за каната, на площадь. Но полицейскіе не дают. И начинаются препирательства, и яростные возгласы огорченных: „А им можно". „Чѣм они лучше нас!" „Что господа, так и можно". А вѣдь видят, что в группѣ есть женщина не из „господ", с ребенком на головѣ.

Но вернусь к нашей ужасной прессѣ.

Что она ужасная, хитрая, разнузданно-безчестная, особенно с беззащитными — это я говорю каждому кому принесла мои книжечки. Вѣдь надо же объяснить обществу. Оно знало только одно: „признанные" писатели каждый богат; они пьют, они кутят, как низменныя натуры, многіе не брезгают и картежем; а тѣ, которые „успѣха не получили" — опускаются и спиваются как и тѣ, но пропадают невѣдомо, гдѣ то проваливаются, с голода умирают либо в больницах; но бороться, носить продавать свои произведенія, раз чувствует в себѣ Божію искру руководящій, первоклассный талант — „фи! да ни один не пойдет на такое униженіе". Им больше с родни другіе пути. Лишенный энергіи вью согнет пред худшими, но не попытается передѣлать мір на свой лад... не дать сапожищам подкованным золотом затоптать сѣмена добра, сѣмена истиннаго обновленія, возрожденія родины. Я же, женщина нѣжнаго сердца, но стальной энергіи и желѣзной воли, за доброе и высокое буду бороться до послѣдняго моего издыханія. Поэтому с прессы и начинаю, знакомя с собой. Вѣдь вот и пословица: По бѣдѣ встрѣчают, а по уму провожают. Вѣдь это только они, худшіе, ненавидят силу нравственную.

— Мое литературное творчество интересное и высокохудожественное, но безчестная пресса (и т. д.).

И вот почти на первых же порах попадаю:

— Вы думаете, говорите то чего мы сами не знаем? — что они негодяи.

— А общество этого не знает.

— Они за красное словцо готовы продать и мать и отца.

— И сестру и жену, кажется, — добавляю.

— Жены, положим, у половины из них нѣт. Живут хитрованцами.

Или:

— Вы мнѣ говорите вещи, которыя я и сам знаю. И ваши произведенія знаю. И всѣ продѣлки прессы знаю. Я сам работаю в газетах и журналах.

— Под каким псевдонимом?

— Мнѣ непріятно сказать вам.

— Должно быть, тоже...

Я не из запѣвал. Я нуль.

Но запѣвалы ли они в подлостях прессы или только нули, в собственном ли домѣ или в тысячных квартирах подсиживают из зависти к таланту и, сами наѣдаясь за десятерых, отнимают у писа-

тельницы и кусок чернаго хлѣба, — они и тут (когда по невѣдѣнію что и они пишут принесешь к ним книги) вторично обрекают на голодную смерть, и рублевой книги ни за что не купят, ибо кромѣ своей способности падать и неспособности подняться всѣ они еще неимовѣрные скряги, будь это извѣстнѣйшій адвокат, богатѣйшій доктор, рекламируемый профессор и т. д. Исключенія только подтверждают правило. Наберу ли я десяток из этих господ, сотрудников органов печати, которые на ужасную массу не похожи, суть истинные люди, отзывчивые и искренно возмущавшіеся подлостью собратьев по перу! Из этих господ с которыми и дѣлить то мнѣ нечего, ибо я художник, а многіе из них попадались мнѣ пишущіе историческое либо политическое, или даже только научное, книги мои знавшіе другими путями, не покупая и из-за скряжничества и на один рубль не купившіе у меня книг.

Но в исключеніях попались и глубоко-честные.

— Им и горя мало как о них думают лучшіе люди. Им не стыдно. Их забота не être, а paraître — не быть, ни даже казаться, а только считаться. И, рука руку моет: в печати один скверный восхваляет других скверных, а неосвѣдомленная публика вѣрит. И, к сожалѣнію, кто и лучшій из журналистов все это видит и понимает, и негодует, а во всеуслышаніе все-таки не скажет.

Другой, болѣе горячій прямо сказал:

— Знаю, знаю всю эту исторію. Так их отдѣлайте, чтобы попрятались по своим клоакам откуда повыползли. Это возмутительно, это позор! Это не люди пера, а негодяи. Их позор ложится на всѣх нас, и на всю Россію.

Но возвращаюсь к дурным.

Скряги там, скряги и в средѣ не пишущих богачей. Не повѣрят. Милліонеры, которые не покупают даже рублевой книжки. И это — у женщины, у интеллигентки, у писательницы, у труженицы, которая говорит прямо и то, что — ѣсть нечего, были деньги, ушли на напечатаніе, чтобы не пропали труды, теперь ѣсть нечего, заработка не хватает, поэтому считаю своей нравственной обязанностью мучиться, носить продавать. И милліонеры, на всю Москву извѣстные „меценаты“, филантропы, богачки, etc., etc. отказывают, девять десятых из них не покупали и рублевой книги.

Так же поступают и очень многіе приват-доценты, педагоги и пр., пр. Но эти прикрываются своими спеціальными словами.

— За границей удивлялись бы вам, — сказал простой смертный, образованный для себя хочу я сказать.

— И удивлялись бы, и уж давно приняли бы участіе, хлопотали бы, раскупали бы книги, не дали бы не только голодать, но и надрываться бѣготней с книгами.

— Американцы золотом осыпали бы за такой талант и за такую энергію, и за героизм носить к такому обществу как наше.

Но не так смотрят на дѣло тѣ, которые образовывают других.

О г... и вспоминать противно.

Моих книг девять томов и я их всѣ беру каждый раз (в портфелѣ несу) особенно когда иду к извѣстным в Москвѣ лицам, которым стоимость моих книг плевое дѣло, тѣм болѣе что я очень часто и скидку дѣлаю, продавала все изданіе, слу-

чалось, и за 11 р., и за 10, и даже за 9. Вѣдь ѣсть нечего, а умирать не хочется, хочется и жить на Божіем свѣтѣ, и писать и для чудных людей, и для гнусных людей, а это мой хлѣб — мои девять томов. Вынешь их из портфеля, разложишь перед покупателем всѣ девять томов, мою гордость — и заглавія чудныя, и там, внутри, столько, столько всего... расцвѣтешь до слез... Матушка-Россія! — второй раз жить не буду, не увижу тебя такою какою хотѣлось бы видѣть мою любимую ужасную родину... Да, воспитатель юношества, лишь увидал что это к нему не с деньгами, а вродѣ как за деньгами — чтоб пріобрѣл книги — алчность вскипѣла, воспылал гнѣвом, и сейчас же прикрышку своей мерзости нашел, мерзость прикрыл впрочем мерзостью же, ибо накричал, накричал с величайшим презрѣніем и раздраженіем слѣдующія слова:

— Вы ко мнѣ в кабинет входите с сумкой! Послѣ этого еще татарин войдет — с тюком! И это называется писательница — сама носит свои книги! Уж конечно я покупать не стану. Уж конечно...

Ну не хлыщ ли, спрашиваю я читателя. И уж, конечно, dira bien qui dira le dernier, т.-е. послѣднее слово осталось за мной.

Знаете что, — остановила я поток дерзостей именитаго хлыща. — Несчастная Россія, что она имѣет таких педагогов. Кого же вы лѣпите из ваших учеников? — хлыщей, которые как вы будут „презирать" даровитую интеллигентку-писательницу за то что она сама носит свои труды, а не прибѣгает к одному из прославленных у вас способов добывать деньги и хлѣб. Хоть вы имѣете

дѣло с богатой молодежью, но это все равно. И их не позволительно гноить.

А вот и другой, и третій и т. д. „воспитатели", скряжничество и черствость свою прикрывающіе педантизмом.

— Для этого существуют книжные магазины. У нас не принято чтобы автор сам распространял свои книги.

— А если же не дают ни рецензій ни отзывов, и никто не знает о существованіи моих книг!

— А если не дают рецензій, значит покупать не стоит.

Ну что говорить такому олуху! Противно и смотрѣть на таких. Вѣдь понимают они, всѣ эти вынесенные фортуной в большіе доходы и тысячныя квартиры, — понимают они, что несешь оттого что ѣсть нечего, и все же не покупает. И им нисколько не стыдно: никто не узнает. А умрут — о каждом извѣстном газетные вруны повторяют все ту же стереотипную басню свою — что помогал, и прочую чувствительную ложь наведут.

Или этот. Читает заглавія:

— ...Ars longa, vita brevis... Это наш девиз.

— И ваш, и наш.

Продолжает пересматривать мои книги, начал и перелистывать. Затягивается операція. Начинаю терять терпѣніе, ибо вижу — интересуется, но жадность в нем борется; кажется... одолѣвает. А время уходит. И... мнѣ ѣсть хочется. Притом — смертельно устала.

— Возьмите все — все интересное. Я скидку сдѣлаю.

— Нѣт, я выберу, хе, хе.

И все перелистывает, и все прочитывает строки. Прочтет, выберет, отложит для себя, потом другое читает, это другое отложит, а то отсунет. Потом опять присунет. Раз десять перебрал. И не стыдно! Выйдешь—это все его дом, полулицы занял.

— Доколѣ же вы будете перебирать? Мои книги нѣжная вещь. Обложки затреплются, никто уже не возьмет этого экземпляра.

— Хе, хе, я интересуюсь.

— Берите весь экземпляр. Я хорошую скидку сдѣлаю. За десять рублей берите.

— Нѣт, я выберу, хе, хе.

Но этот хоть книжку, а взял. На 1 р. 35. Хотѣл на ней „скидочку", но на одной книжкѣ не уступила. А вышла—это все его дом, полулицы занял. И никто-то им, богачам „извѣстным" и „знаменитым" не сказал о них правды святой...

А этот еще чище, невиннѣе:

— Я читаю книги для того чтобы разговаривать, о чем разговаривают. О ваших книгах газеты не разговаривают, так к чему мнѣ покупать их, не с кѣм о них разговаривать.

Знали разговорщики печати что̀ дѣлали когда не разгорариваль́ о моих произведеніях. Замалчивая чтоб обворовывать обрекали на вѣрную голодную смерть. Недаром хвастают что прогноили одних, притупили других.

А вот этот, быть может, был выпивши, как говорят мужики.

— Не куплю. Не нужны мнѣ никакія книги.

Отступаю в порядкѣ, но как всегда в этих случаях без прощальнаго поклона жадному камню, лучше безчувственному бревну.

В слѣд мнѣ:

— Походите. Здѣсь еще три квартиры есть.

Я, не оборачиваясь:

— До вас не касается.

— Нѣт, походите.

Возвращаюсь к столу. Гнѣвно:

— Как вы смѣете!.. Сами походите.

(Нагло) — Мнѣ не придется.

— Кто знает. И у нас были деньги, а вот принесла к вам книги.

А он опять за свое:

— Походите.

— Не купить книги вы в правѣ, а грубости и дерзости говорить мнѣ не смѣете. Слышите...

Замолчал.

Я, надѣвая в передней кофточку:

— Господи, каких только типов не увидишь— за это время что теряю на ношеніе книг...

— Типов! вот вы мнѣ говорите дерзость, называя меня типом.

— Мое презрѣніе!

Ему и прислуги своей не стыдно. Выскочил, думал, хоть в передней поклонюсь, скажу: мое почтеніе.

Или этот еще:

„Расхозяйничалась у меня, всѣ кувшины чуть не побила", фантазировала я потом. Ибо в ожиданіи сего барина я увлеклась игрой в мяч с его сынишкой, который своей рученкой пожал мою ручку и тотчас приволок ко мнѣ всю свою амуницію для игры. И мы двое живых, нянюшка третья,—за визгом и хохотом забыли о том что всюду там наставлено мертвых предметов... Теперь же я думаю о том, что яблоко недалеко упадет от

яблони, что из мальчика выйдет только продолженіе папаши. Вѣдь это из нас только выходили дѣти лучшія чѣм отцы. Теперь же ждать этого трудно. Я много присматриваюсь к теперешней молодежи, и к теперешним дѣтям. Тонко разбирать нравственные вопросы, рыться в них искренно, всесторонне и без халуйства пред кѣм бы то ни было—моды на это нѣт в настоящее время. Россія живет всегда полосами, односторонне... быть может, неспособная всеобъемлять душой, быть может в своем духовном развитіи только стиснутая всѣми этими добровольно надѣваемыми на себя помочами, даром однообразной, одноногой и однобокой своей „воспитательницы“ — газетной и журнальной болтовни, которую многіе к сожалѣнію принимают в серьез, которой отпора не дают своим мышленіем, ибо облѣнившимся готовыя мысленки столь же угодны как даровое содержаніе ненавидящим труд. В настоящее время полоса политическая, и всѣ нравственныя требованія утоплены в политическом болотѣ. Лгут отцы, лгут и дѣти. Лгут малые, лгут юноши, лгут молодые люди, лгут молодыя дѣвушки, лгут мужчины с положеніем. Лгать, коренное свойство простого народа, стало таковым же, коренным свойством, и многих из интеллигенціи. Практичны отцы, практична ужасно и молодежь, вопреки ходячему мнѣнію. Деньги бог отцов, деньги же божок молодежи. Вѣрно. Страшно это, но вѣрно. Идея, нравственная чистота, труд и пр. и пр. все это в забросѣ, лелѣется только отдѣльными личностями, которые карьеры дѣлать не будут. Печально. Но правда. А кромѣ того цинизм, уносящій остатки хорошаго.

А тут вдруг опять попадаешь на хорошаго, славнаго человѣка. Жадно пересмотрит книги и, таким хорошим, для меня, бѣдняги, несущим радость, жестом сгребет всѣ тома и отложит налѣво. Купил. И еще благодарит, порой и руку цѣлует, что подарила довѣріем, потрудилась принести ему книги.

Нѣкоторые студенты, услышавши от меня, что я собираюсь сама распространять мои книги, сказали мнѣ: вот такой-то и такой-то — бездарный лектор и не добрый человѣк. По всей вѣроятности не купит. Но вышло еще хуже.

— Вы, профессора и приват-доценты — не только скучно пишете. Вы прямо ужасный народ, — сказала я наконец одному послѣ того как безрезультатно обошла их человѣк уже не помню сколько, даром потратила на них и время и силы, и наслушалась всяких их мнѣній, примѣчаній, выговоров и наставленій по поводу того что „осмѣливаюсь“ бороться с прессой да еще распространять мои „продерзостныя“ произведенія.

Только в пяти-шести медицинскаго и естественнаго факультетов нашла я благородную отзывчивость, опять же не в тѣх которых прославляет печать. Особенно историко-филологическій и отчасти юридическій дали этих черствых людей, кажется, жирно обезпеченных и собственным богатством, и жалованьем, и сотрудничеством в газетах и которые вмѣсто того чтобы без всяких разговоров пріобрѣсти хоть рублевую книжку, раз уже я пришла к ним, свое скопидомство прикрывали разными неумѣстными замѣчаніями, порой многословными что̀ газетныя статьи.

— Я не одобряю то что вы сами распространяете свои произведенія. Есть другіе пути. Никто этого не дѣлает. Вы одна вздумали носить ваши произведенія. Я не одобряю...

— Да вѣдь это мой хлѣб. У меня другого хлѣба нѣт. И „других путей“ не желаю.

— Это все равно. Я не одобряю, что вы сами распространяете, и не куплю. По принципу не куплю.

Тут поневолѣ разсердишься. И — скажешь:

— Скажите какіе „принципы“! Ваши „принципы“ и „пути“... очевидно, герои и героини Горькаго, который своими „принципами“ гноит мнѣ Россію. А мой принцип и путь — труд. Пишу. Это труд. И чтобы с голода не умереть и писать далѣе сама ношу продавать мои произведенія. Это тоже труд. Вы вон всѣ ссылаетесь на мнѣніе за-границы. А там как раз это уважалось бы. А не то когда какая-нибудь писательница пронируется каким-нибудь рецензентом, с которым вступает в знакомство. Фи, пакость! Вот видите, не вам меня учить, а я, писательница, все лицемѣріе, всю ложь и обман бичую и хлещу.

И другіе такіе все то же:

— Я не одобряю. Поэтому не куплю. Носите, сами распространяете...

— А тѣ которые покупают говорят: „Носи́те, распространяйте, хорошо это придумали этим способом бороться с замалчиваніем прессы“

— А я этого способа не одобряю.

— А я думаю, что и другіе по моему примѣру носить будут. Пріучат к этому способу таких как вы „общественных дѣятелей“. Да, наконец, студенты носят произведенія продавать.

— Так это от фирм, от учрежденій они носят.

— Да к вам сейчас прибѣгали для подписки на газеты. А я пришла для подписки на мои книги. Не все ли равно?

А то и так еще:

Вам славы нѣт, потому что вы не печатались в газетах и журналах. Вы сами издаете свое. А вы протащитесь через газеты и журналы, тогда вам слава будет, тогда и принесете мнѣ, тогда я куплю.

Не возмутительно ли! И глупо. И так каждый из них: мнѣ что-нибудь глупое, а я ему принуждена отвѣчать умное, учить их.

— Во-первых, — говорю, — дорого яичко в Свѣтлое Христово Воскресеніе. Когда у меня будет слава — неужели же я буду терять время на разноску книг и на эти разговоры с вами и надрывать силы и здоровье, бѣгать с книгами в холод и в слякоть! А во-вторых они моих вещей никогда не напечатают, ибо обрекли меня на голодную смерть. А в третьих вот еще что: я теперь так дурно относусь ко всѣм этим печатным органам, что на вашу рѣчь мой мозг и мое чувство отозвалось вот каким образом: если вы не протащитесь через вертепы, притоны и т. д. вас никто не будет уважать, цѣнить и любить. Хороши ваши слова?

А они уже ликуют, оттого что не купили книг, „а она сидит не ѣвши. Пусть околѣвает“.

Я, впрочем, и рада, что не встрѣчаю филантропіи, т.-е. — что всѣ эти замороженные господа, зная что мнѣ нечего ѣсть, этого обстоятельства отнюдь не принимают в расчет ни во вниманіе. Хотя и филантропіей кичиться предо мною им нечего: вѣдь в войну тот же процент давали богатые

что и мы голодные, что бѣдняки врачи получающіе гроши.

Фамиліи у жестокосердых богачей иногда слащавыя происходящія от слов добро, кротость и пр. Но вѣдь и в литературѣ мы встрѣчаем сочетаніе „Соловей разбойник".

Еще один:

— Я не отрицаю, я знаю что у вас огромное дарованіе, но я воспитан на Тургеневѣ. Тургенев своих книг не носил. По принципу не куплю.

— Если бы всѣ вот этак разсуждали и не покупали — оставалось бы живой лечь в могилу.

— (Глумливо-пренебрежительно): Всѣ мы умрем.

— Так вы умирайте на здоровье. А я хочу жить.

И то сказать, всѣ продавали мои произведенія кромѣ меня. Т.-е. деньги за мои произведенія попадали в карман и тѣх кому не надлежало их получать. Лопнувшія книжныя фирмы с которых я не получила ни денег, ни книг обратно. Или взять, напримѣр, студентов. Это только для меня носить не нашлось их. Большая публика навѣрное покупала бы. Я только все еще не рѣшаюсь носить к незнакомым. Это их дѣло ходить из квартиры в квартиру, они вѣдь для издателей ходят. А я женщина, к незнакомым ходить мнѣ непріятно. Я студентам на тысячу рублей подарила моих книг — думала прочтут, на пользу себѣ, а они не разрѣзавши, не понюхавши, „на пользу себѣ" ходили по городу продавать их. Их ли дѣло было подрывать мнѣ хлѣб!

О, не всѣ это сдѣлали. Вѣдь я потом больше двадцати писем имѣла. Но многіе это сдѣлали.

Бѣдная родина. Не такая была молодежь даже лѣт двадцать тому. Нѣт.

Барину же вышеописанному я на прощанье сказала:

— Еще вызываете тѣнь Тургенева. Эх вы, „удачники" с замороженною душой!

А этот, едва вошла в его кабинет, едва показала ему мои книги, едва сказала: надѣюсь что подпишитесь, начал кричать точно пьяный.

Я: — Не смѣйте кричать.

Удивлен что не молю купить книги. Он думал что имѣя дом и прибыльное положеніе он может и отказать купить книги, и еще — накричать.

— За Чехова не куплю, за вашу критику на него, — говорит старый богач... оказавшійся... собратом — писателем.

— Пожалуйста, не покупайте, — отвѣчаю в тон. — А я все-таки остаюсь при своем мнѣніи, что этот раздражительный писатель дрябловатил русское общество. Видно, правильно опредѣляю каждаго confrèr'а, когда всѣ критики начиная с приват-доцентов только мнѣ отвѣчают, только мои мнѣнія и замѣчанія подхватывают да разбирают, т.-е. стремятся внушить публикѣ — нѣт, нѣт (если в случаѣ прочтете ее несмотря на наше замалчиваніе) — не вѣрьте ея оцѣнкѣ, а вѣрьте нашим комплиментам.

А вот еще манера у них, успѣвших и ползущих на еще болѣе видныя мѣста. Оставляет у себя книги под каким ни-на-есть предлогом, а я чтобы пришла в такой-то день. Прихожу.

Нѣт, я не куплю.

Прекрасно. Пожалуйте обратно мои книги.

Раскрываю портфель.

Особа начинает вдруг мяться.

— Если продадите Ars longa, vita brevis за 50 копеек — я куплю.

— За 50 копеек! Нѣт, покупайте лубочину за эти деньги. Дарить я дарю, случается, а выпрашивать за 50 копеек — стыдно.

Но ему не стыдно. Он, очевидно, думает, что и 50 копеек „деньги" для писательницы. И ему не стыдно эксплоатировать трудовую интеллигентку, предлагать треть цѣны за книгу изданную на свои деньги.

— Этак наши тысячи, — говорю, — истраченные на изданіе пошли бы только на выгоду вашу и таких как вы. Вы ее перепродадите дороже.

Еще один:

— „Знаніе" вон толстыя книги, а стоят по рублю. А у вас только одна книжка в рубль.

Я: — В вашем „Знаніи" на пятачок содержанія, особенно всѣ послѣднія книги. Велика Ѳедора... Там бумага толстая и в аршин буквы. А страниц не больше, пожалуй, меньше окажется. А кромѣ того у меня малюсенькія изданія.

(Теперь я знаю и то что новые модные сборники совмѣстили со своей литературой и другой жирный гешефт: публикаціи. Так уж за свое содержаніе могли бы без обиды для себя брать по двѣ копейки.)

И чѣм-то таким заскорузлым, заплѣснѣлым вѣет от всѣх таких не скажу дѣлателей, а получателей денег, и от стѣн их квартирищ, и от их обстановки богатой чтò до вещей, наполняющих хоромы каждой Голиндухи (дѣятеля печати) (см. мою книгу Женщины, т. II) гигантскія рамы олеографій, шторы, портьеры, ковры, канделябры, бра, люстры,

раковины, лампы, шандалы и тумбы, — но часто хламовидной чтò до духовной потребности. Столы — четыре угла, часто четыре пригорка газетнаго хлама на них. И многіе из обладателей такой обстановки ничего не читают, но выписывать выписывают: умѣют газеты и журналы и у них выуживать из кармана десятки рублей. Хлам-газетки, затѣм повсемѣстно обязательно груды „Нивы", также толстыя книги журналов, у иных в шкафѣ выдвинутая вперед бударщина г. Горькаго и присных, тут же на виду порой и даровые каталоги магазинов, которые присылают и нам, но которые мы бросаем в ненужныя вещи. И при этом голая сухость ремесленника, обойщика, пришел и сдѣлал им по модѣ: одна штора висит, другая якобы небрежно закинута. Однако cachet, увы, только... денежно-мѣщанское...

— Не надо мнѣ книг, — уже слышу обыкновенный припѣв.

А нѣкоторые добавляют:

— Развѣ кто станет читать русскую литературу!

Sic!

Или: — Не читаем беллетристики... Вообще книг не читаем.

— А это? обвожу рукой груды, шкафы с г. Горьким etc.

Эту дрянь только выписываем.

Очевидно только для декораціи, чтобы пустое мѣсто заполняла.

— Вы бы „этой дряни" и не выписывали, ничего бы не потеряли, а мое хоть в семьѣ бы дали прочесть, мое творчество совершенно особенное, серьезное, — говорю с отчаяніем в сердцѣ, в пятисотый раз убѣждаясь что ужасная Москва

с готовностью сорит деньгами даже на то что называет сама „дрянью“, мнѣ же даст преспокойно и пренавѣрно умереть голодною смертію. Да будет проклят писательскій цех за эту мою ужасную каторгу.

Меня иногда утѣшал мой ум и мое проникновеніе. Сижу, например, тоже у собственника дома. Сижу, жду выхода хозяина. Изящная обстановка. Ни шаблонных гравюрок утонувших в гигантских рамах, ни всѣх этих как у тѣх вещей-хлама, но с претензіей как их излюбленная духовная пища — „дрянь“. Здѣсь же навѣрное не толстомясые и не сухожильные, не нероновскія лица, не кисляи, — работает моя мысль. — Здѣсь интересуются, на всем видна чья-то теплая ручка. Купит мои книжки, — говорю себѣ, — и радостно жду.

Жоны у каменных и замороженных сплошь и рядом такія же, еще хуже, пожалуй, не самых дурных, ибо женщины вѣдь нравственно еще мужчин бы своих выпрямляли, а онѣ... Такія же вырастают у них и дщери.

Втроем мамаша и дочки удержали мои книги, сказали притти через недѣлю — Выберем, мол. А через недѣлю, пришла, книги возвращают через прислугу: ничего не купят, мол.

Я: — И не стыдно! Еще женщины! В такую даль тащись к ним чтобы обратно получить книги. Могли тогда же отказать.

Уже на улицѣ догоняет прислуга: дамы подслушали мои слова.

— Велѣла дать на извозчика двадцать копеек.

Я: — Как она смѣет! Пусть ей и ея...

Но и такіе курьезы есть. Они от жон (или писательницы от мужей) иногда скрывают мои произведенія: „Поселит раздор между супругами“: узнает жена (или муж) что его (или ея) пресловутый „талант“ болѣе или менѣе ученическій плагіат.

А вот отзывчивый, но...

Тоже по обстановкѣ угадала и человѣка. Художественная обстановка, особый отпечаток человѣка не шаблонных вкусов. И говорю себѣ: сегодня грошик домой принесу: здѣсь купят моих дочек — мои чудныя книжечки.

Отобрал их нѣсколько.

Я (подавая лист с именами купивших): Может быть, хотите вписать свою фамилію. Это ничего что вы купили не всѣ тома. Я буду рада.

— Нѣт, я не буду подписываться, это уже обязывает.

Прочиталось не досказанное, недовѣріе, боязнь, что воспользуюсь подписью и потребую чтобы взял полный экземпляр.

— Как жалко, что Чехов и прочіе извратили человѣческое во всѣх вас, всѣ вы только пошлое или дурное подозрѣваете в каждом, — сказала я мягко, все таки благодарная.

— Извратили?..

Но он задумался над словом, с которым, я почувствовала, согласился, и мнѣ стало жалко его.

— Прощайте. Благодарю вас. Желаю чтобы сторицей вернулось вам.

Я сперва, мѣсяц цѣлый, продавала без листа, а лист завести посовѣтовали мнѣ тѣ чудные люди — из среды врачей, присяжных повѣренных, инжене-

ров и пр., от которых я кромѣ сочувствія и участія и интереса к моим дѣтищам — книгам ничего не видѣла что̀ бы могло огорчить меня или обидѣть. „Заведите лист с заголовком: подписка на произведенія (как дѣлают разные издатели). Десять подпишется — и сто подпишется. Скорѣй дѣло пойдет“.

Но я хочу разсказать об одном профессорѣ:

Перебирает мои книжки и — говорит, медленно, авторитетно.

— Без слов?... Я вижу у вас заглавіе — Поэмы без слов... Но я вижу слова... я вижу — словами написано...?...

Я (граціозно): Есть слова сердечныя, слова задушевныя, слова печальныя, слова страстныя, слова обаятельныя как музыка, слова значительныя... И есть — слова... трескучія, крахмальныя, дешевыя, бездушныя, корыстныя, фразистыя, и нашим и вашим, и вперед и назад... слова, слова и только пустыя слова... извѣстныя газеты и модные писатели — образец неумѣреннаго употребленія слов. Я же пишу только тѣми словами, т.-е... без слов.

Смутился мой ментор.

Купить — не купил, но мы с ним обмѣнялись подарком: он дал мнѣ свое сочиненіе, а я ему двѣ-три мои книжки.

Он же сказал мнѣ и это:

— Вас пресса замалчивает, и я писать не буду, но я буду устно говорить о ваших трудах.

Распространяться не стану. Скажу только тогда же мелькнувшую мысль: дѣйствительно, откуда у мумій взялось бы мужество, смѣлость, иниціатива в хорошем, т.-е. загладить подлость собратій по перу — в печати наконец заговорить о моих трудах.

Но раз он прикомандирован к прессѣ, особенно если к „либеральной“, „независимой“, „прогрессивной“ и т. п., это еще ничего, ибо бывает и хуже: он уже инициативу имѣет только для странных вопросов, quasi — сыска.

— Имѣете вы право сами продавать свои книги?

Этот маленькій вопросец послѣ отказа купить мои книжки.

— Вѣдь вы юрист, — отвѣчаю, — вам и справки эти в руки. Я и не задавала себѣ этот вопрос. Понесла продавать, да и только. Вѣдь не ваши, а свои собственныя произведенія ношу продавать. А коли по какой-нибудь статьѣ окажется, что не имѣю права так вы, айда, доносите куда надо. Я не боюсь суда. Еще буду рада. Мое дѣло правое, честное. На судѣ все разскажу до чего дошло озорство аршибезчестной прессы и писателей обворовавших меня, женщину, вырвавших у меня хлѣб. Они-то только и боятся контроля суда — над своим произволом и беззаконными дѣяніями, и огласки.

Страшно сконфузился.

— Нѣт, нѣт, такой статьи кажется нѣт... А вы как рѣзко...

— А вы что думали? — уж я нотаціи тысячи раз слышала, также и то, что я адвоката против прессы не найду. И слезы уже всѣ свои выплакала за десять лѣт. Теперь — я только презираю. Идите их защищать, а мнѣ и не нужно адвоката. Я и сама великолѣпно все скажу на судѣ.

Я это вижу.

— То-то.

И опять люди с „принципами“. Ибо их легіон. „Принципіально“, „принцип“, „по принципу“, „служа принципу“, „соблюдая вѣрность принципу“.

Совсѣм как газеты. Подшиваются словами: служа народу; соблюдая вѣрность народу; для народа. Аферисты и карьеристы, которым всѣ средства хороши чтобы вскочить выше головы и которых никакія их противорѣчія, ниже интриги не позорят. „Пред властью не кланяться“, а поклоняться им, они желают собою изобразить власть. А тѣм только бы не разставаться с рублями, о которых не будет трубиться в газетах.

— По принципу не куплю ваших книг. Сами носите продавать. По моему принципу...

Я: — Хорош принцип. Умен.

— Не всѣ — умные.

Я: — Я знаю, и вижу.

Но у иных прямо охота выставлять себя глупѣе. Все в жертву жадности, скупости.

— Я привык к бытовым привычкам, к русским устоям, чтобы пресса руководила мной в выборѣ книг, — старается смягчить он свою глупость новою глупостью.

Я: — И вы называетесь „общественный дѣятель“. Чудесно!

Я (выходя): По-моему, поддержать такую писательницу как я есть прямая обязанность интеллигентнаго общества. И сугубая обязанность всѣх таких как вы, именуемых общественными дѣятелями и собирающихся перестраивать общественныя отношенія, — не быть рабами прессы, перестройку начать как раз с нея, выскочки и продажной, и хоть этим протестовать против фразеров-душителей.

Но гдѣ же им! Закипѣл котел „политиков“ и то тот то другой из этих продолжает помѣщать в „либеральной“ прессѣ свою словесную шумиху. И, о, сколько же таких во всѣх профессіях — литераторов, профессоров, адвокатов, богатых докторов, просто собственников. Хоть бы одну единую книгу купили. А нынѣ десяток этих имен... ибо их как раз рекламируют. То и дѣло и к нам присылают списки все больше с этими „знаменитыми именами“. О, спаси, Боже, родину от руководительства людей сильных только фразерством, трескучими показными рѣчами или передѣлай им души.

Еще один сѣдовласый, пожертвовавшій на раненых воинов шерстяную фуфайку, владѣлец дома, богач.

— Не куплю я книг, моя хорошая.

Я: — Какая я вам „моя хорошая“. Как вы смѣете!

— Вы хотите чтобы я купил ваши произведенія, т.-е. помог вам и говорите со мной... непочтительно.

Я: — Это вы „непочтительны“. А кромѣ того, из одного не слѣдует другое. И купили бы мои произведенія — и это вам все-таки никак не дало бы права говорить дерзости, неумѣстныя фамильярности, ни даже считать себя „благодѣтелем“, „помогшим“. Само собой понятно, что не от богатства я ношу по городу такую тяжесть, по три тысячи лѣстниц в день дѣлаю, вверх и вниз. А тыкать этим в глаза — гадость, да еще не купивши ни единой книги. А кажется это обязанность общества, всѣх таких как вы, не дать умереть с голода писательницѣ.

Или еще:

Звоню.

Дома...?

— Скоро будет.

Можно подождать?

Сняла кофточку. Ввели в гостиную. На диванѣ

сидит дама. Вяжет из гаруса шарф, очевидно, для солдатика.

— Я — тетушка...

Я: — Очень пріятно. Если позволите, я подожду. У меня к нему маленькое дѣло.

Вскорѣ отъявился племянничек. Сытенькій, веселенькій, довольненькій собой, бездушненькій эгоистик.

Рекомендуюсь и вынимаю из портфеля мои драгоцѣнныя книжки.

Наскакивает крикливо:

— Ни одной не куплю. По принципу не куплю. О вас уже вся Москва начинает говорить, что вы, писательница, сами носите продавать свои книги.

Я (в тон ему). — Еще бы! вашему сослуживцу носила. Как не говорить всей Москвѣ!

Смущается. Не тѣм что богач, мѣтящій „управлять" так ужасен, а смущается тѣм, что я хоть сама ношу продавать мои книги, а держу себя гордо... „как принцесса-царевна", сказал один же из этих пресловутых претендентов на министерскія мѣста.

— Значит, опять „принципы". Итак... честь имѣю ретироваться. Эх, вы, господа, а еще состоите в благородных профессіях.

А этот еще, по крайней мѣрѣ, не прикрывал своих духовных свойств... этот раз слабости духа.

— Я бы, может быть, занялся, купил бы и прочел, но... Я — к призыву... на войну требуют...

Руки дрожат, нервничает.

— Купите хоть из маленьких книжек, хоть одну или двѣ. В карман сунете, дорогой прочтете.

— Нѣт, не до покупки книг мнѣ теперь. На войну требуют.

Собственник дома и пр. занят только страхом за себя. Ему и в голову не приходит, что я, может быть... что я, писательница, попадая все к этаким, может быть, не ѣла два дня.

— Ну, желаю вам... — говорю.

Господи, хоть бы половину имѣл моей силы духа. Я — женщина, и не молоденькая, но сама просилась на войну (два раза).

— Похлопочите — нас на войну. Я — в сестры. Мужа моего как доктора. Мы хоть здоровьем не крѣпкіе, простужаемся, да и от того что живется впроголодь, а работать, увидите, будем за десятерых.

Это я сказала одному из богатых эскулапов набиравших отряд. Кстати, и книги мои показала. Так ни того ни другое.

Меня, положим, и этот раз взяли бы, сестры нужны были. А про мужа спросил:

— Сколько лѣт вашему мужу?

Сказала.

— Э, вы бы еще просили за него тогда когда ему будет... (десятью годами сказал больше). Нѣт нам нужны молодые врачи.

Словом, как и тот, про котораго я уже разсказала.

— Скажите, Бога ради, не все ли вам равно. Вѣдь это не увеселительная поѣздка. На лицо он и так лѣт на десять кажется моложе. Работает чудесно. Всегда будет на своем посту, потому что никаких ваших гадостей в рот не берет кромѣ чая и кофе.

— Нѣт, нам не нужно. Нам нужны молодые врачи.

— Ну и... Бог с вами. А без мужа и я не хочу.

А потом уже приглашали. Да только уже нам нельзя было выбраться.

И до чего же они при этом грубы и противны! Вот и большущій город Москва, и богатѣйшій, а мнѣ, писательницѣ, иной день и цѣлую недѣлю под ряд некому бывало продать хоть рублевую книгу. Да, только руки опусти, нѣт ничего легче с голода умереть здѣсь, в Россіи, при всем образованіи нас обоих и при всем нас обоих желаніи трудиться не покладая рук, любви к труду и способности, и при всей нашей жизни всю жизнь полной труда. Совсѣм не это дорого моей несчастной родинѣ, Бог знает во что превращенной за послѣднія десятилѣтія, в лицѣ своих людей страшно изгаженной, страшно вырождающейся благодаря в первую голову отвратительной модной литературѣ. И будь они прокляты сугубо, и за родину, и за нас.

Вот поэтому в тѣ дни, когда не иду я с книгами а сижу домочка, я блаженствую не только тѣлом, но душой — и душой отдыхаю. А когда послѣ лицезрѣнія всѣх этих ужасных обывателей, нынѣ по их словам „граждан", возвращаюсь домой — даже Ненила безконечно мила мнѣ, и мило мнѣ пожить буржуазочкой, которая хоть день — другой отдохнет в своем божественном гнѣздышкѣ и видѣть не будет „общественных" физіономій. И домочка всѣ счастливы. „Бендиту Казимировичу*) скушно-то, скушно без тебе, Вѣрушка, тольке енти патреты твои словно солнышко свѣтятся в горницѣ, а сама мытаришься по Москвѣ-то с книгами, Бендиту и скушно об тебе, душа за тебе изболѣла", говорит жалобно Ненила раньше чѣм перейти к своему теперь обычному разговору об „идолах-разбойниках". Так называет она всѣх тоже пишущих. „Ты мнѣ тоды,

*) См. мою книгу: Поэмы без слов (6-е января).

как в славѣ станешь, подаришь на мое сиротство сто рублей али двѣсти". И Ненила с кѣм только удалось завести ей разговор — с пришедшей дамой, так дамѣ, со студентом, так студенту спѣшит излить негодованіе на „идолов-разбойников". „Моя барыня пишет, апосля отпечатывает — даже против ей не можут писать, все подкоп дѣлают, идолы-разбойники стало-быть под ее руку пишут, и все чтобы ее книги не продавались, а не выходит дѣло-то идолов-разбойников, потому против ей никто так не напишет в Москвѣ книг, ее-то лучше, а этих хуже, книги-то хуже пишут они — они и ненавистýют ее, потому завистуют. Прямо идолы-разбойники!"

А тут еще отрады прибавит письмо вродѣ этого, например:

„Не могу умолчать чтобы не поблагодарить Вас за то высокое наслажденіе, которое доставляет мнѣ чтеніе Ваших шедевров" (и т. д.) „Позвольте мнѣ в письмѣ пожать Вашу честную руку".

— Скажите им, что вы меня видѣли, что я мучаюсь, сама ношу мои произведенія и что я говорю то же что написала — что они всѣ опозорили себя мародерством и неслыханными подлостями в печати и идіотскими гнусными интригами, обманом общества, и что я до послѣдній капли сил буду бороться моим талантом, и им всѣм, роющим мнѣ могильную яму, желаю всякаго за нас возмездія от судьбы, — сказала я за нѣсколько мѣсяцев до смерти Ч. одному читателю купившему у меня двѣ послѣднія книжки и сказавшему мнѣ что он лично знает рекламируемых писателей.

Но рекламируемые писатели не всѣм читателям нравятся. Одним их грязь и цинизм опротивѣли. „Не выношу всю компанію, навязанную нам еврейской печатью. Пьют, и мерзости пишут“.

Или:

— Я терпѣть не могу подмаксимок... это еврейскія газеты: „Новости дня“, „Курьер“ и др. называют так рекламируемых ими: автора „Бездны“ и прочих,—говорит один инженер. Говорят и другіе.

Господи, для отдыха моего и моих читателей дам и еще кусочек отраднаго, утѣшающаго.

Многим и многим женщинам тоже страшно не нравится весь этот кружок взаимнаго поощренія всяких мерзостей, и мародерства из моих произведеній. Не нравится и Ч. который как всѣ писатели старался нравиться женщинам: „Писатели пишут для юных существ“, слащаво сказал кто-то из них.

— Пошлые и вялые тоны у него.

Это есть приговор одного „юнаго существа“.

— Тухло-кислое у него, как творог прокислый,— вынесла приговор еще одна молодая дѣвушка.

Энергичная, она сердилась на всѣ дряблости его женских типов.

А еще одна, труженица-учительница, уже прямо восторгалась мной:

— Какая энергичная вы! А у него бы вышло вот: руки опустились бы и — ныть, хныкать.

И она обѣ руки дрябло кинула к полу, изобразив часто без резона ноющих и хныкающих героинь умершаго автора.

— Он искажал русскую женщину, — прибавила она.

Я ее расцѣловала.

И другіе, многіе, радовались тому что борюсь,

что не даю всѣм этим писателям сожрать себя, безнаказанно, шито-крыто, как привыкли они творить свои литературныя преступленія.

— Как же мнѣ не бороться! Вѣдь мой муж все для меня сдѣлал, чтобы я стала тѣм чѣм хотѣла, всѣ деньги какія имѣл отдал на то чтобы я могла издать мои труды. Так развѣ же не моя нравственная обязанность поддержать в тяжелые годы нас обоих.

— И хорошенько дуйте их, знаменитостей всякаго рода.

— Презирайте их, наплюйте на всѣ их слова, стоит ли к сердцу принимать, выбьетесь, даст Бог.

И про гр. Толстого — что исписался и таланта в нем уже нѣт — никто не возражал. Напротив... А газеты, года три-четыре тому, призывали публику мстить мнѣ за него (за мою критику его „Воскресенія“ например и за то что я сказала что, по моему, он как человѣк ничуть не добрѣе чѣм остальные писатели *). А я и сейчас скажу по поводу его „повѣсти“ о поляках. За такую важную и скорбную тему браться не надо, когда уже не хватает силы создать что-нибудь вродѣ прежних шедевров. Опять только три-четыре крохи понравились нам, остальное страшно мизерно, мѣстами даже неумѣстно пошловато).

К таким интеллигентам придешь, ни надрыва от разноски книг, ни утомленія.

— Книжки мои принесла. Пресса замалчивает. Потому что произведенія интересныя и очень талантливыя. Подпишитесь на них,—говорю и серьезно и улыбаясь.

*) (См. мою книгу Ars longa, vita brevis, стр. 251—257, Вышла в 1903-м г.).

— Слушаю-с.

И десятый раз приходится повторить мои слова. Одни личности — хорошія, чудныя; другія как люди — не годныя. И не природа человѣческая тут виновата. Один с чудной природой, другой очутился с испорченной, которой никто ему не поправлял, еще портили лестью и пр. И опять права я — что нечего сваливать на человѣчество, а каждый за себя отвѣчай, порой, кружок весь нехорош, богачей, удачников, извѣстностей, знаменитостей, беллетристическій цех в данном случаѣ, и больше никого не виню. И писатели, которые видѣли и видят у всѣх людей живых и умерших подлую природу, сами имѣют природу не только подлую, а преподлую.

Еще кто часто ужасен, вопреки шаблону, и шаблонному сантиментальничанію с ними господ писателей — это молодыя дѣвушки, изрядная часть. Сухія, холодныя, черствыя, ужасныя в своем усмѣхающемся или только улыбающемся деревянном равнодушіи к чужой бѣдѣ. Глаза этих дѣвушек никогда не бывают влажные и душа их замкнута для не эгоистических чувств. И только жизнь впослѣдствіи перерабатывает лучших из них. Пока же не очень часто встрѣтишь из их среды отзывчивую и чудную, мягкую и участливую как женщины, тѣ которыя горячія, чудныя.

Вот эта сушь, напримѣр, мстила за то что не хотѣла ей открыть секрет — зачѣм я пришла. Я добивалась лично передать мое дѣло, а она добивалась на манер нѣкоторых лакеев чтобы мое дѣло я изложила ей. И перебила у меня возможность продать экземпляр моих книжек, не допустила меня, наказала на 13 р. 95 к. Ибо педагоги, на кото-

рых я попадала, ужасны, но в средѣ тѣх которыя вѣдают образованіе женской молодежи я встрѣтила нѣсколько прекрасных участливых женщин, в сердцѣ которых живо и то чувство что кому же как не женщинѣ поддержать трудовую даровитую женщину, и то что преступленіе наконец пред родиной поддерживать — как это мода у русских — поддерживать *только* прохвостов, проститутов, порочных хитровцев и убѣгающих от труда.

А этой, другой, тоже зеленому церберу чужого кармана, я сказала сразу, что пришла предложить мои книги. „Тоже — не допустила. „Спит, придите завтра“. И эти „завтра“ повторились три дня под ряд.

— Вы думаете, мнѣ легко носить эту тяжесть! Вѣдь фунтов пятнадцать, если не больше, в моем портфелѣ. А хожу я пѣшком. А вам не стыдно заставлять меня приходить десять раз. А тоже называетесь трудовой дѣвушкой.

Но она еще как-то ликовала, радовалась тому, что я уйду не продавши. Плюнула.

Таких безсердечных, даже скрытно злых и злобных в отношеніи к своей сестрѣ, много, и много попадает таких в модную политику, а затѣм иныя в жоны богатых людей с готовым положеніем, хотя бы „общественнаго дѣятеля“. Из них же выходят и тѣ „успѣвшія“ в интеллигентном трудѣ, которых непремѣнно какая-нибудь группа успѣвших мужчин пронирует в их заработкѣ, в их славѣ, в предоставленіи им платных работ и мѣстечек. К этой категоріи принадлежали и нѣкоторыя наши умершія особенно рекламируемыя газетами женщины, которым дали выдвинуться. В этой категоріи однако никогда не встрѣтишь женщин с заманчи-

вым, плѣнительным талантом, увлекательно, из ряда вон даровитых. Онѣ официальны и идут, например, в искусствѣ, в литературѣ, научной работѣ, взглядах... не отдѣльно, не впереди, а непремѣнно за — за мужчинами — но только за „признанными“, за буржуа-„орлами“, например, профессорами и пр. И если и не дѣятельно злобны онѣ в періоды появленія какой-нибудь самобытно одаренной сестры — онѣ все же почти не способны понять оригинальный талант, а и понявши в оцѣнкѣ пойдут по теченію, т.-е. опять же за „признанными“ но не искренними „орлами“, например, профессорами. Онѣ, многія, и в политикѣ идут за мужчинами, но опять же за „признанными“, за тѣми как-то все больше которые ведут политику не de longue portée (когда обѣщанія надавались для того чтобы их и исполнить) — а политику de courte durée, политику на короткое время, когда обѣщаніями не стѣсняются, ибо обѣщанія даются без намѣренія сдержать их, только для достиженія своей коротенькой цѣли и выполнять обѣщанное им все равно не придется.

И попадая день за днем только на таких людей — до того измучишься порой и нравственно и физически, до того истомишься и устанешь, что попавши на человѣка заинтересовавшагося книгами, хотя о них газеты молчат, — уже как будто ускользает та главная цѣль ради которой мучишься, надрываешься, изнемогаешь под тяжестью ноши, т.-е. кусок хлѣба, средство не умереть с голода. Раз, помню, продала, ухожу.

— Что же пятачки ваши?

А я и забыла было взять мои „пятачки“, два маленькихъ золотых за которыя продала со скидкой

цѣлый экземпляр. А раз у одного врача и всю свою казну забыла, т.-е. кошелек с вырученными от продажи книг деньгами, о чем меня разумѣется поспѣшили тотчас же извѣстить.

Иной раз совсѣм бѣдняк покупал книжку, потом уже я понимала это, что — бѣдняк. И больно мнѣ бывало, и благословляла в душѣ. Ну, и милый мой мало ли труда положил даром и кладет на бѣдняков, мало ли сил потратил лѣча и днем и ночью даром. И я же четырнадцать лѣт жизни положила на мои книги, и куска чернаго хлѣба за них не дала мнѣ Россія, только отняла у нас хлѣб, отняла и мои физическія силы, надорвала мнѣ здоровье, а если не надорвала меня умственно, духовно и нравственно, то не родины это заслуга, ея худшими людьми все было пущено в ход для достиженія их позорной цѣли убить в собратѣ-женщинѣ и писательницу и человѣка. Еще и сегодня плевала я на строки в „Р. вѣд.“ Господи, как всѣ они подло пишут! „Мусоргскій недаром, в концѣ концов, стал пить, и умер в больницѣ от паралича...“ „Он сознавал свое призваніе — творить и ради хлѣба должен был“ (и т. д.) работѣ „поглощавшей время и силы“. Несчастная Россія всегда одинаковая. Либо подлые хищники, либо несчастные слабовольные, опустившіеся — даже имѣя кусок хлѣба (как Мусоргскій) даже имѣя его огромных размѣров. А они, журналисты, опускаются и так. Отсюда всѣ их прибауточныя слова: „недаром“, „в концѣ концов“ и пр. и никаких слов созидательных, свидѣтельствующих что и на Руси есть и теперь люди иные и что по их образцу должны закаляться по крайней мѣрѣ тѣ которым „дано вмѣстить“, тѣ, которые могут быть не разру-

шителями себя и других, а созидателями. И *должны закаляться*, презирать и закаляться, дабы не превратилась Россія в сплошную вонючую яму издающую зловоніе водки — испаренія пьяных хищников и поваленных ими и втянутых в яму, от горьких неудач тоже горько опившихся. Нѣт, они, т.-е. хищники, сами охотно пьяные, говорят только разслабляющія, растлѣвающія и разрушающія слова, ибо на выгоду им всеобщій упадок, ибо не хотят они духовнаго возрожденія родины, ибо царству их тогда пришел бы конец, по крайней мѣрѣ их незаслуженному возсѣданію гдѣ-то в почетѣ. И пусть же моя жизнь, несокрушимость во мнѣ воли и человѣка будет зарей, с которой начнется поколѣніе даровитых людей нравственно и духовно и умственно несокрушимых и в борьбѣ не падающих, а побѣждающих всѣх хищников, жуиров и растлѣвателей. И только так поднимется и возродится моя дорогая, святая родина, своими худшими элементами, посрамленіем рода человѣческаго, увлекаемая только на путь пороков, безволія, разложенія, гибели.

А вот еще один. Он злится на врачей вообще, т.-е. на тѣх врачей, которые имѣют большія знанія и только ничтожный гонорар, ибо выбивались только своим трудом и знаніями, без протекціи и богатства, и без собственнаго дома каков у него.

— Нажил дом, значит, семи пядей во лбу, — говорят халуи богатых либо невѣжды.

— Успѣха не имѣете, и талант ваш не считается, — говорят мнѣ хамы денег в писательском цехѣ, перескакивая через то что сами же замалчивают мои произведенія, сами же прячут их от публики и что завтра же в печати скажут другое,

т.-е. — что без денежной приправы ни один геній не имѣл при жизни успѣха, только дутые прохвосты, воровавшіе у генія, всегда имѣли успѣх, их мазня продавалась, а геніальное не спрашивалось никѣм.

А того господина манія та, чтобы женщина была непремѣнно врачем, чтобы только женщины были врачами и вытѣснили врачей-мужчин. Услыхавши от меня, что я писательница и жена врача, в этом духѣ распространил предо мной свои мнѣнія и сугубо отказал взять у меня хотя бы рублевую книгу, прибавив что прочесть мои книги — может взять их из библіотеки.

Воздала ему тѣм, что посмѣялась над его французским языком, строго грамматическим, но ничуть не французским.

Этот в этом же родѣ:

— Барыни нѣт. Она в своем имѣніи. И барин собирается. Он сейчас еще дома, — объявила горничная.

— Ну, барину доложите.

Сперва его огромныя собаки порычали на меня, потом рычал он.

— Я филантропіей не занимаюсь.

— Хоть и имѣете домице и десять платных должностей, и выѣзжаете в свое имѣніе. Вот из-за всѣх таких как вы труженикам ѣсть нечего. И богатство, и платную работу забираете себѣ.

И самое подлое в них, в этаких, это то — что на равной ногѣ быть им не угодно: унизить ищут, ибо унижать человѣка любят. Свой труд продаю, свой святой труд, а он и не покупает, и еще „филантропіей" тычет. „Я мол филантропіей не занимаюсь". И учить их приходилось поэтому.

— Это не филантропія, — говорю, — если бы

вы и купили мои произведенія. Вы подло понимаете. Вы за свои рубли получили бы мои книги. На моих книгах цѣна выставлена. Вы позволяете себѣ подло выражаться, потому что я сама принесла вам мои книги. Но вѣдь я могу их носить не только оттого что ваши собаки сытѣе чѣм я, но и для вашей же пользы... нравственную филантропію вам дѣлать... Да-с... Вы вон, вся Россія, нарасхват раскупаете книжонки которыя вам навязывают газеты, купленныя авторами, и только портитесь. Уж именно: есть у нас хорошіе, чудные, драгоцѣнные люди, а хуже быть — некуда.

И вот из этих же послѣдних иные зовут себя в печати: „самые либеральные", „прогрессивные" etc., etc., а в политикѣ нынѣ нахраписто мечтают „управлять". Спаси Боже!..

Другому такому я сказала:

— И вам не стыдно! Сколько же надо бичевать вас, интеллигентов-богачей преуспѣвших, чтобы вы что-нибудь поняли и сознали.

Еще одному:

— И в литературѣ не „неудачники", а — борьба богатых хищников, часто бездарных, но богатых, благодаря тому что богаты высасывающих безнаказанно бѣдных, но даровитых. А вы хоть бы одну книгу купили, вѣдь ѣсть нечего. Вы же всѣ забрали и мѣста и платную работу, и ваша обязанность по крайней мѣрѣ, раз уже удостоила вас этой чести, принесла вам мои книги...

Да, в интеллигентных профессіях счастливчики забирают себѣ все — вот причина голода остальных. Рабочій вопрос в средѣ интеллигенціи тоже существует, но никто не говорит о нем, и поднять, поставить его можно и так: тѣ у кого

дома, капиталы, имѣнія и пр. пр. или огромный доход от труда по своей профессіи считаются почему-то (т.-е. потому — что богачи) нужными людьми, и платныя мѣста отдаются им же. А мѣста вѣдь общественныя. И деньги платимыя — общественныя. И создается стѣна всюду. Каждый богач которому всѣ радѣют как куму создает еще собой стѣну, о которую и разбиваются бѣдняки, ищущіе приложить свои знанія, дарованія и труд и за этот свой труд имѣть хотя кусок хлѣба для себя и семьи.

И молчат они, и слушают что говорю. То ли рады, что рубль на книгу не вынут из кармана, при них остался, то ли в самом дѣлѣ вбирают в свои не окончательно испорченныя, похороненныя души, а лишь с толку сбитыя. Дай Бог чтобы хоть один такой из ста сознал и воскрес, чтобы не для меня — так хотя для других стали людьми. Но это еще не самые худшіе, нѣт. Они скупые, они жадные, они эгоисты, они... Но между ними многіе хотя что-нибудь чувствуют, понимают и сознают. Видя что человѣк хотя бѣдный но выше их нравственно, выше уже и по одному тому что одарен Божіею искрой — многіе из них всетаки бережно относятся к человѣческому достоинству. А есть еще болѣе ужасающіе люди. Прямо разнузданные, для которых чужая гордость и чужое достоинство не существуют. Существует в них какое-то гнусное чувство, какой-то гнусный зуд, толкающій их надругаться над тѣм кто выше, втоптать его в униженіе. Хуже этих людей я ничего не видала. Злорадное надругательство сытых карьеристов над трудовой женщиной и писательницей! И в то же время газетная болтовня о перестроительствѣ жизни в Россіи и рекомендація для этого

святого и высокаго дѣла, между другими и их! Но я должна пояснить — разсказать.

Я понимаю — протягивать милостыню тому кто ее просит. К нам в квартиру часто приходят просить. То солдаты раненые на войнѣ, то даже несчастные хитровцы. Приходят и несчастныя, сгубившія себя, личности из интеллигенціи. Пьющій петровец в продранных калошах, спившійся с круга помощник присяжнаго повѣреннаго, какой-то пьющій журналист, написавшій какую-то брошюру и дальше не пошедшій, еще какой-то пьянствующій сотрудник газет откровенно просящій на водку, без которой, говорит, болен. И если в данный день я могу удѣлить от наших средств мѣдную или серебряную монету, я подаю тѣм которые просят. Но развѣ бы рука моя смѣла протянуться с милостыней к трудовому человѣку который не просит, а продает свой святой труд — например, шитье женщина-вышивальщица, картину художник! — и именно когда я могу и готова затратить (на поддержку трудового человѣка) сумму равную цѣнѣ принесеннаго труда. Сколько же нужно носить в себѣ подлости и низости, шалыганства какого-то, озорства, чтобы так обидѣть и оскорбить! А в нашем обществѣ такіе люди встрѣчаются и, стыдно сказать, между высшей интеллигенціей, дипломированной, извѣстной, архиизвѣстной. Никогда не забуду. Особенно одного. Впослѣдствіи поставленный представителем Москвы. Какой, в таком случаѣ? Ибо не вся же Москва такая. Я знаю сотни людей превосходных и чудных, которым как-раз мѣсто там гдѣ работалось бы для истиннаго обновленія, возрожденія моей родины, дорогой, святой, обожаемой, к которой я

и сейчас взываю с тоской и мольбой: о, родина, до послѣдней капли крови, до послѣдней искры жизни, до послѣдняго вздоха останусь я на посту скорбном и сіяющем как путеводная звѣзда для всѣх трудящихся, и буду тебѣ сѣять и сѣять тѣ сѣмена, всходы от которых только и переродят тебя, родина, возродят. О, Господи, да будь я избирательница я бы его провалила по крайней мѣрѣ во мнѣніи лучших женщин. Судите.

Принесла ему мои книги. Со времени баррикад, пушек, грабежей и т. д. хоть с голода помирать нам осталось. Заработок ничтожный, жизнь дорожает, книги продавать — зарѣжут на улицѣ; да и продавать почти некому, ибо кто и купил бы — всѣ лишнія деньги давно уже истрачены на разные сборы. Но и тогда пред концом 1905-го года нам очень круто пришлось. Печаталась книжка, 9-й том моих произведеній, деньги отложенныя на напечатаніе неприкосновенны у нас, а ѣсть хочется, а интеллигенцію газеты затормошили политикой, тянут с нея еще на себя да на свои партію и клубы, а о покупкѣ книг затормошенные и слышать не хотят. А этот вѣдь богатый. Что ему стоит пріобрѣсти книги!

Принесла ему книги.

Купите, пожалуйста. Если не все, то хоть книжками. Мои труды очень хорошіе, но мнѣ не дают ходу. А это мой единый хлѣб. Книги на разныя цѣны. Есть и рублевая.

И я разложила пред ним мои восемь томов.

И этот человѣк вышел в другую комнату, возвратился и, отстраняя книги, сказал:

— Книг я брать не хочу, а вот, так как вы навѣрно нуждаетесь, — и протянул мнѣ конверт.

Я: — Да мнѣ без книг ничего не нужно. Как вы смѣете! Вы с ума сошли? Если б я вам...

— Я вам деньги даю, три рубля.

— За книги. Берите на эту сумму книг.

— Книг я не возьму.

— А я без книг ваших денег не возьму. Как вы смѣете лѣзть с деньгами!

„Всѣми уважаемый" грубый буржуй, „общественный дѣятель" тож, поспѣшил со своим конвертом ретироваться.

— Пускай так поступают с вашими, когда обѣднѣют, — сказала я ему вслѣд, негодуя.

— Он и лѣзет-то с оскорбленіем, потому что увѣрен, что я не возьму. Но он ищет популярности, чтобы не сказали что он трясется над рублем.

Даже лакею слышавшему из прихожей весь разговор и которому, надѣвая кофточку, я сказала послѣднюю фразу стыдно стало за „барина", ибо даже лакей не будучи ни профессором ни даже только универсантом может понять что даровыя деньги прельщают не каждаго и что барин, доживщій до почтенных сѣдин и имѣющій семью, и выставляемый на вид, как человѣк не многаго стоит раз выскакивает оскорблять гадкой выходкой не менѣе его образованную даму, к тому же писательницу. Да, и лакей счел это мерзостной выходкой как и всѣ порядочные интеллигенты, которым я это разсказывала.

Уж лучше по-моему тѣ комедіанты, в душѣ которых только жадность, а прикрышка того что трясется над деньгами какія-нибудь дешевыя остроты и прибаутки, спасающія однако его кумир — рубль, оставшійся в карманѣ, ибо попавши на такого

хотя бы и милліонера я не убѣждаю купить мои книги, а спѣшу сейчас же откланяться с книгами.

А вот и богач засѣдающій в попечительствах с женой, с дочерьми, тоже не раз писали газеты о нем.

— Книг мнѣ не нужно. А вот вам рубль.

— А вот вам моя рублевая книга.

— Мнѣ книги не нужно.

— А мнѣ вашего рубля не нужно. Да я лучше удавлюсь тут же, повѣшусь на мѣстѣ вашей люстры. Ваших дочерей учите, если считаете это достойным — брать даром. Фи, пакость!

Подлые, подлые, — говорила я расплакавшись. — А потом будут фразерствовать на тему — что у нас мол никто не оберегает человѣческое достоинство. Сами же первые, ненавистные...

И страшно подумать, что у таких дѣти! И дѣти эти тоже такія же как отцы. Несчастная Россія. Что ее ждет!

Тоже извѣстность:

— Нѣт, я книг не куплю.

Я: — Как вам не стыдно! Ну, возьмите хоть рублевую книгу. Я к вам десятый раз прихожу с тѣх пор как вы вернулись с Дальняго Востока, все не заставала.

— Я не читаю, мнѣ некогда.

— В вагонѣ прочтете когда-нибудь... Кому же и продавать, если такіе как вы все будут отказываться купить. Что-же, вам жалко истратить рубль на книжку? Весь экземпляр 13 р. 95 к., а есть одна в рубль.

— Я и тринадцать готов истратить, мнѣ денег не жалко, но книг мнѣ не нужно, мнѣ читать некогда.

Ловлю его на словѣ.

— Ну, давайте тринадцать, и берите всѣ девять томов, пожертвуете их, оперированные прочтут. У меня один..., такой славный, купил, и сказал: „Прочту сам, а потом пожертвую в больничную библіотеку".

Но этот — как бы не так! Он вѣдь это только потому сказал, что язык без костей. Ни с рублем, ни с тринадцатью рублями, разумѣется, не разстался. А мнѣ почему-то вспоминается субъект с котораго мой муж требовал через мирового судью за вылѣченіе его дѣтей от дифтерита 15 р., которые тот задумал не отдать. Попросил лѣчить в кредит, должно быть, чтобы надуть.

— Я эти 15 р. внесу в Красный Крест, — говорит на судѣ субъект.

Судья: — Это деньги не ваши. Чужими деньгами нельзя распоряжаться.

Он: — Я и 50 р. готов заплатить в Красный Крест.

Мой муж: — Хорошо. Пускай вносит 50 р. в Красный Крест. Тогда я прощаю долг.

Пойманный на словѣ, разумѣется, поспѣшил увернуться от взноса 50 р. в Красный Крест.

Но еще два слова о тѣх „наиболѣе извѣстных и видных именах", как выражается льстивая пресса, которые и не помогут, только всю свою не добрую душу обнаружат.

— Еще кому-нибудь продадите, — цинично говорит иное такое „наиболѣе извѣстное имя", а мнѣ книг покупать не зачѣм.

Я (в отчаяніи): — Если каждый вот этак будет говорить...

— Не учите меня. Меня поздно учить.

Еще один. Тоже цинично:

— Вы недовольны мной — что я не купил. Так вы опишите меня.

Я: — Всенепремѣнно. Но я не портрет ваш дам. Таких как вы легіон в числѣ „видных". Вѣдь я, пожалуй, половину Москвы избѣгала. И за что только вас таких восхваляют газеты. Вы хоть бы опроверженія писали на похвалы вам.

В этот день как-раз я прочла — правда посмертное — восхваленіе одного профессора, о котором газеты сказали ложь, что он „всѣм помогал". Я же могу сказать о нем только правду: ужасный был. Я у него была за мѣсяц до его смерти. Лишь услышал что нужно купить книги впал в самый грубый пьяный тон.

— Это мой хлѣб. Мы очень нуждаемся. Книги мои — прекрасныя. Купите хоть одну.

— Если вам ѣсть нечего, для этого есть попечительства. Идите в попечительство о бѣдных.

— И вам не стыдно! Вы же знаете, что мой муж врач. Вы хоть бы это приняли во вниманіе — одной с вами профессіи. Вы вот жирно живете. А он работает за грош, хотя, быть может, знающій и талантливый больше вас, король медицины.

— Так пусть он идет в попечительство, если ѣсть нечего.

Я расплакалась.

— Какой вы нехорошій человѣк. Не покупаете книг да еще говорите подлости. У меня на 18 тысяч моих произведеній, я умру раньше чѣм распродам их, изданы они на наши деньги, на деньги моего мужа, а мы станем унижаться перед вашими попечительствами! Это дѣло разных богачей и проходимцев (им знаком путь), а никак не людей труда, да еще таких как мы которые труд обо-

жаем. Уж именно!.. Другіе вон говорят, что мы рѣдкіе, чудные люди и потому еще, что говорим— даже в кассѣ взаимопомощи куда муж вносит взнос не будем просить ни копейки, потому что кромѣ труда у меня есть собственность, мои книги, мои литературные труды, которые по крайней мѣрѣ интеллигентное общество должно покупать. А есть бѣдняки, которые кромѣ труда ничего не имѣют. Пускай им эти деньги — из кассы, в періоды безработицы... Ну, желаю и я вам всего дурного... Да совѣтую не говорить в другой раз так, а то женщина еще вызовет вас на дуэль.

Но этот человѣк, хоть и врач, принадлежал к плеядѣ самых безсердечных и ужасных людей, из-за которых я, гордая и уж кажется закаленная как сталь, плакала как ребенок, голодная в то время и измученная этим каторжным, безплодным ношеніем книг. И да будет от Бога воздаяніе тѣм которые готовы дать с голода умереть даже у себя на глазах, и еще болѣе за стремленіе унижать и унизить женщину, человѣка милліон крат лучше и выше их во всѣх отношеніях. И послѣ ряда таких ужасных особ я себѣ говорила: брошу носить. Ну их. Отвратительное, отвратительнѣйшее общество. Лучше с голода умереть. Потом я себѣ и это сказала: я плакать больше не буду, я буду их учить. И уже один ужасный затирался в моей памяти другим ужасным. Не такое вѣдь и время было чтобы подолгу помнить каждаго из них которым проявленія своей дурной души как с гуся вода или как-нибудь воздавать за безчеловѣчное и оскорбительное отношеніе — война, тяжко всѣм, затѣм наступили еще худшія времена, вмѣсто возрожденія созидательным трудом и работой над собой большого и малаго покатилась моя родина по наклонной плоскости вниз в лицѣ и больших и малых, и сердце мое истекло кровью за родину и забыло мою собственную бѣду. Возмездіе все равно настигнет злых рано или поздно. В это вѣрю. И кое-кого из этих людей возмездіе судьбы уже стерегло, едва я вышла расплакавшись...

Но, ужас, и женщины подобныя есть. Тоже все „видныя", „громкія"... и в филантропіи. Таким воистину лучше не бѣднѣть. Ибо готовность за здорово живешь унизить другого только у тѣх кто богат готовностью унижать себя. И нынѣ это все „граждане" и „гражданки"! И когда мнѣ нѣкоторыя покупательницы сказали наивно: „Вступите в „Общество равноправія женщин", оно будет распространять ваши труды", я им все объяснила: не распространять будут, а заѣдят окончательно. Вѣдь там членами „видныя", „громкія", и еще писательницы, процедура которых с моими произведеніями ничуть не лучше чѣм процедура пишущих мужчин. А вступать только для того чтобы моим денежным взносом пополнять кассу я не вижу никакого резона. По моему мнѣнію, и вообще при теперешнем уровнѣ людей „Общества" образуются как-то все больше только для наполненія мертваго ящика именуемаго „денежной кассой". Поддержку же даже из спеціально для этого предназначенных касс получают лишь тѣ кто ближе к кассѣ или покумившіеся с ними. Доказательство — „Литературный фонд". Десять лѣт грабили меня писатели, послѣдніе годы я страшно бѣдствовала, под конец не находя уже почти ни одного человѣка который купил бы

у меня книги (упадок Россіи со времени грабежей и пр. выразился и в том что и интеллигентное сытое общество уже окончательно стряхнуло с себя дисциплину культуры, совѣстливость богатых пред бѣдным), и, в то время больная, я, послѣ ограбленія ворами нашей квартиры, обратилась в „Лит. фонд" за пособіем *хотя бы под залог моих произведеній.* И они отказали мнѣ в пособіи! Да еще мое обращеніе за пособіем назвали неумѣстно „ходатайством". „Бюрократы"! А вѣдь в „Лит. фондѣ" три четверти милліона мертвых денег. Жадно любуются на них и жадно пріумножают, а бѣдняки умирай с голода.

Да, памятник моей каторги останется навсегда, скорѣй памятник тѣх немногих (немногих по сравненію с числом отказавших) которые книги мои пріобрѣли, лист с фамиліями дорогих моему сердцу людей, давших мнѣ возможность прожить на свѣтѣ еще один год и выдать в свѣт еще одну мою книгу. Год — жизни дали купивши мои произведенія, кусок хлѣба буквально, на цѣлый год. И глубоко благодарна им всѣм.

Нѣкоторой компенсаціей для меня за не скажу оскорбленія, ибо чувствуя себя выше их всѣх оскорбляться на них не могу, — за глупыя и гнусныя выходки людей „всѣми уважаемых", „знаменитых" и т. д., служат сцепки в родѣ слѣдующей.

В иных порой безсознательно встает вопросительный знак: талантов в литературѣ нѣт, есть только подталанты, и каждаго из них яро выводили в славу и яро обогащали. А тут...

— Почему замалчивают? Девять томов! Они

даже сыпу... дѣлали рекламу. Уж на что без таланта пишет. Они даже о дрянных фельетонах спѣшат раструбить, о разных брошюрах, а такое огромное творчество замалчивают!.. Я знаю, я знаю — ваши труды не пустячные. Труды почтенные. Серьезные труды.

— Поэтому они и замалчивают. Они вѣдь и всегда надувают публику. Дрянь навязывают, а хорошее... Вѣдь вы же тоже имѣли касательство к прессѣ. Развѣ не знаете их обычаи и привычки, закулисныя их гадости и мерзости!.. И вы вот знаете, и не вступитесь.

И мнѣ не понравилось и то, что этот почтенный собственник домища и всѣх матеріальных благ купил только Деревню нашего времени, очевидно, как книжку самую дешевую — рублевую. Я не говорю, рубль монета положим почтенная для меня бѣдняка. Из совокупности рублей и что-нибудь полезное получается: насущный хлѣб для меня и духовный хлѣб для родины. Вѣдь Невеселая книга напечатана мной исключительно на рубли вот этак собранные мной за книжки купленныя по одиночкѣ. Но все-таки, все-таки... на рубль книжек покупает труженик такой как мы или на рубль книжек у меня покупают самые близкіе к пиршеству на землѣ. А что самые было близкіе к министерским портфелям, близкіе хотя бы только своим желаніем и фантазіей, не покупают у меня книжек даже на рубль — это чувства и взгляда во мнѣ не измѣнило. Или что почтенное лицо скупится истратить десяток рублей потому, что уже прочло мои произведенія, быть может, гдѣ-нибудь в редакціи, куда я прежде дарила... и признавши их первоклассными — все-таки идет

мимо поддержки писательницѣ, все-таки, хоть пассивно, а дѣйствует в руку гадостной прессѣ, ея цѣли убить меня голодом...

Словом, сдала книгу. Рубль спрятала в сумочку.

— Merci. Прощайте, — сказала.

— А лист? Я подпишусь — что взял.

— Да вѣдь вы взяли только одну книжку.

— Ну так что же?

— А тут подписываются тѣ кто берет весь экземпляр.

— Но мое имя много значит.

— Не спорю. Но обманывать общество я не желаю. Увидав ваше имя никто не подумает что вы взяли одну только книжку и то не потому что она больше остального нравится вам, а только потому что она самая дешевая. Простите, я — писательница, в душу каждаго проникаю. А за именами у меня дѣло не стало: я уже и титулованным, нѣскольким, и даже свѣтлѣйшим, продавала с большим успѣхом. Merci.

Разсердился, надулся на меня. Я откланялась. Тут скупость под ручку с тщеславіем. Но это старик. А вот и молодой „сіятельный“.

— Я возьму Деревню нашего времени.

Тон очень противный. Точно милостыню подает. И держит себя так будто облагодѣтельствовал писательницу, купивши ея произведеніе. Берет со стола книжку и берет у меня из рук лист в котором я ему указала имена цѣлой группы очень извѣстных людей, и врачей, и присяжных повѣренных, и помощников присяжных повѣренных, и двух-трех профессоров, и начальниц женских учебных заведеній, и нѣсколько общественных

дѣятелей, и нотаріусов, и инженеров, и архитекторов, и дантистов, и дантисток, все людей которых пресса не рекламирует, но которые на ряду с бѣдной трудовой интеллигенціей всегда будут мнѣ дороги за отзывчивость и участливость ко мнѣ и за интерес к моим литературным трудам. Берет лист и с ним направляется из пріемной к двери куда-то.

Я: — Простите, это что будет?

Князь: — Впишу свое имя.

Я: — Зачѣм же! Вѣдь вы взяли только одну книжку.

Закипает гнѣвом и мою миленькую книжечку швыряет на стол.

— Ну, так я ничего не возьму.

— Как угодно.

Он думал — я заплачу. „Вѣдь ей и рубль деньги“. Но, увы, увидал, что и я разгнѣвалась.

— И не стыдно! Вы, значит, покупали только для того чтобы себя самого разрекламировать дешевым тарифом. Недаром дружите с полотером... то бишь — с модными писателями, пресса все трещала какія-то рекламы, гдѣ попадалось ваше имя. Ваши пріятели все из моих произведеній перетаскивают к себѣ.

В прихожей, надѣвая кофточку, говорю лакею, который стремится обуть мнѣ на ножки мои хорошенькіе валенки.

— Сама надѣну. Потому что гривенничка, к сожалѣнію, не могу дать. Вы слышали — ничего не купил... Ну, а вы знаете этого...?

— Даже очень хорошо знаю.

— Есть, знаете, которые кошельки из чужих карманов таскают и с этого живут, и есть которые

напечатанное в книгах таскают и с этого живут. Это не суть писатели. Поняли?

— Очень хорошо понял.

— Это хорошо, что поняли. И если будете когда-нибудь писать, не дѣлайте как они. Пишите свое, что̀ там нашли у себя в головѣ и в душѣ, или что видѣли, слышали, но никогда не берите из чужих книг. Это очень нехорошо. Это все равно что жулики. Ну, прощайте.

В мои мытарства с книгами я раза два попала на прислугу, которая пишет. В одном домѣ это был лакей, в другом — молоденькая горничная. И так как обѣ прислуги для доклада обо мнѣ узнали что я писательница, а в обоих домах мои произведенія купили, — они потом, провожая меня, спѣшили разсказать мнѣ о своих опытах дѣлавшихся ими втихомолку и много вопросов из этой области задали мнѣ, а горничная даже успѣла шепотом продекламировать мнѣ небольшіе стихи.

А бѣдным, и вообще отзывчивым, я всегда даю подписывать, хоть и одну книжку купит, иных даже прошу вписать свое имя — чтобы я помнила всѣх кому благодарна.

И таких тоже имена имѣть на листѣ безконечно дорого мнѣ:

— ..... А вы не проходили через „Будильник", „Новости дня" и подобное, у вас шедевры — все, что̀ ни прочтешь.

Такія слова для меня, писательницы по призванію, о, да... тысячу крат дороже и хлѣба: не совсѣм еще, значит, оскудѣла людьми и добрыми, и художественно чуткими... моя милая, ненаглядная родина.

Иным я принеся мои произведенія сама отказывалась продать книгу. Вот, напримѣр, ...выбравши самую дешевую тут же начинает возмутительно подчеркивать, что берет он книгу только потому что думает — мнѣ нечего ѣсть.

Я: — Так если вас не интересуют книги, не берите их пожалуйста.

Он (напирает): — Только потому, что вам нечего ѣсть.

Я: — Не продам вам! Не хочу.

Тоже другому:

— Я очень рада, что ваши рубли не попали ко мнѣ, — сказала я, за такую же точно грубость душевную, неделикатность, отняла у него выбранныя им двѣ книжки, отказалась продать ему.

— Это само собой понятно, что не от богатства я надрываюсь, бѣгаю по Москвѣ с тяжестью. Это я могу сказать сытым эгоистам, а мнѣ колоть этим глаза не смѣйте. Это гнусно. Я продаю книги, не даром беру ваши деньги. Вы всѣ покупаете книги. Можете, и должны, купить и мои и без всяких подобных комментарій.

А вот еще истязатели, на иной лад.

— ... Мои книги — хорошія. Купите. Деньги очень нужны.

— Вон у вас сколько подписей на листѣ. Значит, в нѣкотором родѣ деньги вы имѣли уже.

— Вот именно: не „в нѣкотором родѣ деньги", а настоящія деньги имѣла уже.

Потому так отвѣчаю — уже вижу, полчаса будет выпытывать, но не купит.

— А деньги и опять нужны, — прибавляю.

— Зачѣм вам нужны деньги?

— Хотим собак купить — чтобы лаяли...

Начинаю терять терпѣніе, и говорю понятным прессѣ символом. Вѣдь я и этаких массу перевидала. Он не скажет сразу: „Не нужно книг, не куплю“, а поиздѣвается, пока начнешь его рѣзать. Одному, напримѣр, говорю в самом началѣ моей каторги:

— Вот книжки, вот лист, подпишитесь, пожалуйста, на экземпляр. Книги — хорошія, но пресса замалчивает.

— Поэтому никто и не покупает. Так чего ради я стану покупать! Тут у вас всего десять подписей.

— Да вѣдь я только начала носить. Будет и двѣсти.

— Ну, когда будет двѣсти...

— Ну, а если всѣ будут разсуждать как вы! Вѣдь это мой хлѣб. И больше того. Потому что на изданіе положены наши послѣднія деньги, все что было у моего мужа, лишь бы я стала писателем. Вѣдь пока было только в рукописи — все равно что не было ничего. Надо же было напечатать, раз журналы заѣдают, не хотят печатать если нѣт протекціи или богатства.

Но он уловил только одно.

— Раз на свой счет печатаете, значит у вас есть средства.

И так без конца. Ему — свое, а он — свое.

А другіе подобные — когда подписей у меня набралось двѣсти:

— Да вѣдь у вас вон сколько подписей! Вы навѣрно богаче меня.

— Да если бы всѣ брали полный экземпляр. А то большая часть — все книжками. Тут и два-три милліонера есть, которые купили *только* книжками. А мнѣ вѣдь нужно не только на жизнь, но и на изданіе новых книжек.

Или (тоже не покупающій): — Много продали?

— Да на двѣсти рублей уже.

— Неправда, что на двѣсти рублей. Не может быть!

— А вы хотѣли бы, чтобы с голода умерла. Эх вы...

Этот, впрочем, признался, что он враг мнѣ, ибо сам пишет (под какими псевдонимами тоже не сказал).

Один из врагов же прямо сказал:

— Вмѣсто того чтобы носить книги, мучиться, — заплатите. Вездѣ нынче надо платить, вездѣ взятки берут. Воспользуйтесь моментом. Дайте субсидію, заплатите. Разрекламируют. Писателей нѣт у нас. Ваши книги пошли бы. Вон как! — сразу разбогатѣете. Не то что ходить продавать на хлѣб только — только мучиться.

— Гдѣ же я возьму — заплатить им за рекламы! Они небось пятью рублями „субсидіи“ не удовольствуются.

— Рублей семьсот — восемьсот.

— Ну вот видите.

А другіе разсматривают милыя книжки, и просто спрашивают:

— На свой счет издавали?

— Да.

Это участливые и интересующіеся литературой и человѣком.

— Ходу не дают?

— Да.

Или:

— Взятки хотят? Вездѣ теперь грязь и подлость.

Или:

— Это ужасно со стороны прессы. Подлые они, негодяи.

Или:

— Они ничего не смыслят.

А еще:

— И не смыслят, и подлые.

— Они у меня были прямо на жалованьѣ, — говорила одна артистка. — Они первые взяточники на свѣтѣ, первые интриганы. И всѣ они — уличные. У какой-нибудь газеты слова и фразы ставятся болѣе благородныя чѣм в уличных органах, а сотрудники вѣдь все такіе же. Я их всѣх знаю — чего они стоят как люди. Вы еще слишком снисходительно написали о них. Они без сравненія хуже, во сто крат хуже, — говорила артистка с горячностью, очевидно, презирая их не меньше чѣм я. — И так они всѣ похожи друг на друга — гамлетики, хлыщи, говоруны... Теперь из зависти к вашему дарованію — вам мстят тѣм, что окончательно вычеркивают себя из числа порядочных людей.

А еще вот как говорят покупатели моих книг:

— Вездѣ теперь у нас такое направленіе чтобы богатые душили бѣднаго. Жизнь превращают в сплошной разбой!

Или: — Я терпѣть не могу всѣх этих дутых писателей. Прямо не выношу. Замалчивают — значит, хорошее.

А когда попадала к таким, которые мои произведенія уже знали, то и так еще встрѣчали меня:

— Случайно прочел ваши воспоминанія о Тургеневѣ. Так просто, кажется, и такая прелесть!

— Пустячки. Ах как я не люблю все ходульное!

— Мнѣ ужасно нравится как вы пишете.

Или:

— Я читал ваши произведенія. И посочувствовать считаю своей нравственной обязанностью.

Или:

— На память покупаю — что видѣл вас.

— Благодарю вас, что принесли ко мнѣ.

— А я вас благодарю что купили. Ну, прощайте. Желаю всего лучшаго.

— Что больше любите, его или творчество?

— Мое счастіе он, второе мое счастіе — творчество, додаток к счастію... так сказать, усугубленное счастіе.

— А у меня ничего нѣт. Я не люблю ни жизнь, ни... никого.

— Простите.

Это вырвалось потому что мнѣ было больно за него, так хотѣлось бы чтобы послала судьба и ему за то что мои книги любит, и за то что поддержал матеріально, пріобрѣл экземпляр. Вѣдь кругом завидуют счастію, и только избранныя души радуются чужому счастію, но тѣм больнѣе им своя не давшаяся или неудавшаяся жизнь.

— Ну, дай Бог успѣха.

— А вам — счастія.

Вот и сравните людей, можно ли их всѣх валить в одну кучу трупов или всѣх их помѣщать в благоуханную человѣческую группу живых чудных сердец.

— Хорошо, что хоть личная жизнь счастливая есть у вас, — сказала мнѣ одна сочувствующая покупательница. Только та женщина которая сама счастлива в личной жизни говорит такое хорошее слово. — Если бы еще этого счастія не было...

— Я бы не жила на свѣтѣ. Только это и дает мнѣ силы переносить этот ужас, который обрушили на мою голову подлые писатели.

— Нигдѣ нѣт такого милаго, любовнаго гнѣздышка, как у нас, — сказала я еще одной милой женщинѣ, которая перелистывая мои книжки напала на одно в них обаятельное мѣсто и любовно улыбнувшись сказала:

— А это навѣрное о вас с мужем.

И она прочла громко: Нѣт, Вѣрулечка, нѣт, граціозная жорушка...*)

Были и такіе, которые начинали с вопроса:

— Оригинальное? А то в журналах все переводы, ничего теперь нѣт оригинальнаго.

Или:

— Журналы совсѣм читать нельзя, какое все неинтересное. Дрянцом наполняют. Что ни возьмешь по беллетристикѣ, все — дрянь, если разобрать серьезно.

Или:

— Я не выношу Горькаго. А вы как смотрите на его писанія?

Еще один сказал — читавшій:

— У вас еще довольно снисходительная оцѣнка Чехова.

А об их позднѣйшей креатурѣ, авторѣ „Бездны" и прочей грязи, рѣшительно ни от кого не слышала иных слов кромѣ: „Фи, какая пакость!" „Совершеннѣйшая мерзость!"

— И никакого таланта. Одно шарлатанство.

*) См. Ars longa, vita brevis (Италіанскія картинки).

А одна женщина сказала: „За их гадости..."

А я отвѣтила:

— Что им, всѣм! Как с гуся вода — лишь бы нажиться. Сало в литературѣ дает своим авторам жирную наживу, так как сало смакуется прессой, во всѣх органах яро разводится или рекламируется. Но и мужчины говорят, уже упомянула:

Они заслужили, чтобы разогнать всю их компанію. Да и пишут они, должно быть, пьяные. Отвращеніе — читать их.

А у меня, знаете, отвращеніе и в руки брать их писанія. А читать их — как гадкій сон видѣть, спѣшишь бросить, проснуться к чудной дѣйствительности, к своей свѣтлой жизни. Мнѣ даже смотрѣть на их книги в витринах—противно. Глядят на вас, как продажныя женщины на мужчин: „Купите нас, и мы вас отравим."

А вот разговор нѣкоторых студентов:

— Горькому публичныя дома кажутся храмами, гдѣ он готов рыться и молиться пером и день и ночь.

— Проститутки у него выходят богини.

— И всѣ жулики и пьяницы — боги.

— И сами всѣ хлещут напитки, его компанія. А потом восхваляют друг дружку.

Они иностранных источников не дают восхваляя Горькаго устами якобы Германіи. Потому что это там евреи, говорят, пишут из тѣх же что пишут на русском языкѣ в Россіи. Вѣдь он полнѣйшая бездарность теперь. Цинизмом брал. И то выдохлось.

— А об его имѣніях молчат, хитрые.

А что будто дает студентам стипендіи — это страшный вздор, газетная ложь. Они безстыднѣйше врут обо всем.

— А Андреев и слезливое стал наводить, слащавое. И тоже все полнѣйшая дрянь, бездарно. Только выламывается с нахватанными, чужими образами.

Вот и судите есть ли голос прессы vox populi, выражает ли он мнѣніе публики. Из уст в уста говорится истинная оцѣнка, но пресса правды не подбирает, свои отжившія рекламы долбит и долбит и потому, что это ей оплачивается, и потому что свой свояка возлюбил, весь этот цинизм в литературѣ и безпросвѣтная наглость, вся эта мерзость и шарлатанство родственны прессѣ.

Впрочем и студенты нынѣ разные, как уже упомянула.

— Зачѣм вы дарили свои книги студентам. Они только отняли у вас кусок хлѣба. Вот я у вас взяла бы все, а теперь возьму только четыре послѣднія книжки, потому что всѣ первыя ваши произведенія я у них купила.

— Ну, Бог с ними. Их изгадили.

— Да, их изгадили, — говорили еще нѣкоторые, — пріучили фразерствовать и лицемѣрить как пресса. Чтобы облагородить свой поступок с книгами, они прикрывали его фразой, что, мол, собирают отзывы интеллигентной публики о Семьѣ Никитиных и о других ваших произведеніях. И ни один не явился за „отзывом“ ни ко мнѣ, ни к знакомым. А отзывы мол собирают для того чтобы разсудить вас с прессой.

Одним словом, плачевно, печально... И... блаженны писатели-богатеи. К ним и студенты подходят с подходцем, т.-е. я хочу сказать что с бѣдняком,

будь он о семи талантах, даже лучшіе элементы разнуздываются порой, ибо пресса гадит все общество, в одних лестью поселяет неумѣстное самомнѣніе, других притупляет, не исключая молодых поколѣній... Ну, Бог с ними. Я им подарила, 125 экземпляров, они с книгами поступили как со своей собственностью. А прикрышки — это дѣйствительно печально. Подыскиваніе себѣ благородных мотивов и фразерство — это чисто русская болѣзнь, и очень дурная болѣзнь, и страшно заразительная, и уже перешла и на тѣ слои народа в которых еле-еле еще затеплилось что̀. Это ужасно, ужасно печально. Фразерство что̀ разлив воды, и не только утопит в своем потокѣ их рѣденькое здоровое зерно, но что̀ хуже сто крат — фразерство, рисовка словами, тоже удовлетворит недошедших и не станут они и вовсе труд себѣ задавать вылавливать здоровыя зерна, а худшіе и сейчас станут спекулировать на фразерствѣ, все неблаговидное при помощи этого фальшиваго золота сойдет у них за самое честное.

О студентах имѣю добавить еще. Измѣнилась Россія и в лицѣ молодежи. И сравненіе мелькает в умѣ. Это как в улицѣ чистой и безопасной, в которой жить свѣтло и красиво, вдруг завелись бы темныя норы — притоны недобраго. Есть уже с этих пор между ними заправскіе хищники, он находит, что 30% скидки в его пользу ему мало, и требует 50%. Сам бѣгает по Москвѣ продавать копеечную дрянь, чьи-то портреты и картинки бывшаго моднаго театра, получает 10—15%, а меня при-

жать норовит. С двумя такими пришлось мнѣ разговаривать *).

— Помилуйте, — говорю, — вѣдь книги изданы на свой счет. Изданія — крошечныя. Отдай вам половину — мнѣ за мой литературный труд и ломанаго гроша не останется. Вѣдь этакій пьявичный процент, знаете, даже не каждый старый кулак заломит.

Другіе ни за что не соглашаются носить с собой книги. Прикидывают на руку экземпляр. „Тяжело“ мол. „Лист для подписки буду носить, а книги“ мол, „вы сами тогда снесете“.

— Ишь, какой добренькій, — говорю. — Какой же мнѣ расчет брать вас! „Тяжело носить книги“. А как-же я-то ношу их. Женщина, вашей силы не имѣющая ни ваших молодых лѣт, ни вашего здоровья.

И опять печально и даже страшно дѣлается за родину. Вѣдь корень всего этого всеобщая лѣнь, всеобщее желаніе как можно больше взять, как можно меньше труда положить, взять хоть бы и мало, но чтобы труда ноль.

И студента я не нашла, чтобы носил для меня продавать мои книги. Они только даренныя снесли продать. И то сказать — один раз потрудились,

*) Один из них, впослѣдствіи оказалось из поимки его и суда над ним, шайку, несчастный, собрал, грабил по Москвѣ. Забрел к нам — продавать чай (мы не купили) „для пробы, не продам ли“ взял у меня один экземпляр моих книг, но через два дня аккуратно вернул мнѣ его через кого-то из своих знакомых. Сейчас меня осѣняет слѣдующая мысль: в этой же шайкѣ попался вѣдь какой-то сотрудник „Правды Божіей“. Не он ли (как „газетному дѣятелю“ быть может мои произведенія были ему знакомы) — может быть, узнавши, отсовѣтовал ему „пробовать продавать“ мои книги, что̀ однако, кто знает, может быть спасло бы того отъ печальной и позорной участи.

а тут упорный труд нужен. Увы, не по части людей нашего времени упорный труд.

(Позднѣе и такіе студенты нашлись. Тоном выговора: „Ваше не пойдет. У вас все серьезное. О крестьянах тоже много“. Я: — Крестьяне теперь всѣх интересуют. Студ. (менторски): „Теперь всѣ для успѣха пишут легкое, порнографію“. Я: — Пакостники, поэтому и пишут. Но есть читатели, которые ищут истинных книг. Мои книги, разумѣется, не в публичные дома ходить предлагать... Батюшки, да вы должно быть сами пишете, и как-раз „для успѣха“, — догадываюсь наконец. „Да“, отвѣчают самодовольно. Господи, куда же еще летѣть ниже! Ужасаешься только как быстро и легко и со всѣх сторон все это загнило.)

Кстати сказать и это: нѣкоторыя богатыя фирмы собирая подписку на свои какія-то изданія, очевидно, подорвали у иных довѣріе к книгам. Случалось — принесу мои книги, и читатель не хочет купить, колеблется: „Не напрасно ли затрачу деньги“. От них-то я и узнала об этих изданіях и отзыв услышала: „Такое сплошь и рядом пустое и нехудожественное“.

Кстати же сказать мимоходом и то, что даже клубы и частныя библіотеки — куда уже кажется писательница не стѣсняясь и не боясь подлаго филантропическаго налета могла бы помѣстить свои книги — не считают себя обязанными купить их хотя бы с большой скидкой.

На мое требованіе чтобы он имѣл и мои произведенія, один такой собственник говорит:

— Вы мнѣ не даете субсидіи.

Sic!

А если кто из них и пріобрѣл — цѣлый год иной раз не внес в каталог. Разумѣется, все это есть результат гадостей прессы и писателей — циничнаго замалчиванія и циничнаго мародёрства: за год все выкрадут, пощеголяют моими образами, мыслями, матеріалом, и довольны что надули читателей, а свои карманы набили деньгами заработанными плутней. Да, всѣ „в единеніи“ для зла... И упорны же они всѣ в дурном, не сдвинешь с почвы интриг и кумовства, поэтому и этих не уговариваю. К чему! — только злорадство вызовешь. Плюнешь, уйдешь, иногда обругаешь, т.-е. скажешь правду в глаза.

А уже с начала осени 1905-го года отнята у меня всякая возможность продать и одну книжку. Только и слышишь:

— Теперь только брошюры покупаем.

— На что вам брошюры! Что̀ в брошюрах должно быть давно извѣстно вам. Брошюры вѣдь они выпускают для малограмотных — рот чтобы разѣвали на иностранные термины.

— Или:

— Теперь все на народ тратим, на безработных, на рабочих, на...

— Да вѣдь и я голодная.

— Ну, интеллигенты всегда вывернутся.

— Напротив. Интеллигенты как я скорѣе всего гибнут с голода. Такіе как я именно „вывертываться“ не умѣют и — не станут... Да и не пріучена, к счастію, истинная интеллигенція — „вывертываться“. Только труд и признается *истинной*

интеллигенціей... К тому же никогда и не было той полосы в русской жизни, чтобы трудовую интеллигенцію поддержать...

И только как на оазис в зловѣщей пустынѣ попадешь вдруг на человѣка, в котором живет живая душа. И сдав ему хранилище моей живой души, мои книжки, стремглав летишь домой радостная, счастливая что на этот день моя каторжная страда так мало времени отняла у меня — кто чудный — принесла книги, показала, что̀ надо сказала, сдала, ни нравственнаго надрыва от такого человѣка, ни всѣх этих разсужденій сухих эгоистов столь утомляющих трудового, притом голоднаго человѣка. И летишь стремглав в свое милое гнѣздышко, и говоришь себѣ: сегодня день мой, цѣлый день буду писать, и чудная музыка в моей творческой душѣ, рой дивных образов которые рвутся скорѣй, скорѣй под перо, и другая чудная музыка в моей благодарной душѣ, свѣтлое чувство, безпредѣльная благодарность, и безпредѣльная радость что зловѣщая и зловѣще раскинувшаяся пустыня не изсушила всѣх людей до единаго. „Благодарю, благодарю“, звенит в душѣ. И я нисколько не завидую.. хотя бы Чайковскому, композитору, котораго обогащала чужая ему женщина, но отзывчивая к потребностям дарованія, не завидую, ибо я, к счастію, творить могу во всей силѣ и полнотѣ и красотѣ при самых неблагопріятных матеріальных условіях. И мнѣ, в концѣ концов, лишь бы только кусок хлѣба имѣть, лишь бы сочло наконец интеллигентное общество своей святою обязанностью покупать и мои произведенія, дабы не тормозить мнѣ работу, дабы и количественно я давала родинѣ сколько могла бы давать если бы не

теряла времени и здоровья внѣ творчества, чтобы не умереть преждевременно*).

— Как это вы все-таки успѣваете — и книги носить, и писать? Слабенькая, еще замучитесь, умрете... Когда же вы пишете? — спрашивают участливые.

— До обѣда книги ношу, вечером пишу. У меня вѣдь кромѣ того и хозяйство, да еще обшить, обчинить... На все нашла время. Вы навѣрное первый раз встрѣчаете что подобное. А таких работящих в трудовой бѣдной интеллигенціи очень много. Лѣтом — блаженно. Хоть от зари до зари сиди и пиши. Лѣтом не ношу книг.

Но... revenons à nos méchants moutons.

Курьезны порой и лакеи у них. Tel mouton... нѣт, tel maître, tel valet. Но иногда лакей лучше.

— Доложите. Писательница... По дѣлу.

— Он не примет. Только гостей принимает, своих знакомых.

— Ну, так понесите ему эти книги. И лист. На книгах цѣна обозначена.

— Да он не купит. Не зачѣм и нести.

---

*) Вот еще новый ужасный факт: „Комитетом Румянцевскаго Музея отклонено предложеніе пріобрѣсти экземпляр ваших произведеній“, объявляют мнѣ в тамошней библіотекѣ. — Что же, воскликнула, развѣ и здѣсь хранилище только книг мародеров, разных ваших Горьких и Андреевых... Чорт, что за ужасная страна! Умирай с голода и только. И зачѣм только я вернулась на родину. Никакая другая женщина не выдержала бы всего этого мученія, всей этой каторги. Так моя страна мучит женщину, которою каждая другая страна гордилась бы. И пусть падет вся эта мука на головы презрѣннаго писательскаго цеха (эта приписка сдѣлана мной лѣтом 1907 г. послѣ того как я безуспѣшно предложила Рум. Муз. пріобрѣсти экземпляр за 10 р. т. е. с уступкой 3 р. 95 к.).

— Пожалуйста, понесите. Как вам не стыдно торговаться тут! У нас вот — вашего брата даром лѣчит мой муж. Никому из бѣдных нѣт у нас отказа. Ну, несите.

— А если мнѣ за это влетит от него?

— Небось, не влетит, защититесь, сдачи дадите. Ну, идите.

— Да мнѣ развѣ жалко его денег! А только не купит. Вот увидите.

— А жена его?

А она еще хуже его.

Или:

— Доложил, но он просит, чтобы вы сказали какое у вас дѣло. Или напишите, тут бумага...

— А вот... я — писательница. Книжки продаю. Вот и лист — кто уже купил. За всѣ девять книг только четырнадцать рублей без пятачка. Но можно купить и не все. И даже со скидкой могу продать, — говорю на всякій случай.

— А если он и четырнадцати копеек жалѣет! Он развѣ такой у вас?

— Вот увидите. Не стоило приходить к нему.

Понес книги.

— Ну, я же говорил... К нему не стоит носить, он развѣ о ком понимает, он только об себѣ понимает.

— Вот и подите, как их узнать! А газеты теперь трещат о нем...

— Потому он, значит, хлопочет об себѣ.

— Об себѣ!.. А я было, в простотѣ, думала — он о мужичках хлопочет. Вот и подите, разберите их...

Тут я, умѣющая говорить крестьянским языком и великолѣпно умѣющая заставлять (в цѣлях мо-

его правдиваго творчества) высказываться — навела лакея на разговор уже совсѣм политическій. В противность пословицѣ: с бодливой овцы ни шерсти, ни молока... я книг не продавши хоть крошку цѣннаго матеріала подобрала у него на порогѣ, а матеріалом я дорожу не менѣе чѣм хлѣбом насущным.

Но лакей его охотно вдавшійся в политику не переставал что-то вертѣться около моих книг, и вдруг говорит:

— А сколько стоит отдѣльно если купить... тут о деревнѣ книжечка... я бы купил — почитать о деревнѣ.

— Так я вам книжечку и так дам, подарю. Нате.

— Вот покорно благодарим, барыня. Почитаю.

И многіе из подчиненнаго люда чувствуют, что хоть и не говорю я им сладких, льстивых рѣчей, а ближе я им, т.-е. больше добра им желаю и матеріальнаго и духовнаго чѣм политиканствующіе сытые с аршидемократическими кличками буржуи, которые в газетах друг дружкѣ кадят...

Этот день у меня и весь был безхлѣбный. От одного князя попала я к другому князю. Другой князь принял меня, но...

— Из принципа не куплю, из принципа не куплю...

Пѣснь знакомая мнѣ, теперь и — читаталю.

— У нас есть писатели: Горькій, Андреев... Они своих книг не носят.

— Вы бы сперва прочли мои книги, а тогда бы и разбирали кто *писатель* у нас — я, хоть и ношу мои книги, или Горькій с Андреевым.

— Я не обязан разбирать ваши книги. Вы не

можете обязать меня разбирать ваши книги. Развѣ я обяз...

— Фи, столько слов. Ну, оставайтесь... обновляйтесь со своими Горькими и Андреевыми.

Сейчас вслѣд еще одно „общественное лицо", этот раз лакей его только. Этот ликует:

— С отказом-с. Не принимает книг. Потому не желает купить. У нас-с и своих книг много.

— Это он так сказал? Умен!

— Он умный, богатый: дом, два имѣнія...

— Батюшка, да вѣдь богатый не значит умный. Я вижу, вы тут оба одинаково умные. Ну, храни вас Бог за ваши умы.

И опять. Но тут уже я направилась к дамам. И, увы! — и дамы и лакеи, тоже оказалось, слились в какую-то единую ископаемую массу, недоступную никакому обновленію и возрожденію.

Да, у всѣх у них: „строительство", „перестроительство", „меценатство", „филантропія", etc., etc., но... без всякаго все это касательства к живым людям. Каждый и каждая мимо проходят, только болтают.

А то еще бывало и так:

— Вы скажите зачѣм, иначе не доложу.

— Книги вот... (и т. д.).

— Нам книг не нужно.

Или:

— Мы не читаем. Нам некогда. Некому читать — у нас нѣт жены и дѣтей.

Эти, понимаешь, просто хотят на-чай. Поэтому разсердишься, скажешь:

— Идите доложите. Или книги несите. Продам — дам на чай.

Сперва еще поворчит, но уже тоном мягче:

— Все носят к нам книги.

— Кто носит?

— Да как вы, писатели.

— Ну, врите побольше. Они сами всѣ нынче раскатываются на лихачах. Понесут они вам свои книги! Они разжились всякой неправдой. Я одна во всей Россіи пока что, потому что правдой не наживешься. Ну, идите скорѣе.

И уже с преображенным лицом:

— Пожалуйте. Велѣли просить.

Еще и так раз случилось:

— Не продаются, не надо писать,—авторитетно заявляет мнѣ какой-то „общественный дѣятель", эгоист тож, и сам что-то написавшій или издавшій—с успѣхом, конечно, ибо имѣет чѣм заплатить за рекламы.

— Какіе вы дряблые,—отвѣчаю. Я не такова. Я борюсь и буду бороться.

— Желаю успѣха, но я не куплю. Ничего не куплю. С какой стати я стану покупать! Что̀ за налог такой — покупать книги!..

И не умолкает. Так и вышла я под рокот жадных слов. А в передней горничная и шепчет мнѣ:

— К нему вовсе не стоит. Ён... А у его жильцы есть, вон, в том подъѣздѣ. Хорошіе господа, настоящіе. Они купят. Я доведу до швейцара, он вас на подъемной машинѣ доставит. Только запомните номера квартир, а в пятую квартиру не звонитесь: такіе же как этот...

И, дѣйствительно, распродала весь портфель. И вернулась к дѣвушкѣ, и поблагодарила ее.

В подобном же домѣ горничная, тоже слышавшая из прихожей не добрыя словеса „знаменитаго

имени" и мои ему рѣчи о необходимости возрожденія, т.-е. нравственнаго исправленія всѣх жадных, хищных и злых, — когда я уходила, с особенной заботливостью бросилась меня обувать.

— Миленькая, не надѣвайте мнѣ ботиков, я сама надѣну. Я тоже маленькая, как и вы бѣдная, только образованная, и книги пишу. Вам даже лучше теперь чѣм нам: вы уже кое-чего добились, а нам, образованным, но тоже бѣдным, еще только добиваться того, чтобы этакіе разные по крайности не кичились своим богатством, чтобы поняли что они худшіе, а мы, трудящіеся, самые лучшіе.

— Правильно говорите, барыня. Он, супротив вас, и сказать ничего не умѣет. Мы, и то понимаем — кто каким трудом займуется, с того и хлѣб ему должен быть. Они трясутся над деньгами, а хорошій человѣк через них не ѣвши помирай...

Послѣ созыва Думы и пожарища всяких преступленій еще прибавилось умных предлогов.

Смотрит на мои книги, читает заглавія и — презрительно фыркает (и даже женщины — женщины, пожалуй, больше чѣм мужчины).

— Не куплю... Женщины, Поэмы, Семья, Любовь... да развѣ это теперь может кого-нибудь интересовать!

Я: — О чем же писать для вас? Все о — „Руки вверх"!.. Или... Нѣт-с! — все что гниль в клоаку стечет, а вѣчное останется вѣчно, и Любовь, и Семья... и чудное Искусство... и... народятся лучшіе люди, навѣрное...

. . . .

Да, всего и не перескажешь, если и еще написать столько же. И я с моей глубоко-сердечной натурой и сейчас, вновь переживая весь этот ужас,

всю эту каторгу, — могу только повторить то что глубоко скорбѣть заставляет мое духовное существо: зачѣм весь этот гнилой кошмар! Как могла пресса допустить себя до милліона подлостей в отношеніи меня! Как это может и богатое интеллигентное общество вмѣщать в себѣ так много не хороших людей! Почему это оно идет всегда за худшими, не за лучшими! Нѣт, пусть и так не будет. Пусть каждый своим вождем будет сам, но пусть же каждый обновится и возродится и духовной своей стороной. Жизнь отдѣльнаго человѣка, говорят они всѣ, цѣны и значенія не имѣет. Подразумѣвается ими, разумѣется, жизнь чужая, не своя. И это глубоко подло-преступное изреченіе с такой легкостью прививается моей родинѣ, с какой привились тѣ другія циничныя изреченія: „деньги есть сила", „сильный пусть душит слабаго", т.-е. богатый бѣднаго и т. д. И все это ужасно, ибо грозит уже гибелью не отдѣльной жизни, а жизни всей родины. Отдѣльный человѣк, когда он нравственная сила, когда он рычаг для добра устоит. Устоит. А устоит ли родина, в которой останутся только душители?

Петербург я испытала в лицѣ десятка его знаменитѣйших адвокатов.

Выпишите у меня экземпляр моих произведеній (и т. д.)—написала я по почтѣ.

Никто из них и не отвѣтил. Лишь один, тоже богатѣйшій и „знаменитѣйшій" рукѣ своего „секретаря" приказал начертать слѣдующія слова:

„К сожалѣнію не может" (имярек) „воспользоваться предложеніем пріобрѣсти ваши книги".

Ну не комедіант ли! „К сожалѣнію"—точно что может ему мѣшать купить мои книги. „Не может"—точно уж с голоду умрет богач истративши десяток рублей на книги!

Да, послѣдніе полтора года с фонарем надо было искать людей, которые купили бы книги, и я бросила безполезную муку. Да лучше уж руки на себя наложить чѣм видѣть и слышать весь этот цинизм обезпеченных, сытых, противных.

— Купите, пожалуйста, хоть книжку-другую. Голодаем. Жизнь становится все дороже, а вѣрных у нас только все тѣ же... рублей за службу мужа.

Он или она:

— Какое же это голоданіе, когда есть ... рублей!

— Как!.. Да с чего же тут хватит и на квартиру, хоть и крошечную, и на...

— Можно и без квартиры жить.

— На койкѣ? Или под мостом?.. Это врачу-то! Послушайте... вѣдь это цинизм, и издѣвательство...

— Не стыдите меня, вы не пристыдите меня.

— Ибо это с глазу на глаз...

И это они, преуспѣвшіе, на показ трескуче болтающіе о необходимости улучшенія положенія трудящихся классов! Впрочем, они же считают, что всѣ эти суточные и прочіе оклады все еще... недостаточны! Господи, до чего отвратительно становится на Руси! . . . .

. . . .

Но весной, 1907-го года, я опять попыталась, опять понесла мои книги. Для всѣх наступает

Пасха, а у нас ничего, не было бы как-раз на Пасху и хлѣба если бы не Голова, которому я понесла экземпляр моих произведеній и который сейчас же пріобрѣл их. Другой экземпляр я понесла дней через десять тому... о ком сегодня читаю в газетѣ новую (глупую) лесть: „занимает самый высокій пост в Россіи". И, о ужас, едва я показала книжки и лист и сказала что я писательница и прошу пріобрѣсти у меня экземпляр, что стоит он четырнадцать рублей без пятачка— господин... вскочил и воскликнул:

— Я—купить книги! Я—четырнадцать рублей!

— Я (в ужасѣ)—Неужели не купите!.. Вѣдь это мой хлѣб. Я очень нуждаюсь. Вы видѣли лист, там есть и двое бывших депутатов *) кадетской партіи.

Но он опять—восклицать:

— Я—четырнадцать рублей!—и унесся из комнаты куда-то в глубь своей огромной квартиры.

— Боже мой, как вам не стыдно!

Вот-те и пасхальное настроеніе!..

А сегодня читаю и еще газетную лесть и рекламу: „присущая ему мягкость".

Я могу удостовѣрить только необычайную мягкость присущую подошвам обуви его лакея, который как-то совсѣм неслышно ступает, плывет по комнатам, точно в домѣ этом мертвец.

— Пойдите спросите его, купит ли книжками?

Поплыл.

— Сказал, что не купит и книжками.

Но, право же, и тут лакей был смущен за барина „на самом высоком посту".

*) Не от Москвы.

Сегодня же я прочла — о чудовищных окладах о которых там идет рѣчь: 18 тысяч рублей плюс 12 тысяч рублей квартирных. И это теперь, когда вся страна нищая! Недурно, очень недурно!.. Вот когда бы, должно быть, мнѣ, писательницѣ которой нечего жрать, понести продавать ему книги. Но, конечно—услышалось бы все то-же:

— Я—купить книги! Я—четырнадцать рублей!..

6-го мая, 1907 г.

Два слова писателям и прессѣ.

Десять лѣт сравнялось с тѣх пор как я вступила в литературу. У вас это называется — юбилей. Каждый из вас к своему юбилею уже нажился. Я же чѣм ближе двигалась к юбилею тѣм больше и больше бѣдствовала матеріально и наконец голодала, хотя дарованіе мое не оскудѣвало ни моя энергія и я продолжала и продолжала дѣлать цѣнный вклад в литературу. В 1906-м году, послѣ того как громилы обокрали нашу квартиру, я же от голоданія и непосильнаго утомленія от разноски моих книг совершенно разстроила себѣ здоровье — я обратилась в „Литературный фонд“ с просьбой дать мнѣ пособіе в тысячу рублей хотя бы под заклад моих произведеній, которых у меня в складѣ наберется должно быть тысяч на 18. Но „Лит. фонд“ не дал мнѣ ни гроша. Поэтому: принимая во вниманіе что я голодаю едино из-за вас, что мои произведенія есть мой единый хлѣб, что другого хлѣба у меня нѣт, а также и то что мои физическія силы надорвались из-за вас же, из-за голоданія, которому вы меня обрекли, а также надорвались от непосильнаго для меня труда — носить в дома продавать мои книги, которыя, если бы не вы, продавались бы естественным порядком как продаются ваши книги без надрыва и каторги,

а также принимая во вниманіе и то, что и полѣчиться мнѣ не на что, нѣт денег даже на поѣздку на кумыс чтобы возстановить мои силы, принимая во вниманіе также и то что при теперешнем состояніи моего здоровья я физически не в силах носить мои книги не только изо дня в день но даже два-три дня под ряд (поносивши их дня три — болѣю цѣлый мѣсяц) — принимая во вниманіе все это я требую от вас чтобы вы хотя частично вернули мнѣ мой кусок хлѣба который вы отняли у меня. Не говоря уже о вашем комплотѣ, т.-е. интригах, замалчиваніи и затираніи моих литературных трудов, вы десять лѣт наживались моими трудами, черпали и черпали из них матеріал. Я с вами ни с кѣм в соглашеніе не входила, дозволенія на мародѣрство не давала, напротив в печати же за мародѣрство бичевала и заявляла что так как вы сговорились матеріально меня утопить то и не смѣйте брать у меня ни единаго слова. Вы говорите что за все надо платить, т.-е. что критики не дают даром настоящих рецензій и славы. Так тѣм болѣе вы мнѣ должны заплатить за то что расхищали (кто больше, кто меньше) матеріал моих произведеній. Критики вѣдь еще потому замалчивали мои труды, чтобы облегчать вам (и себѣ) мародерство. Мародерство же вы десять лѣт учиняли над моими трудами за которыя я не только не имѣла еще ни гроша, так как ваши же журналы и газеты печатать мои труды отказали (я подавала Деревню нашего времени и Семью Никитиных и один разсказ из книжки Любовь ли?) — но еще издала мои труды на наши средства, на наши послѣднія средства. В изданіе моих произведеній мы вложили до послѣдняго рубля все что

имѣли. А воспользовались моими произведеніями вы, писатели, газеты и журналы. И на вас лежит теперь уже не только нравственный долг по отношенію ко мнѣ, но и денежный. И это я говорю во первых „извѣстным“: гг. Андрееву, Боборыкину, Горькому, Короленко, Мамину-Сибиряку и проч., „Русским Вѣдомостям“, „Новому Времени“ и т. д. (нѣкоторым газетным фельетонистам), „Русскому Богатству“, „Русской Мысли“ и т. д. (коекому из беллетристов), а также составителям пьес с надерганным у меня матеріалом*), а затѣм говорю и другим (и прозаикам и стихотворцам) из которых иных быть может не знаю, но которых вы-то всѣ знаете и которые сами знают за собой вину, мародерство, многолѣтнее расхищеніе матеріала из моих литературных трудов.

Писательница Вѣра Александровна Карпова-Монгирд (сначала печатала под псевдонимом — Сергѣй Роміас).

*) Для газетныхъ цѣлей достойныхъ публичной пощечины иные, модные, позволяли себѣ даже хулигански, паскудно извращать матеріал.